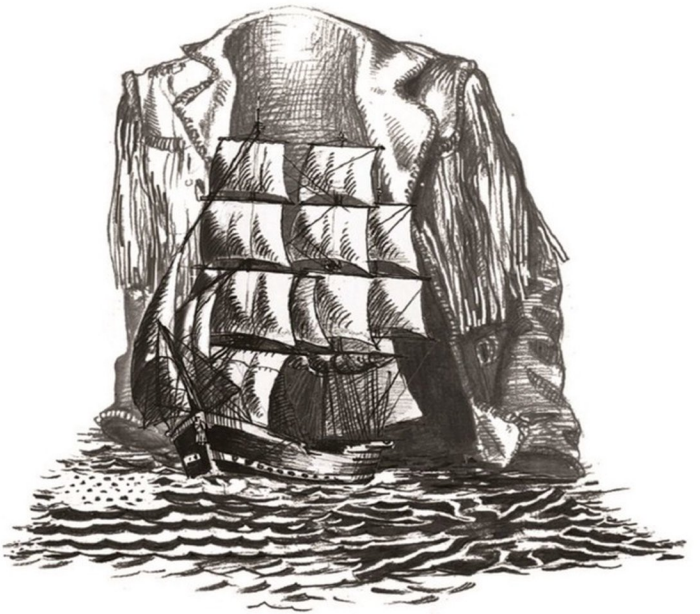
ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ



РЕДБЕРН:

ЕГО ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ

Редберн: его первое плавание
Герман Мелвилл

Аннотация
Редберн: его первое плавание. Герман Мелвилл
Глава I. Как у Веллингборо Редберна зародилась любовь к морю и как она развивалась
Глава II. Отъезд Редберна из дома
Глава III. Он оказывается в городе
Глава IV. Как он избавился от своего охотничьего ружья
Глава V. Он покупает себе морской гардероб и в мрачный дождливый день устраивается на полном пансионе вдоль причалов
Глава VI. Он начинает с вычищения свинарника и смазки топ-мачты
Глава VII. Он выходит в море. и чувствует себя очень плохо
Глава VIII. Он зачислен в вахту по левому борту, страдает от морской болезни и рассказывает о некоторых других своих испытаниях
Глава IX. Матросы становятся немного общительнее, и Редберн разговаривает с ними
Глава X. Он очень напуган, матросы оскорбляют его, и он чувствует себя всё несчастней

и несчастней
Глава XI. Он помогает драить палубы и затем идёт завтракать
Глава XII. Он выдаёт определённую характеристику одному из своих товарищей по плаванию по фамилии Джексон
Глава XIII. Прекрасный день в море, которое он начинает любить, но передумывает
Глава XIV. Он собирается нанести светский визит капитану в его каюту
Глава XV. Печальное состояние его гардероба
Глава XVI. Поздно ночью его посылают наверх распутать главный трюмсель
Глава XVII. Повар и стюард
Глава XVIII. Он пытается развивать своё мышление и рассказывает о некоем Бланте и его соннике
Глава XIX. Спасение по счастливой случайности
Глава XX. Во время тумана ему поручают работу звонаря, и он наблюдает за стадом океанских слонов
Глава XXI. Китобой и военный моряк
Глава XXII. «Горец» проходит мимо разбитого корабля
Глава XXIII. Непонятный каютный пассажир и таинственная юная леди

Глава XXIV. Он начинает скакать по оснастке, как обезьяна Святого Якова
Глава XXV. Обстановка квартердека
Глава XXVI. Матрос – это мастер на все руки
Глава XXVII. Ему удаётся взглянуть на Ирландию и, наконец, достичь Ливерпуля
Глава XXVIII. Он идёт ужинать под вывеской. с изображением Балтиморского клипера
Глава XXIX. Редберн почтительно рассуждает относительно матросских перспектив
Глава XXX. Редберну кажутся невыносимо тупыми и глупыми некоторые старые диковинные путеводители
Глава XXX I. Со своим старым банальным путеводителем он совершает банальную прогулку по городу
Глава XXX II. Доки
Глава XXXIII. Малые суда и корабли с немецкими эмигрантами
Глава XXXIV. «Иравади»
Глава XXXV. Галиоты, люди с побережья Гвинеи и плавучая часовня
Глава XXXVI. Старая церковь Святого Николая и морг
Глава XXXVII. Что увидел Редберн. на улице Ланселот-хэй

Глава XXXVIII. Попрошайки у стен доков
Глава XXXIX. Безразмерные городские переулки
Глава XL. Агитационные плакаты, псевдоювелиры, лошади-тяжеловозы и пароходы
Глава XLI. Редберн бродит во всех направлениях
Глава XLII. Он столкнулся со старым джентльменом
Глава XLIII. Он совершает восхитительную прогулку в деревню и знакомится с тремя восхитительными чаровницами
Глава XLIV. Редберн выставляет господина Гарри Болтона на благосклонное рассмотрение читателя
Глава XLV. Гарри Болтон похищает Редберна и увозит его в Лондон
Глава XLVI. Таинственная ночь в Лондоне
Глава XLVII. Направляемся домой
Глава XLVIII. Относительно живой труп
Глава XLIX. Карло
Глава L. Гарри Болтон в море
Глава LI. Эмигранты
Глава LII. Кухня эмигрантов
Глава LIII. Горации и Куриации
Глава LIV. О чудесном старом табачном прутике и свином хвостике
Глава LV. Зарисовка к едва ли не последнему

эпизоду в карьере Джексона
Глава LVI. Возле баркаса Редберн и Гарри ведут доверительную беседу
Глава LVII. Почти голод
Глава LVIII. Пассажиры покидают «Горца», не дождавшись его захода в гавань
Глава LIX. Конец Джексона
Глава LX. И вот, наконец, мы вернулись
Глава LXI. Редберн и Гарри, плечом к плечу, в гавани
Глава LX II. Последнее, что я узнал о Гарри Болтоне
Послесловие переводчика

Аннотация

Первый крупный роман Германа Мелвилла («Моби Дик, или Белый Кит», «Маскарад, или Искуситель», «Марди и путешествие туда») впервые публикуется на русском языке. Сюжет книги довольно прост: американский юноша, «заболевший» морем, отправляется из Нью-Йорка на торговом корабле в английский город Ливерпуль. Воспоминания об увиденном и пережитом переплетаются с размышлениями автора об окружающих его моральных принципах, понятиях о человеческом долге, чести и милосердии.Для широкого круга читателей.

Редберн: его первое плавание
Герман Мелвилл

Переводчик Роман Каменский
Корректор Яна Веретнова
Дизайнер обложки Егор Лаптарев

© Герман Мелвилл, 2021
© Роман Каменский, перевод, 2021
© Егор Лаптарев, дизайн обложки, 2021

ISBN 978-5-0053-9906-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

REDBURN:

HIS FIRST VOYAGE.

Being the Sailor-boy Confessions and Reminiscences of the Son-of-a-Gentleman, in the Merchant Service.

BY HERMAN MELVILLE,

AUTHOR OF "TYPEE," "OMOO," AND "MARDI."

NEW YORK:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,

82 CLIFF STREET.

1849.

К 200-летию Германа Мелвилла

Глава I
Как у Веллингборо Редберна зародилась любовь к морю и как она развивалась

«Веллингборо! Узнав, что ты идёшь в море, предлагаю тебе взять с собой мою охотничью куртку, она простая, бери её, она убережёт от других расходов. Смотри, она довольно тёплая, прекрасные длинные поля, крепкие роговые пуговицы и множество карманов».

Так говорил мне мой старший брат по простоте и широте своего сердца в канун моего отъезда в морской порт.

«И ещё, Веллингборо, — добавил он, — так как у нас обоих денег немного и тебе нужно снаряжение, а мне дать нечего, то ты можешь взять с собой моё охотничье ружье и продать его в Нью-Йорке, чтобы после купить всё необходимое. Ну же, возьми его, оно мне теперь не нужно, я не могу найти ему пороха».

Я был тогда мальчишкой. Незадолго до этого моя мать переселилась из Нью-Йорка в прелестную деревушку на реке Гудзон, где мы и жили

в тиши в небольшом доме. Я был, к сожалению, разочарован несколькими планами своей будущей жизни, наброски которых уже имелись; необходимость сделать что-нибудь для самого себя, объединившись с природным стремлением к странствиям, теперь сговорились со мной, для того чтобы послать меня в море в качестве матроса.

За много месяцев до этого я детально изучал старые ньюйоркские бумаги, восхищённо просматривая длинные колонки

рекламных объявлений о судах, и во всех видел странное романтическое очарование. Много раз я пожирал глазами такие объявления, как это:

«На Бремен».

«Обитый опаянными медными листами бриг „Леда“, почти закончивший свою погрузку, отплывает в вышеупомянутый порт во вторник двадцатого мая. Обращаться по вопросам фрахта или пассажирских мест со стороны улицы Кунтис-Слип».

Перед моим молодым внутренним воображением каждое слово в такой рекламе представало в объёмной реальности.

«Бриг!» Само это слово вызывало в уме образ чёрного, несомого морем судна с высокими,

удобными бортами и распущенными мачтами и тросами.

«Обитый опаянными медными листами!» Они точно пахли солёной водой! Как же должны были отличаться такие суда от деревянных одномачтовых зелёных и белых шлюпов, что прежде ходили вверх и вниз по реке мимо нашего дома на берегу.

«Почти закончивший свою погрузку!» Какое важное объявление, почти предположение о наличии пыльных товаров и коробок с шелками и атласами в сравнении с тем, что заполняло презренные палубы — мерзким грузом из сена и древесины, с которым я был знаком по своему речному опыту.

«Отплывает во вторник двадцатого мая» — и газетная сухость датируется пятым числом месяца! Целых пятнадцать дней впереди, подумайте об этом; это важное путешествие, и потому время отбытия парусного судна было установлено настолько рано — об отбытии речных шлюпов анонсы не печатались.

«Для фрахта или пассажирских мест!»

Подумайте об обитом опаянными медными листами бриге и приёме пассажиров на Бремен! И кто мог идти в Бремен? Никто, кроме, несо-

мненно, иностранцев, темнолицых мужчин с чёрными, как уголь, бакенбардами, говорящих по-французски.

«Кунтис-Слип».

Сколько ещё бригов и сколько ещё судов должны стоять там! Кунтис-Слип должна была располагаться где-нибудь поблизости от мрачных складских фасадов с ржавыми железными дверями и ставнями и крытыми черепицей крышами, и наваленными старыми якорями и якорными цепями. Также в том районе было очень много старомодных кафе с загорелыми морскими капитанами, входящими туда и выходящими, курящими сигары и говорившими о Гаване, Лондоне и Калькутте.

Всему этому моему воображению заметно помогли неопределённые тёмные воспоминания о причалах, и складах, и погрузке, которыми снабдила меня моя жизнь в морском порту в раннем детстве.

Особенно помню, как я стоял с моим отцом на причале, когда большое судно, идя полным ходом, огибало оконечность пирса. Я помнил эти тяжкие «хо!» от матросов, как только поверх высоких бортов показывались их шерстяные шапки. Я помнил, как размышлял о том, как они

пересекали великий океан, и о том, что то же самое судно и те же самые матросы, тогда так близко стоящие от меня, через некоторое время уже фактически окажутся в Европе.

Добавлю к этим воспоминаниям образ моего отца, ныне покойного, несколько раз пересекавшего Атлантику по коммерческим делам, поскольку он был импортёром с Брод-стрит. И зимними вечерами в Нью-Йорке под хорошо памятный горящий морской уголь на старой Гринвич-стрит он рассказывал моему брату и мне о чудовищных, высоких, как горы, морских волнах, о мачтах, сгибающихся, как ветки, и многое о Гавре и Ливерпуле, о вырастающем шарообразном куполе Святого Павла в Лондоне. Действительно, во времена моей молодости мои мысли о море по большей части были связаны с землёй, а именно — со старыми прекрасными землями, наполненными заросшими соборами и церквями и длинными, узкими, кривыми улицами без тротуаров с обрамляющими их необычными домами. И особенно я старался представить, как такие места должны выглядеть в дождливые дни и субботние, и действительно ли у них там есть дождливые дни и дни субботние, как у нас здесь; и действительно ли там мальчики ходят в школу

и изучают географию и носят свои вывернутые наизнанку воротники рубашки, а в знак траура — чёрные ленты, и позволяют ли им их папы носить ботинки вместо той обуви, которую я так не любил из-за любви к ботинкам, которые выглядят более мужественно.

Когда я стал старше, мои мысли взлетели выше, и я часто впадал в долгие мечты о дальних путешествиях и странствиях и обладании знаниями, позволяющими говорить о дальних и варварских странах; с каким почтением и удивлением отнеслись бы ко мне люди, если бы я только что вернулся с побережья Африки или Новой Зеландии, и как романтично и томно выглядели бы мои загорелые щёки, и как я пришёл бы домой в иностранной одежде из дорогой и роскошной ткани и ходил бы в ней вверх и вниз по улице, и как мальчишки-бакалейщики поворачивали бы головы и смотрели бы на меня, когда я проходил мимо. Ведь я очень хорошо помнил, как сам когда-то уставился на человека, на которого однажды в воскресенье в церкви указала мне моя тётя как на человека, который был в Каменной Аравии и испытал там удивительные приключения, обо всех них я прочитал своими собственными глазами в книге, которую

он написал, тонкой книжечке в бледно-жёлтом переплёте.

«Посмотри, какие большие у него глаза, — шептала моя тётя, — они стали такими крупными, потому что когда он почти умер от голода в пустыне, то внезапно заметил финиковую пальму с висящими на ней созревшими плодами».

Из-за этих слов я уставился на него, пока не решил, что его глаза имели действительно необычный размер и выпирали из его головы, как глаза омара. Я верю, что мои собственные глаза, должно быть, тоже увеличились, пока я смотрел на него. Когда служба закончилась, я потребовал от моей тёти, чтобы она взяла меня с собой и последовала за путешественником домой. Но она попросила констеблей задержать нас, чтобы мы не делали этого, и поэтому я больше никогда не видел этого замечательного аравийского путешественника. Но он долго преследовал меня, и некоторое время я грезил им и решил, что его большие глаза изначально были большими и круглыми; и ещё у меня было видение финиковой пальмы.

С течением времени я все более и более обращал внимание на иностранные вещи и тысячью способами стремился удовлетворить свой вкус. У нас в доме было несколько предметов мебели,

которые были привезены из Европы. Я исследовал их снова и снова, задавшись вопросом, где вырос лес, живы ли рабочие, которые сделали эту мебель, и чем они могли теперь заниматься.

Затем у нас было несколько картин и редких старых гравюр моего отца, которые он сам купил в Париже и повесил в столовой.

Две из них были морскими пейзажами. Каждый представлял широкое прокопчённое рыболовецкое судно с тремя бакенбардоносцами в красных шапочках, просматривающих свернувшийся под ногами вытянутый невод. Там виднелся высокий, похожий на французский берег в одном углу и полуразрушенный серый маяк, венчающий его. Волны были коричневые, как будто жареные, и вся картина выглядела подержанной и старой. Я отваживался думать, что часть её могла бы иметь приятный вкус.

Другая представляла три старинных французских военных корабля с высокими, как пагоды, зам́ками по борту и по корме, такими же, что можно увидеть во Фруассаре, и аккуратными небольшими башенками по верху мачт, наполненными маленькими людьми с чем-то неопределённым в их руках. Вся троица плыла по яркому синему морю, синему, как небеса

Сицилии, наклонившись на бок под опасным углом; и они, должно быть, шли очень быстро, судя по белым брызгам по бортам, как в метель.

Ещё у нас было два больших зелёных французских портфеля с цветными репродукциями, настолько тяжёлых, что мне в том возрасте невозможно было их приподнять. Каждую субботу мои братья и сёстры вытаскивали их из угла, где они хранились, и раскладывали на полу, рассматривая внимательно и с неподдельным восхищением.

Они были всевозможными. Некоторые изображали Версаль, маскарады, его гостиные, его фонтаны, и корты, и сады с длинными рядами густых участков листвы с фантастическими дверями и окнами, и башенками, и пиками. Другие были сельскими сценами, наполненные прекрасными небесами, задумчивыми коровами, стоящими по колено в воде, и мальчиками-пастухами, и домами в дали, наполовину скрытыми в виноградниках и виноградных лозах.

Были и другие картины по естествознанию, представлявшие носорогов, слонов и охотящихся тигров, и, прежде всего, была картина с огромным китом, столь же большим, как судно, удерживаемым множеством гарпунов и тремя

лодками, плывущими за ним с такой скоростью, что казалось, будто они летели.

Затем у нас был большой книжный шкаф, что стоял в зале, старый коричневый книжный шкаф, высокий, как небольшой дом; у него имелся своего рода подвал с большими дверцами, замком и ключом; выше были расположены стеклянные дверцы, через которые можно было заметить длинные ряды старинных книг, отпечатанных в Париже, Лондоне и Лейпциге. Была прекрасная библиотека журнала «Зритель» в шести больших томах с позолоченными корешками, и много раз я пристально глядел на слово «Лондон» на титульном листе. И там была копия Д'Аламбера на французском языке, и я задался вопросом, что я был бы великим человеком, если бы в зарубежном путешествии был бы всегда в состоянии прочитать прямо и без остановки из той книги, которая теперь была загадкой для всех в доме, кроме моего отца, разговор которого с нашим слугой на французском языке, что он иногда вёл, мне так нравилось слушать.

На этого слугу я раньше смотрел пристально и с удивлением, поскольку в ответ на мои недоверчивые перекрёстные вопросы он много раз уверял меня, что действительно родился в Па-

риже. Но этому я никогда до конца не верил, поскольку казалось непреодолимым постигнуть, что человек, который родился за рубежом, мог жить под одной со мной крышей в нашем доме в Америке.

С годами это непрерывное влияние иностранных ассоциаций породило во мне неопределённую пророческую мысль, что я был обречён сегодня или завтра, но стать великим путешественником и вслед за моим отцом, развлекавшим незнакомых господ и угощавшим их выпивкой после ужина, мог бы рассказывать о своих собственных приключениях нетерпеливому слушателю. И я не сомневался в том, что это предчувствие в каком-то отношении и привело меня к последующим странствиям.

Но тем, что, возможно, больше, чем любая другая вещь, преобразовало мои туманные грёзы и тоску в чёткую цель искать своё счастье на море, стало старинное стеклянное судно французского производства, приблизительно восемнадцати дюймов длиной, которое мой отец приблизительно тридцать лет назад привёз домой из Гамбурга в подарок моему двоюродному деду сенатору Веллингборо, ныне покойному, члену Конгресса в эпоху старой конституции,

в честь которого после его смерти я и был назван. После смерти сенатора судно было возвращено дарителю.

Оно хранилось в квадратной витрине, которая регулярно чистилась одной из моих сестёр каждое утро и стояла на небольшом голландском чайном столике с ножками в одном из углов гостиной. Это судно, вызывавшее восхищение посетителей моего отца в столице, удивляло и восхищало всех людей деревни, где мы теперь проживали, многие из которых раньше просили мою мать ни о чём ином, кроме как увидеть судно. И хорошо оплачивали это зрелище, по своей привычке, долгими и любопытными экспертизами.

Во-первых, все его части его были стеклянными, и это сильно удивляло потому, что мачты, палубы и тросы были сделаны так, чтобы точно воспроизвести соответствующие части реального судна, которое могло выйти в море. Оно несло два ряда чёрных орудий по всему периметру обеих палуб, и раньше я часто пытался заглянуть в иллюминаторы, чтобы увидеть то, что находилось внутри; но отверстия были настолько маленькими, и внутренности выглядели настолько тёмными, что я смог обнаружить очень немногое

или вовсе ничего; хотя, когда я был очень мал, то, если бы смог хоть однажды открыть корпус и разбить все стекло на части, определённо открыл бы что-то замечательное, возможно, некие золотые гинеи, в которых, с тех пор как себя помню, всегда испытывал недостаток. Я и раньше часто чувствовал своеобразное безумное желание стать причиной гибели стеклянного судна, шкафа и всего того, что называется добычей, и однажды подал некий намёк моим сёстрам, отчего они с шумом побежали к моей матери, а после судно на какое-то время было поставлено на каминную доску вне моей досягаемости, до тех пор пока ему не перестала угрожать такая опасность.

Я не знаю, как объяснить моё временное безумие, если не сказать иначе, из-за прочитанного сборника рассказов о судне капитане Кида, которое лежит где-то в устье Гудзона около Гор, полное золота, как и положено; и как компания людей пыталась нырнуть вниз и вытащить спрятанное сокровище, о совершении чего ни у кого прежде не было и мысли, хотя оно там пролежало почти сто лет.

Нельзя не сказать о высоких мачтах и палубах и оснащении этого известного судна, среди лабиринтов стеклянной пряжи которого я рань-

ше бродил в воображении, пока не начиналось головокружение от переутомления, но я только упомяну про людей на его борту. Все они также были из стекла, эти красивые маленькие стеклянные матросы, совсем как любые другие живые люди, которых вы видите, со шляпами и обувью, надетыми на них, и в любопытных синих жакетах со своеобразными складками вокруг оснований. Четверо или пятеро из этих матросов были очень ловкими маленькими парнями и поднимались по оснастке очень широкими шагами; но для зрителей они никогда не сдвигались за год и на дюйм, о чем я могу заявить под присягой.

Другой матрос сидел верхом на бизань-гике, с руками, поднятыми над головой, но я никак не мог узнать, для чего это было нужно; второй находился на вершине фок-мачты с катушкой из стеклянных снастей за плечами; кок стеклянным топором рубил дерево возле переднего люка, стюард в стеклянном переднике спешил в каюту с пластиной стеклянного пудинга, и стеклянная собака с красным ртом лаяла на него, пока капитан в стеклянной кепке курил стеклянную сигару на квартердеке. Он прислонился к фальшборту, одной рукой держась за голову, возможно, он

был нездоров, поскольку глаза его глядели совсем безжизненно.

Название этого любопытного судна было «La Reine», или «Королева», и было подрисовано со стороны кормы, где любой мог бы прочитать его среди стай стеклянных дельфинов и морских коньков, вырезанных там своеобразным полукругом. И поскольку эта «Королева» парила, как бесспорная хозяйка гладкого зелёного моря, часть волн которого дико рассекались её носом, я могу сказать вам, что меня и раньше каждый раз бросало в волнах, как и её, из-за потерь и провалов, пока я не стал старше и не почувствовал, что ей в мире ни малейшая опасность не угрожала.

За много лет в витрину, в которой хранилось судно, через щели, что имелись внизу, проникло множество пыли и ворса, покрыв всё море лёгким белым рисунком, улучшающим общее впечатление от любой вещи, поскольку он был похож на пену, поднятую ужасной бурей, которой противостояла славная «Королева».

Поэтому я так много рассказал про «Ла Рейн». У нас она всё так же стоит в доме, но многие из её стеклянных штанг и снастей теперь, к прискорбию, сломаны и порваны — но я не буду их чинить; и её номинальный Глава, галантный

воин в треуголке, упал за борт вниз головой, прямо в котловину погибельного моря под носом корабля — но я не сделаю так, чтобы он поставил свои ноги назад, пока не сделаю этого сам; ведь между ним и мной есть тайная симпатия; и мои сёстры сказали мне, все разом, что он упал со своего места в тот самый день, когда я покинул дом, чтобы выйти в море в своё первое путешествие.

Глава II
Отъезд Редберна из дома

Из-за тяжести на сердце и из-за переполненных слезами глаз моя бедная мать поссорилась со мной; скорее всего, она решила, что я допускаю своевольную ошибку, что, возможно, и было, но если и так, то это был жестокий мир, и тяжёлые времена сделали меня таким. К тому времени у меня уже было много горьких мыслей, все мои юношеские высокие мечты о славе оставили меня, и в своём раннем возрасте я был так же лишён честолюбия, как шестидесятилетний.

Да, я пойду в море, оставив моих добрых дядей и тёток и симпатию покровителей, и покину их без тяжестей в сердце, кроме тех, что остались в моём собственном доме, и я не возьму с собой ни одной, кроме той, что болит в моей груди. Холодным, холодней, чем мороз в декабре, и суровым, как его порывы, казался мне тогда мир; нет большего мизантропа, как ещё не разочаровавшийся мальчик; и таков был я, с горячностью растративший силы, оказавшись в тяжёлом положении. Но эти мысли довольно горьки даже

сейчас, поскольку они ещё полностью не ушли, и по своему духу они должны быть чужды читателю, поэтому хватит об этом, и позвольте мне продолжить мою историю.

«Да, я напишу тебе, дорогая мама, как только смогу», — пробормотал я, как только она в сотый раз обвинила меня в том, что я не сообщу ей о моем безопасном прибытии в Нью-Йорк. И вот уже Мэри, Марта и Джейн расцеловывают меня всего, дорогие мои сёстры, и затем я удаляюсь: «Я вернусь через четыре месяца — тогда уже будет осень, и, как только созреют орехи, мы пойдём в лес, и я расскажу вам всем о Европе. До свидания! до свидания!»

Так я высвободился из их рук и, не смея оглядываться, побежал вперёд с той скоростью, на какую был способен, пока не добрался до угла, где ждал меня мой брат. Он сопровождал меня до того места, откуда пароход должен был идти в Нью-Йорк, передавая с высоты своего возраста множество мудрых советов, хотя он был всего лишь восемью годами меня старше, наказывая мне снова и снова заботиться о себе, и я торжественно пообещал всё выполнять: это как если потерпевший кораблекрушение не начнёт заботиться о себе, то он увидит, что, если он сам чего-то для себя не сде-

лает, то и никто другой не сделает это за него.

Мы шли в тишине, пока я не увидел, что его покидает сила — он был тогда слаб здоровьем, и с немым рукопожатием и с громким ударом в сердце мы разошлись.

Было раннее туманное холодное утро в конце весны, и мир лежал передо мной, вдаль протянулась длинная грязная дорога вровень с уютными зданиями, обитатели которых были заняты своим предрассветным сном, не обращая внимания на проходящего странника. Холодные капли дождя просочились через мою кожаную кепку и смешались с несколькими горячими слезами на моих щеках.

Вся дорога принадлежала мне, меня ничего не волновало, и я шёл ленивой уверенной походкой. Серая охотничья куртка прикрывала мою спину, и с конца винтовки моего брата свешивался маленький узелок с моей одеждой. Мои пальцы лениво держались то за ложе винтовки, то за спусковой механизм, и я решил, что это действительно был способ начать жизнь с оружием в руке!

Не говорите о горечи среднего возраста и последующей жизни, мальчик может чувствовать всё, и даже намного больше, когда на его молодой

душе зацветает плесень, и фрукт, который вместе с другими только что разорвался от зрелости, был зажат, будучи ещё цветком и бутоном. И такая травма никогда не проходит бесследно, эти раны слишком глубоки и оставляют такие шрамы, что воздух Рая не может их стереть. И они — тяготы и жестокости ранней юности — существуют для того, чтобы заранее испытать муки, которые ждут нас в мужественной зрелости, когда хрящ становится костью, и мы встаём и преодолеваем наши судьбы, как испытания, которые уже познали и предопределили; поэтому мы теперь — ветераны, привыкшие к осадам и сражениям, а не зелёные новички, отскакивающие при первом шоке от столкновения.

Наконец, когда корабль заполнился, мы отчалили, и дальше двинулись вниз по Гудзону. На борту было немного пассажиров, день был весьма неприятный, и они, главным образом, собрались в каюте вокруг печей. После завтрака некоторые из них погрузились в чтение, другие задремали на диванах, а следующие сидели тихими кружками, несомненно, размышляя относительно того, кем является тот или иной пассажир.

Они, конечно, были унылым сборищем, и все

они с каменными взглядами и бессердечием взирали на меня. Я не мог сочувствовать им, я почти ненавидел их и, чтобы их избегнуть, пошёл на палубу, но шторм с дождём и снегом спровадили меня обратно вниз. В последний момент я вспомнил, что не обзавёлся билетом, и пошёл в офис капитана, чтобы оплатить его и получить, и был поражён ужасной новостью, что в тот день цена этого обрывка бумаги была внезапно поднята, ввиду того что другие корабли остались стоять, поэтому у меня не оказалось достаточно денег, чтобы заплатить за свой проезд. Я предположил, что это будет всего лишь доллар и только доллар, который у меня и был, тогда как нужно было два. Ну что тут делать? Корабль уже отчалил, и уже не было никакого пути назад, а потому я решил никому ничего не говорить и, нахмурившись, ждал, когда с меня потребуют плату за проезд.

Долгий утомительный день подошёл к середине, лишь непрерывный шторм бушевал на палубе, но после ужина несколько пассажиров, согретых ростбифом и бараниной, стали немного более общительными. Но не со мной — из-за аромата и печати бедности, несомых мной, все они бросали на меня свои дурные и холодные подозрительные взгляды, а потому я сидел

обособленно, хотя и среди них. Я чувствовал отчаяние и безрассудство бедности, которые можно осознать только глядя на заплату из ткани, аккуратно пришитую моей матерью, но всё же очень заметную и привлекающую взгляд. Этот участок я до настоящего времени пытался тщательно скрыть вполне достаточными полями моей охотничьей куртки, но затем я смело вытянул ногу и выставил заплату прямо под их носом и взглянул на них так, что скоро они стали смотреть вдаль, несмотря на то что я был совсем молод. Возможно, оружие, которое я сжимал, напугало их до появления уважения, или в моем взгляде, возможно, было что-то уродливое, или мои зубы были белыми, а мои челюсти были сжаты. В течение нескольких часов я сидел, пристально глядя на весёлую вечеринку, устроенную за столом из красного дерева, с крекерами и сыром, и вином, и сигарами. Их лица зарумянились после доброго обеда, а я почувствовал себя бледным и бледнеющим от долгого поста. Если бы я принял участие в одной из этих вечеринок, если бы я рассказал им о моей ситуации и попросил бы чем-нибудь освежить меня, то весьма вероятно, что они велели бы официантам вывести меня из своеобразного полого кольца их смеха и из ка-

юты, как попрошайку, поскольку у них не было желания позволить мне самому согреться возле их печи. И из-за этого оскорбления и всего лишь из-за тщеславия, я сидел и пристально смотрел на них, не прося ничего у их процветающего облика. Вся моя душа словно прокисла во мне, и когда, наконец, помощник капитана, стройный молодой человек, одетый по высокой моде, с золотой часовой цепочкой и брошью, пришёл собирать деньги за билеты, я застегнул своё пальто до горла, сжал своё оружие, надел свою кожаную кепку и натянул её как следует, встав перед ним как часовой. Он протянул руку, считая любое замечание излишним, поскольку стоящий перед ним объект, очевидно, находился в замешательстве. Но я стоял неподвижно и тихо, и через мгновение он увидел, что я собой представляю. Я должен был сообщить ему о своей ситуации в простых, общепринятых словах и предложить свой доллар, а затем начать ждать дальнейших событий. Но я слишком разозлился. Он не стал долго ждать, но для начала заговорил сам, и грубым голосом, очень отличавшимся от его учтивого тона, обращённого в сторону вина и сигар, потребовал у меня билет. Я ответил, что у меня его нет. Тогда он потребовал

деньги, и на мой ответ, что у меня их нет, совсем негромким сердитым голосом, который привлёк взгляды всех присутствующих, велел мне выйти из каюты под шторм. Тогда Дьявол пророс из моей души и разошёлся по моему телу, пока не стало покалывать в кончиках пальцев, и я пробормотал своё решение, что останусь там, где стою, да так, что билетёр отшатнулся назад. «Для вас есть доллар», — добавил я, предложив его.

«Мне нужно два», — сказал он.

«Либо возьмите его, либо ничего, — ответил я, — это всё, что у меня есть».

Я подумал, что он ударит меня. Но, принимая деньги, он удовлетворился каким-то высказыванием об охотниках, идущих на охоту и не имеющих денег, чтобы оплатить свои расходы, и намекнул, что таким парням лучше отложить в сторону свои охотничьи ружья, взять доллар и заняться наблюдением. Затем он прошёл дальше, и каждая пара глаз взяла меня на прицел.

Я оставался предметом их внимания в течение некоторого времени, но, наконец, не смог дальше терпеть их взгляды. Я занял своё место прямо перед самым наглым наблюдателем, невысоким толстым человеком с пышным шейным платком вокруг шеи и, зафиксировав на нем

свой пристальный взгляд, вернул ему больше пристальных взглядов, чем он послал мне. Это несколько смутило его, и он оглянулся по сторонам в поисках кого-нибудь, чтобы схватить меня; но никого не нашлось, и он сделал вид, что, якобы, очень занят, считая позолоченные деревянные лучи наверху. Тогда я переключился на следующего наблюдателя и сжал оружейный затвор, сознательно демонстрируя ему эту часть винтовки.

Под этим воздействием он покинул своё место со стремлением убраться из моего поля зрения, поскольку я рассматривал его в упор, левым глазом; несколько человек поднялись со своих мест, воскликнув, что я, должно быть, сумасшедший. Таким я был в то время, и так и не знаю, как объяснить свою бесноватость, которой я позже стыдился от всего сердца, что, пожалуй, и следовало делать, и стыдился намного больше, чем тогда. Затем я оторвал пятки и, взвалив на себя своё охотничье ружье и узелок, прошёлся по палубе и принялся шагать под унылый шторм, пока не промок из-за него, а судно не коснулось причала в Нью-Йорке.

Таково отрочество.

Глава III
Он оказывается в городе

Я соскочил на берег с носа корабля ещё до того, как корабль пришвартовался, и, внимая указаниям моего брата, прошёл через город к парку Святого Иоанна, к дому, где жил приятель брата по колледжу, к которому у меня было письмо.

Это была долгая прогулка, и я зашёл, чтобы попить воды, в своеобразную бакалейную лавку, где приблизительно шесть или восемь грубых на вид приятелей играли на прилавке в домино, усевшись на ящики из-под сыра. Они подмигнули мне и спросили, на кого я охочусь в такой дождливый день, но я только проглотил свою воду и последовал дальше.

Мокрый, как тюлень, я, наконец, опустился наземь возле двери дома друга моего брата, позвонил в звонок и спросил о нём.

«Что тебе нужно?» — спросил слуга, разглядывая меня, как будто я был взломщик.

«Я хочу увидеть вашего господина и хозяина, проведите меня в гостиную».

При этих словах мой хозяин появился сам и,

увидев, кто я такой, сразу открыл мне своё сердце и объятия и повёл меня к своему домашнему очагу; он получил письмо от моего брата и ждал меня в этот день.

Семья чаёвничала, душистая трава заполнила комнату ароматом, поджаренный тост благоухал, и всё было приятным и очаровывающим. После того как я согрелся, мне показали комнату, где я переоделся, вернулся к столу и обнаружил, что эта пауза была использована моей хозяйкой: еда для путешественника была выставлена, и я усердно приналёг на неё. Каждый глоток выдавливал и всё дальше и дальше гнал от меня дьявола, который мучал меня весь день, пока я полностью не изгнал его тремя поочерёдно выпитыми чашами бохейского чая.

Магия добрых слов, добрых дел и хорошего чая! Той ночью я пошёл в кровать, думая, что мир, в конце концов, довольно терпим, и я едва ли мог понять, каким я в действительности был тем утром, поскольку сейчас пребывал в естественном лёгком и сдержанном состоянии; хотя, когда давешнее состояние на время возвращалось ко мне, оно, возможно, оказывалось опасней каннибала.

На следующий день друг моего брата, которого

я решил называть г-ном Джонсом, сопроводил меня вниз к разгружаемым в доках кораблям для того, чтобы я добрался до нужного места. После долгих поисков мы нашли судно на Ливерпуль и застали в каюте капитана, который оказался очень солидным и вполне гармонировал с обивкой из красного дерева и клёна; и стюард, изящный с виду мулат в великолепном тюрбане, устанавливал в своеобразный буфет некий столовый сервиз, который был похож на серебряный, но это было всего лишь хорошо отполированное изделие из Британии.

Как только я открыл глаза и взглянул на капитана, то решил для себя, что он был бы самым подходящим капитаном. Он был приятным с виду человеком, приблизительно сорока лет, блестяще одетым, с очень чёрными бакенбардами и очень белыми зубами, и — что я свободно принял — с откровенным взглядом больших карих глаз. Мне он невероятно понравился. Когда мы вошли, он прогуливался вверх и вниз по каюте, напевая самому себе некий живой мотивчик.

«Доброе утро, сэр», — сказал мой друг.

«Доброе утро, доброе утро, сэр, — сказал капитан. — Стюард, стулья для господ».

«О! Неважно, сэр, — сказал г-н Джонс, скорее

озадаченный его ответной любезностью. — Я просто сказал, что хотел бы знать, нужен ли вам прекрасный юноша для выхода в море вместе с вами. Он здесь, он давно хотел стать матросом, и его друзья, наконец, решили позволить ему пуститься в путешествие и поглядеть, насколько оно ему понравится».

«Ах! Действительно! — вежливо сказал капитан и поглядел на меня. — Он — прекрасный парень, он мне нравится. Итак, ты хочешь быть матросом, мой мальчик, не правда ли? — добавил он, нежно погладив мою голову. — Мы — тверды, хотя жизнь тяжела».

Но когда я оглядел его удобную и почти роскошную каюту и затем его красивое, беззаботное лицо, то решил, что он только попытался напугать меня, и ответил: «Ну, сэр, я готов попробовать».

«Я надеюсь, что он — парень из этой страны, сэр, — сказал капитан моему другу, — иногда у городских мальчиков бывают твёрдые шкуры».

«О, да, он из этой страны, — прозвучал ответ, — и семья весьма почтенная, его двоюродный дед умер сенатором».

«А не хочет ли его двоюродный дед тоже выйти в море?» — сказал капитан с весёлым взглядом.

«О, нет, о, нет! Ха-ха!»

«Ха-ха!» — отозвался эхом капитан.

Прекрасный весёлый джентльмен, подумал я, немного чудной, однако по своему легкомыслию он будет отпускать свои шутки относительно моего двоюродного деда всё путешествие, и потому, когда я позже рассказал об этом на борту одному из вантовых, он бросил на меня такой взгляд, что чуть не разбил им мою голову.

«Ну, мой мальчик, — сказал капитан, — я предполагаю, вы знаете, что у нас на борту нет пастбищ и коров, ты не сможешь получить в море молока, так и знай».

«О! Я всё это знаю, сэр, мой отец пересекал океан, насколько мне известно».

«Да, — вскричал мой друг, — его отец, джентльмен из одной из пионерских семей, несколько раз пересёк Атлантику по важному делу».

«Чрезвычайным послом?» — сказал капитан, снова весело глядя.

«О, нет, он был богатым торговцем».

«Ах! Действительно, — сказал капитан, снова глядя серьёзно и мягко, — тогда этот прекрасный парень — сын джентльмена?»

«Конечно, — сказал мой друг, — и он идёт в море только ради забавы, его хотят послать в путешествие с наставником, но он выйдет в мо-

ре как матрос».

Факт состоял в том, что мой молодой друг (поскольку ему было приблизительно только двадцать пять лет от роду), был не очень мудрым, и эти слова были большой выдумкой, которую от доброты своего сердца он высказал ради моей поддержки и в целях создания чувства глубокого уважения ко мне в глазах моего будущего господина.

Уже узнав, что я преднамеренно воздержался от длительного путешествия с наставником ради того, чтобы засунуть свою руку в ведро со смолой, солидный капитан стал выглядеть в десять раз более весёлым, чем ранее, и сказал, что сам стал бы моим наставником и принял бы участие в моих путешествиях, заплатив за эту привилегию.

«Ах! — сказал мой друг. — Это напоминает мне о деле. Простите, уточните, сколько именно вы обычно платите такому красивому молодому человеку, как этот?»

«Хорошо, — сказал капитан, глядя серьёзно и вдумчиво, — мы не столь смыслим в красоте и никогда не даём больше, чем три доллара, такому зелёному парню, как присутствующий здесь Веллингборо — это твоё имя, мой мальчик? Вел-

лингборо Редберн! Прими, Господи, мою душу, прекрасное, звучное имя».

«Да ведь, капитан, — сказал г-н Джонс, быстро прервав его, — это даже не будет платой за его одежду».

«Но вы же знаете, что его очень респектабельные и богатые родственники будут, несомненно, рады видеть его здесь», — ответил капитан, и снова с весёлым взглядом.

«О, да, я забыл, — сказал г-н Джонс, выглядя довольно глупым. — Его друзья, конечно же, обрадуются».

«Конечно», — сказал капитан, улыбаясь.

«Конечно», — повторил г-н Джонс, с сожалением глядя на заплату на моих штанах, которую именно в этот момент я пытался скрыть полой своей охотничьей куртки.

«Ты — настоящий охотник, как я вижу», — сказал капитан, разглядывая большие пуговицы на моем пальто, на каждой из которой была выгравирована лиса.

При этой одобрительной фразе мой друг решил, что тут появилась хорошая возможность оказать мне поддержку.

«Да, он — настоящий охотник, — сказал он, — у него дома есть очень ценное охотничье ружье,

возможно, вы хотели бы купить его, капитан, чтобы стрелять чаек в море? Это недорого».

«О, нет, он должен оставить его у своих близких, — сказал капитан, — так, чтоб можно было отправиться на охоту снова, когда он вернётся из Англии».

«Да, возможно, в конце концов, так будет лучше, — сказал мой друг, притворно впав в глубокое размышление, привлекая все стороны к рассматриваемому вопросу. — Ну, тогда, капитан, вы можете дать мальчику хотя бы три доллара в месяц, как вы говорите?»

«Только три доллара в месяц», — сказал капитан.

«И я верю, — сказал мой друг, — что вы обычно даёте что-нибудь в виде аванса, разве не так?»

«Да, кое-где есть такой обычай в судоходных офисах, — сказал капитан с поклоном, — но поскольку у мальчика есть богатые родственники, то в этом случае, как вы понимаете, такой потребности нет».

И, таким образом, его опрометчивые, но действующие из лучших побуждений намёки относительно респектабельности моего отцовства и огромного богатства моих родственников, сделанные моим чистосердечным, но действи-

тельно глупым другом, заранее уберегли меня от получения трёх долларов, в которых я весьма нуждался. Однако я ничего не сказал, хотя и о многом подумал, и особенно о том, что было бы намного лучше для меня выбрать что-то одно и привлечь капитана на свою сторону, сказав ему простую правду. Бедные люди поступают весьма неправильно, когда пытаются казаться богатыми. Заключив соглашение, мы распрощались с капитаном, и когда мы покидали каюту, он снова улыбнулся и сказал: «Ну, Редберн, мой мальчик, ты не станешь тосковать по дому, прежде чем приплывёшь, потому что когда мы выйдем в море, ты не будешь страдать от морской болезни».

И с этими словами он очень мило улыбнулся, поклонился два или три раза и велел стюарду открыть дверь каюты, что стюард и сделал с характерной усмешкой на лице, покосившись на мою охотничью куртку. И затем мы ушли.

Глава IV
Как он избавился от своего охотничьего ружья

На следующий день я в одиночку пошёл в судоходный офис, чтобы подписать статьи договора, и встретил там большую толпу матросов, которые, обнаружив, что я встал за ними, начали перемигиваться в своём кругу, и я услышал, как человек в большой колыхающейся зюйдвестке сказал другому просмолённому старику в короткой шершавой куртке: «Глянь на его куртку — как видишь такие пуговицы, становится понятно — этот парень не идёт в море на торговом судне, он собирается забивать китов. Я спрашиваю, приятель, гляди сюда — им такие большие пуговицы продают на вес?»

«Дашь нам одну вместо блюдца, почему нет?» — сказал другой.

«Это только для юношей, — сказал третий. — Когда ты направился сюда, мой маленький мальчик, твоя мама дала тебе в море хоть немного конфет?»

Все они — остроумные собаки, подумал я про

себя, пытаясь держаться как можно уверенней, чтобы было видно, что у меня нет негодования на сказанное, они не смогли бы нанести вреда, хотя, конечно, были очень нахальны; я пробовал отбиться смехом от их шуток, но если б только смог, то скрыл бы своё имя и протрубил отступление.

На следующий день о судне было объявлено, что оно отплывает. Поэтому остальную часть этого дня я потратил на приготовления. После бесплодной попытки продать моё охотничье ружьё за справедливую цену случайным покупателям я пошёл с ним по Чатем-стрит, когда курчавый маленький человек с тёмным жирным лицом и крючковатым носом, как у Иуды Искариота на картине, окликнул меня из странного с виду магазина с тремя позолоченными окантованными брёвнами, нависающими над ним.

Со специфическим акцентом, как будто сам он объелся индийским пудингом или неким другим шикарным блюдом, этот маленький курчавый человек очень вежливо пригласил меня в свой магазин и, отвесив вежливый поклон и пожелав мне множество ненужных добрых утр и замечаний относительно хорошей погоды, попросил меня позволить ему посмотреть моё охотничье

ружьё. Я вручил его незамедлительно, радуясь возможности избавления от ружья, и сказал, сколько хотел бы за него получить.

«Ах! — снова сказал он со своим акцентом индийского болванчика, которому я не пытался подражать, дабы уменьшить его рвение. — Я думал, что оно будет получше, а это очень старое».

«Нет, — сказал я, привстав от удивления, — его использовали не больше чем три сезона, что вы дадите за него?»

«Мы здесь вещи не покупаем, — сказал он, взглянув внезапно и очень равнодушно, — это место, где люди вещи закладывают». Слово «закладывать» было словом, которого я никогда не слышал прежде, и я спросил его, что оно означает, тогда он ответил, что когда людям нужны какие-либо деньги, то они приходят к нему со своими охотничьими ружьями и получают одну треть от их стоимости, затем оставляют тут охотничьи ружья до тех пор, пока не смогут заплатить деньги. Какой, должно быть, доброжелательный маленький старик, подумал я, и какой обязательный.

«И умоляю, — сказал я, — сколько вы позволите мне получить за моё оружие, если его заложить?»

«Ну, я предполагаю, что оно стоит шесть долларов, и, отмечая то, что вы — мальчик, я позволю вам получить за него три доллара».

«Нет, — воскликнул я, схватив охотничье ружье, — оно стоит в пять раз дороже, я пойду куда-нибудь в другое место».

«Тогда доброго вам утра, — сказал он. — Я надеюсь, что вы добьётесь большего успеха». — И он поклонился мне, как будто снова и довольно скоро ожидал меня увидеть.

Я не очень далеко отошёл, когда столкнулся с ещё одним магазином с тремя шарами на верху входа. Войдя, я увидел длинный прилавок у своеобразного частокола, протянувшийся от одного его конца до другого, и три небольших проёма с тремя маленькими старичками, стоящими в них, подобно заключённым, выглядывающим из окон тюрьмы. За прилавком были видны разнообразные вещи, сложенные и маркированные. Шляпы и кепки, пальто и оружие, мечи и трости, и сундуки, и карты, и книги, и письменные столы, и всё остальное. В витрине было много часов и перстней с печатками, цепей, и колец, и брошей, и всевозможных безделушек. У одного из этих проёмов стояла худая женщина в изношенном шёлковом платье и платке, держащая

за руку маленькую бледную девочку, и доверительно разговаривала с одним из мужчин с ястребиным носом. Как только я приблизился, она заговорила тихим шёпотом, человек покачал головой и поглядел раздражённо и грубо, затем ещё несколько слов изменили картину, небольшие деньги были переданы через отверстие, и женщина с ребёнком отступила за дверь.

Я не продам своё оружие этому человеку, подумал я, перешёл к следующему отверстию и стал там ждать, когда меня обслужат, стоя за пожилым человеком в сюртуке с высокой талией, совавшем серебряную табакерку, молодым человеком в ситцевой рубашке и солнечном пальто с бархатным воротником, предлагавшем серебряные часы, робким мальчиком в плаще, вынувшем сковороду, и другим маленьким мальчиком с Библией, и все эти вещи протягивали человеку с ястребиным носом, который, казалось, готов был вцепиться в любую вещь, которая представала перед ним; поэтому я не сомневался, что он с удовольствием затянет моё оружие за широко расставленный прилавок, похожий на большой невод, который способен поймать любую рыбу.

Наконец, я воспользовался возможностью и протиснулся в отверстие, и, чтобы опередить

крупного человека, который именно тогда вошёл, я яростно просунул внутрь своё оружие, отчего человек с ястребиным носом закричал, решив, что я собрался в него выстрелить. Но, наконец, он взял оружие, повернул его одним и другим концом, три раза щёлкнул спусковым механизмом и затем сказал: «Один доллар».

«Что там касательно одного доллара?» — спросил я.

«Это — всё, что я дам», — ответил он.

«Ну, что вы хотите?» — И он повернулся к следующему человеку. Это был молодой человек в захудалом красном шейном платке и с прыщавым лицом, который выглядел так, как будто пришёл с аналогичной просьбой, и который таинственно тыкал в карман своего жилета и разными намёками важно показывал наличие чего-то конфиденциального, стремясь относительно этого и пообщаться.

Но человек с ястребиным носом высказался очень громко и сказал: «Ничего подобного, выньте их. Получили украденные часы? Мы не имеем дел с такими вещами».

От этого молодой человек вспыхнул всем своим лицом и оглянулся, чтобы увидеть тех, кто услышал ростовщика; тогда он вынул что-то очень

маленькое из своего кармана и, скрывая его под своей ладонью, просунул в отверстие.

«Где вы взяли это кольцо?» — спросил ростовщик.

«Я хочу заложить его», — прошептал другой, краснея снова и снова.

«Как вас зовут?» — сказал ростовщик, говоря очень громко.

«Сколько вы дадите?» — прошептал другой в ответ, наклонившись и глядя так, как будто он хотел заставить ростовщика замолчать.

Наконец, сумма была согласована, затем человек за прилавком взял маленький билет и, привязав к нему кольцо, начал писать на билете; внезапно он спросил молодого человека, где он живёт, что того очень смутило, но, наконец, он пробормотал определённый номер на Бродвее.

«Это отель „Сити“: вы там не живёте», — сказал человек, безжалостно разглядывая потёртое пальто посетителя.

«О! Хорошо, — запнулся другой, густо покраснев, — я думал, что это была всего лишь своего рода формальность, мне не нравится говорить, где я действительно живу, поскольку не имею привычки ходить к ростовщикам».

«Вы украли это кольцо, и вы это знаете, — про-

ревел человек с ястребиным носом, рассердившись на такое неуважение к его запросу и теперь ради своей жизни, по-видимому, стремясь опозорить личность молодого человека. — По мне, так лучше вызвать констебля, мы здесь не берём украденные товары, вам же сказано».

Взгляды всех присутствующих теперь с подозрением уставились на этого измученного молодого человека, от чего рассматриваемый был готов провалиться сквозь землю, и бедная женщина в ночном колпаке с какой-то детской одеждой в руке жутким взглядом посмотрела на ростовщика, как будто боясь столкнуться с таким ужасным образцом честности. Наконец, молодой человек убыл со своими деньгами, и, выглянув из окна, я увидел, что он повернул за угол настолько резко, что ударился своим локтем о стену.

Я прождал немного дольше и увидел несколько больше и отметил, что люди с ястребиными носами неизменно устанавливали свою собственную цену на каждую вещь, и если им отказывали, советовали человеку действовать самостоятельно; я пришёл к заключению, что будет бесполезно пытаться получить от них больше, чем они предлагали, особенно когда увидел, что у них было

великое множество охотничьих ружей, висящих наверху, и не было особой нужды в моём, и более того: они, вероятно, были весьма независимы и богаты, для того чтобы так высокомерно относиться к людям.

Мой лучший план тогда состоял в том, чтобы сразу вернуться к курчавому ростовщику и согласиться с его первым предложением. Но когда я вернулся, курчавый человек был чем-то очень занят и долгое время продержал меня в ожидании; наконец, я получил возможность сказать ему, что возьму три доллара, которые он предложил.

«Нужно было взять их тогда, когда вы могли их получить, — ответил он. — Теперь я не могу дать за него больше двух с половиной долларов».

Напрасно я убеждал — он не уступал, поэтому я положил в карман деньги и отбыл.

Глава V
Он покупает себе морской гардероб и в мрачный дождливый день устраивается на полном пансионе вдоль причалов

Первая вещь, которую я тогда сделал, состояла в том, чтобы купить немного канцелярской бумаги и сдержать данное моей матери обещание сочинять ей письма, а также написать своему брату, сообщив ему о путешествии, которое стало моей целью, когда я предавался неким романтичным и мизантропическим представлениям о жизни, к чему множество мальчишек при моих обстоятельствах и было приучено.

Остальную часть от двух с половиной долларов я выложил тем же самым утром, купив красную шерстяную рубашку возле Кэтрин-маркет, брезентовую шляпу, благодаря которой я достиг сходства с персонажем наружной вывески около парома «Пек Слип», пояс, складной нож и два или три пустяка. После этих покупок у меня в запасе остался только один пенс, поэтому я, дойдя до конца пирса, бросил пенс в воду. Причина,

почему я сделал это, состояла в том, что я почему-то снова почти впал в отчаяние и не заботился о том, что произойдёт со мной. Но если б сумма пенсов равнялась бы доллару, то я бы их сберёг.

Я пошёл домой на ужин к господам Джонс, и они приветствовали меня очень любезно, и г-жа Джонс во время ужина всё время поддерживала мою тарелку полной, да так, что я не имел никакого шанса освободить её. Она, казалось, видела, что я плохо себя чувствовал, и решила, что много пудинга могло бы помочь мне. Во всяком случае, я никогда не чувствовал себя так плохо, но я мог съесть хороший ужин. И однажды, годы спустя, каждодневно пребывая в ожидании быть убитым, я вспомнил, каким острым был мой аппетит, и сказал себе: «Ешь, Веллингборо, возможно, это твой самый последний ужин».

После ужина я вошёл в свою комнату, тщательно закрыл дверь и так повесил на дверной рукояти полотенце, чтобы никто не мог заглянуть через замочную скважину, а затем постарался примерить мою красную шерстяную рубашку перед стеклом, чтобы увидеть, какой вид будет у матроса, которым я собирался стать. Как только я надел рубашку, то начал чувствовать тепло и красноту на лице, что, по-моему, было следстви-

ем отражения окрашенной шерсти на моей коже. После этого я взял ножницы и начал подстригать свои волосы, которые были очень длинными. Я решил, что каждый из них немного помог моей лёгкой руке бежать вверх.

Следующим утром я попрощался со своим добрым хозяином и хозяйкой и покинул дом с узелком, снова почему-то ощущая себя нелюдимым и отчаянным.

Прежде чем я достиг судна, начал лить сильный дождь, и как только я достиг причала, стало ясно, что в этот день не будет никакого выхода в море.

Это оказалось большим разочарованием для меня, поскольку я не хотел снова возвращаться к г-ну Джонсу после прощания: это было бы как-то неловко. Я решил взойти на борт корабля, чтобы представиться.

Когда я добрался до палубы, то не увидел никого, кроме крупного мужчины в большой промокшей тужурке, который подковывал низы у главных люков.

«Что тебе нужно, бедолага?» — сказал он.

«Я отправляюсь в плавание на этом судне», — ответил я, приняв немного достойный вид, чтобы осадить его фамильярность.

«Кем? Портным?» — сказал он, глядя на мой

охотничий жакет.

Я ответил, что иду как юнга, поскольку так именовался в статьях.

«Хорошо, — сказал он, — у тебя есть свои ловушки для крыс на борту?»

Я сказал ему, что не знал, что на судне есть какие-то крысы, и не захватил какой-либо ловушки.

На сказанное мною он громко расхохотался и сказал, что, судя по моей причёске, я — деревенщина.

Это меня взбесило, но, подумав, что он должен быть одним из матросов и членом экипажа, я решил, что неумно будет делать из него врага, поэтому лишь спросил его, где спят на судне люди, поскольку хотел убрать свою одежду.

«Где твоя одежда?» — сказал он.

«Здесь в моем узелке», — сказал я, держа его.

«Хорошо, если это — всё, что у тебя есть, — крикнул он. — Ты должен перебросить его за борт. Но двигайся, двигайся к баку, вот тут на борту ты и будешь жить».

И с этими словами он указал мне на специальное отверстие на палубе судна, но, поглядев вниз и увидев, насколько темно там было, я попросил него посветить.

«Закрой оба глаза и открой один, — сказал он, — у нас здесь нет никакого огня». Таким образом, я нащупал себе путь на бак, который источал настолько скверный аромат старых верёвок и смолы, что этот запах едва не вызвал у меня отвращение. После терпеливого ожидания я начал немного видеть и, оглядевшись, наконец, различил, что оказался в закопчённом месте с двенадцатью деревянными ящиками, закреплёнными по бокам. У некоторых из этих ящиков была большая вместимость, и они, как я сразу предположил, принадлежали матросам, которые, должно быть, завели обычай присваивать себе «стволы» — как я позже узнал, назывались эти ящики. Так и оказалось.

После их обследования, занявшего некоторое время, я выбрал пустой ящик и положил свой узелок прямо в его середину так, чтобы не могло бы быть никакого недоразумения из-за истребования моего места, особенно потому что узелок был весьма невелик.

Сделав это, я был рад выйти на палубу и, уверенно осознав, что судно не уплывёт до следующего дня, решил сойти на берег и походить до темноты, а затем, когда на улице будет ночь, вернуться и заснуть уже на баке. Итак, я прошёл

повсюду, пока не утомился, и вошёл в скромную ликёрную лавку, чтобы отдохнуть; из-за того, что брезент на мне выглядел не очень благородно, я побоялся войти в какое-либо место получше из страха быть изгнанным. Здесь я и уселся, пока не начал чувствовать голод, и, увидев несколько пончиков на прилавке, начал думать, что свалял дурака, выбросив свой последний пенс, поскольку пончики были всего лишь по пенсу за штуку и выглядели очень пухлыми, толстыми и круглыми. Никогда пончики не казались мне настолько соблазнительными, особенно когда вошёл негр и съел один из них прямо на моих глазах. Наконец, я решил, что добьюсь некоторого насыщения, выпив стакан воды, прочитав где-то, что было бы хорошо воспользоваться таким подарком. Я не чувствовал жажды, а только голод, и ещё чувствовал большое беспокойство из-за употребления воды, поскольку она была тёплой, и у стакана был противный запах: незадолго до этого негр пил из него какое-то спиртное.

Я снова вышел, время от времени останавливаясь ещё, чтобы взять немного воды и очень боясь шагнуть в тот же самый магазин дважды, пока не наступила ночь, и пока не обнаружил, что промок, поскольку дождь лил больше или

меньше, но весь день. Когда я взошёл на судно, то не мог не размышлять о том, насколько одиноко было бы провести целую ночь в этом сыром и тёмном баке без света или огня и каких-либо постельных принадлежностей, уложенных на голые доски моей койки. Однако все эти мысли утопил другой проглоченный мною стакан воды — хотя к этому времени я уже был довольно мокрым снаружи, — и, попытавшись изобразить смелый взгляд, как будто у только что от души поевшего человека, я ступил на борт судна.

Человека в большой тужурке я не заметил, но, пройдя дальше, неожиданно обнаружил там молодого парня, как раз моего возраста, и как только он открыл рот, я понял, что он не был американцем. Он говорил на таком любопытном языке, наполовину состоящем из английского и наполовину из неизвестной мне тарабарщины, что я не знал, что с ним делать, и был немного удивлён, когда он сказал мне, что он молодой англичанин из Ланкашира.

Как оказалось, он приплыл из Ливерпуля на этом самом судне в его последнее путешествие, как пассажир третьего класса, но обнаружил, что должен будет много работать, поскольку иначе очень трудно прожить в Америке, и, тоскуя

по дому, заключил сделку, в которой договорился с капитаном отработать свой обратный проезд.

Я был рад заиметь некую компанию и попытался разговориться с ним, но обнаружил, что он был самым глупым и неосведомлённым парнем, с которым я когда-либо встречался. Я спросил его что-то о реке Темзе, тогда он сказал, что не ездил по Америке и не знал ничего о здешних реках. И когда я сказал ему, что река Темза течёт в Англии, он не выказал ни удивления, ни позора от своего невежества, а только поглядел в десять раз более глупо, чем прежде.

Наконец мы спустились на бак и оба улеглись на койку, устроенную нами на досках, и я изо всех сил старался уснуть. Но хотя мой компаньон скоро начал очень громко храпеть, я же не мог забыться из-за неприятного запаха в этом месте и из-за того, что был совсем мокрым, холодным и голодным, и, помимо всего этого, сердцем чувствовал влагу и холод. Я поворачивался раз за разом, слушая храп ланкаширца, пока наконец не почувствовал, что должен буду выйти на палубу, где и бродил там до утра, которое, как думалось, никогда не наступит.

Как только я узнал, что бакалейная лавка на причале будет открыта, я сошёл с судна и по-

шёл готовить себе завтрак из другого стакана воды. Но от сделанного стал испытывать сильные угрызения совести и скоро почувствовал себя больным как смерть; моя голова кружилась, и я шёл, шатаясь, вдоль дороги, почти ослепший. Наконец, я плюхнулся на якорную цепь, сложенную в кучу, и тяжело закрыл свои глаза, прилагая все усилия, чтобы самому сосредоточиться на деле, в котором достаточно преуспел, вместо того чтобы, наконец, встать и уйти. Тогда я подумал, что поступил неправильно, когда накануне не вернулся в дом своего друга, и пошёл бы туда теперь, как и раньше, только тут было по крайней мере три мили по городу: слишком далеко для меня, чтобы идти в таком состоянии, и у меня не было шестипенсовика, чтобы проехать в омнибусе.

Глава VI
Он начинает с вычищения свинарника и смазки топ-мачты

К тому времени, как я вернулся к судну, здесь уже всё шумело. Человек в тужурке отдавал приказы множеству людей, занятых оснасткой, и те загружали цыплят, свиней, говядину и овощи, лежавшие на берегу. Вскоре после этого другой человек в полосатой набивной ситцевой рубашке, коротком синем жакете и бобровой шляпе, придававшими ему солидный вид, пришёл отдавать указания человеку в большой тужурке, и, наконец, со стороны подошёл капитан и начал приказывать им обоим. Первые двое, как оказалось, были первым и вторым помощниками капитана.

Решив подружиться со вторым помощником, я вынул старую черепаховую табакерку моего отца, в которую я положил немного плиточного табака, чтобы выглядеть похожим на матроса, и очень вежливо предложил ему коробочку. Он на какое-то мгновенье уставился на меня и затем воскликнул: «Ты думаешь, мальчик, что мы здесь

на борту нюхаем табак? Нет, в море совсем нет времени взять понюшку, не позволяй старику увидеть эту табакерку, послушайся моего совета и быстро, как только сможешь, отправь её за борт».

Я сказал ему, что это была не понюшка, а табак, тогда он сказал, что у него много собственного табака, и он никогда не носит при себе такой ерунды, как табакерка. С этими словами он ушёл по своим делам и оставил меня с ощущением того, что я оказался в глупом положении. Но у меня была причина радоваться, что он поступил так, поскольку, если у него табакерки не было, то я решил, что должен предложить свою коробочку помощнику капитана, который вследствие этого, как я позже решил, не будет меня унижать и не сделает что-то подобное.

Пока я стоял, оглядываясь вокруг, в великой спешке из-за чего-то приблизился старший помощник и, увидев меня на своём пути, выкрикнул: «Эй, ты, молодой бездельник на берегу! Здесь нечего воровать, вали, говорю тебе, со своей охотничьей курткой!»

При этих словах я отошёл, сказав, что я иду на судне как матрос.

«Матрос! — закричал он. — Помощник парик-

махера, ты хочешь сказать; ты идёшь на судне? Что, в этом жакете? Повесьте меня, я надеюсь, что старик больше не отправит таких новичков, как ты, — это приведёт к кораблекрушению. Но таковы современные нравы: сэкономить несколько долларов на жаловании моряков, которые совсем не смыслят в морской жизни, — всех эти фермеров, деревенских мужланов и мальчишек. Как зовут тебя, бедолага?»

«Редберн[1]», — сказал я.

«Прекрасное приложение к человеку, опалит любого, как дотронется. Нет ли у тебя другого имени?»

«Веллингборо», — сказал я.

«Ещё хуже. Кто крестил тебя? Почему они не назвали тебя Джеком, или Джиллом, или как-нибудь ещё короче и удобней? Но я окрещу тебя заново. Слушайте, сэр, впредь ваше имя — Пуговка. И теперь иди, Пуговка, и вычисти вон тот свинарник в баркасе, его не вычищали с последнего путешествия. И послушай, приложи старание к этому, есть свиньи, которые ждут этого места, — теперь иди, позаботься о нём».

Это теперь, значит, начало моей морской ка-

1 Примечания: 1

Редберн (*англ.* Redburn) — дословно «красное пламя, пылающий». — *Примеч. пер.*

рьеры? Задание вычистить свинарник, самое первое дело?

Я решил, что лучше всего ничего не говорить, я обязал самого себя повиноваться приказам, и было слишком поздно, чтобы отступать. Поэтому я лишь попросил совок, или лопату, или что-то ещё для работы.

«Мы здесь не сады сажаем, — был ответ, — копай своими зубами!»

После, оглядевшись, я нашёл палку и пошёл почистить рукоять, которая была довольно неудобна для работы, к другой лодке, называемой четырёхвесельным ялом, которая была вверх дном уложена прямо на баркас, державший обе лодки, ими же вместе почти полностью и закрываемый. Обе эти лодки стояли посреди палубы. Мне удалось заползти в баркас, и после сопротивления сидений моим голеням и многократных ударов головой я добрался до кормы, где находился свинарник.

Пока я был поглощён работой, заглянул пьяный матрос и крикнул своим товарищам: «Посмотрите сюда, мои парни, как вы назовёте эту свинью? Привет! Эй, внутри! Кто там? Пытаешься подальше спрятаться, чтобы украдкой попасть в Ливерпуль? Вон отсюда! Вон отсюда, я сказал».

Но именно в тот момент пришёл помощник капитана и приказал пьяному мошеннику отправиться на берег.

Когда я вычистил свинарник, мне поручили забрать часть стружки, которая лежала на палубе и осталась от работы плотников на борту. Помощник приказал мне бросить эту стружку в баркас в особом месте между двумя банками. Но поскольку я обнаружил, что протолкнуть стружку в это место это тяжёлая работа, и, так как место выглядело сырым, я решил, что как для меня самого, так и для стружки будет лучше протолкнуть её туда, где место более открытое и сухое. Пока я был занят, помощник, наблюдающий за мной, воскликнул, как проклятие: «Разве я не приказал тебе уложить эту стружку где-нибудь в другом месте? Делай, что я тебе сказал, Пуговка, или берегись!»

Подавление своего собственного негодования от его грубости, на которую я к этому времени нарвался, было моим единственным планом, и я ответил, что это не столь удобное место для стружки, в отличие от того, что я сам выбрал, и попросил сказать мне, почему он хочет, чтобы я поместил её в то место, которое он назначил. Из-за этого он рассердился и без объяснений по-

вторил свой приказ, словно удар грома.

Это было моим первым уроком морской дисциплины, и я никогда не забуду его. С того времени я узнал, что морские офицеры никогда не приводят причин для своих приказов. Достаточно того, что они командуют, поэтому их девизом было: «Повинуйся приказам, пока не сломаешься».

Я уже начал чувствовать себя очень усталым и больным и жаждал момента, когда судно покинет док, а потому у меня тогда не возникало сомнения, что мы скоро получим что-нибудь в качестве еды. Но пока ещё я не видел на борту ни одного матроса, а что касается мужчин, работавших с оснасткой, то разузнал, что они были «такелажниками», то есть людьми, живущими на берегу и работавшими подённо на подготовке судна к выходу в море, и об этом мне рассказал в придачу к уступке своей цены из-за льстивых речей один из этих же такелажников, который обменялся со мной складным ножом, более дешёвым, поскольку я попытался заполучить друга среди матросов на время путешествия. Наконец, я улучил момент, и в то время, пока люди стояли ко мне спиной, прихватил морковь из нескольких разложенных на палубе связок и, захлопнув её под полами моей охотничьей

куртки, отошёл, чтобы её съесть, ведь я часто ел сырую морковь, которая по вкусу напоминает каштаны. Эта морковь очень взбодрила меня, хотя и за счёт небольшой боли в животе. Едва я избавился от неё, как я услышал голос старшего помощника, не способного жить без «Пуговки». Я побежал за ним и получил приказ подняться и «зашугать низ грот-стеньги».

Это было для меня совсем греческим языком, и после получения приказа я стоял в изумлении, задаваясь вопросом, что нужно делать. Но помощник развернулся на своих пятках и не дал никаких объяснений. Я тут же последовал за ним и спросил, что же я должен выполнить.

«Разве я не велел тебе зашугать низ грот-стеньги?» — закричал он.

«Сказали, — ответил я, — но я не знаю, что это означает».

«Зелен, как трава! Типичный капустный кочан! — сказал он самому себе. — Прекрасные дни на борту будут у меня с таким новичком. Посмотри, мальчик. Посмотри туда, на вершину этого длинного столба — видишь его? Вон на ту часть дерева там, ты, башка дубовая, так вот — бери это ведро и поднимись по оснастке — вон там верёвочная лестница — ты понимаешь? — и покрой

этой смазкой мачту по всей длине, и ответишь головой, если хоть одна капля упадёт на палубу. Теперь пошёл прочь, Пуговка».

Богатый событиями час пробил, впервые в своей жизни я поднимался на судовую мачту. Если бы я хорошо и крепко стоял на ногах, то, возможно, что мне стало бы немного не по себе от этой мысли, но поскольку я тогда ослаб и был близок к обмороку, эта простая мысль ужаснула меня.

Но идти назад не было никакого резона, это было бы похоже на трусость, и я не мог признаться, что страдал от отсутствия еды, поэтому, снова напрягшись, я поднял ведро.

Это было тяжёлое ведро, с мощными железными обручами, и, возможно, вмещало два галлона. Но оно только наполовину было заполнено особым перетёртым густым соусом, который, как я позже узнал, был сварен из солёной говядины, используемой матросами. После того как я полез по снастям, я понял, что это была совсем не лёгкая работа — нести это тяжёлое ведро. Верёвочная ручка ведра была настолько скользкой от жира, что когда я даже несколько раз обернул её вокруг своего запястья, она всё ещё вращалась во все стороны и норовила слететь прочь. Не-

смотря на злость, мне, однако, удалось подняться до «вершины», пока неуклюжее ведро половину времени раскачивалось и вертелось между моим ногами с риском мгновенного опрокидывания. Достигнув «вершины», я дошёл до мёртвой точки и взглянул вверх. Как мне преодолеть это нависающее препятствие — эта мысль полностью поглотила меня в течение какого-то времени. Но, наконец, с большим напряжением я ухитрился поставить своё ведро на «вершину» и затем, доверившись провидению, сам забрался вслед за ним. Остальная часть пути прошла сравнительно легко, хотя каждый раз, когда я неосторожно смотрел вниз на палубу, моя голова так кружилась от слабости, что я был вынужден закрывать свои глаза, чтобы опомниться. Я плохо помню, что было дальше. Только вспоминаю своё безопасное возвращение на палубу.

В скором времени суматоха на судне усилилась, пространство кают заполнили пассажиры и сундуки и коробки пассажиров третьего класса, помимо корзин с вином и фруктами для капитана.

Наконец, мы отдали швартовы, и отошли на рейд, где бросили якорь и подняли сигнал к отплытию. Любая вещь, казалось, была на борту,

кроме команды, её члены через несколько часов после этого оторвались от берега, один за другим, в белодонных лодках, выгнувшись дугой, откинувшись назад и приосанившись, как лорды, явно демонстрируя большое самодовольство, они чувствовали, что заставили ждать целое судно ради их светлостей.

«Да, да, — бормотал старший помощник, пока они выбирались из лодок и расхаживали на палубе, — сейчас — ваша очередь, но в ближайшее время будет моя. Отклоняйтесь от курса, пока можете, мои сердечные, я же совершу отклонение от курса после подъёма якоря».

Некоторые из матросов были очень пьяны, и один из них, не воспринимающий своего начальника, был ими унесён вниз и свален на койку. И два других матроса, как только появились, так же немедленно спустились вниз, чтобы, выспавшись, избавиться от паров своего напитка.

Наконец, всей команде, что была на борту от носа до кормы, было приказано идти ужинать — приказ, от которого моё сердце с восхищением подпрыгнуло из-за того, что в данный момент мой долгий пост будет прерван. Но, впрочем, матросы, с избытком вкусившие на берегу еды

и выпивки, на сей раз не прикоснулись к солёной говядине и картофелю, которые темнокожий повар передал на бак, и хотя всё это было предоставлено мне, я, к своему удивлению, обнаружил, что смог съесть немного или совсем ничего: в тот момент я чувствовал себя лишь смертельно уставшим, но не голодным.

Глава VII
Он выходит в море и чувствует себя очень плохо

Всё, наконец, было готово, штурман попал на борт, и всё вокруг взывало к поднятию якоря. Пока я делал свою работу, я не мог не заметить, как выглядели измученные матросы и как они страдали от этого силового упражнения после потрясающего разгула, в котором они участвовали на берегу. Но скоро я узнал, что матросы не сожалели о таких вещах, но прилагали максимум усилий, чтобы казаться всем живыми и сердечными, хотя для многих из них это было довольно тяжело.

Якорь был поднят, паровой буксир с внушительным именем «Геркулес» подхватил нас, и мы пошли вдоль длинной погрузочной линии, причалов и складов, округлого зелёного южного мыса острова, где находилась Батарея, прошли Губернаторский остров и встали справа по направлению к теснине. Моё сердце будто стало свинцовым, и лишь Богу было известно, насколько плохо я себя чувствовал, но тогда у меня было

много работы, которая удерживала мои мысли от появления у меня чего-то худшего.

И я всё это время пытался думать, что иду в Англию, и что за грядущие долгие месяцы я должен буду реально побывать там и вернуться домой, рассказав о моих приключениях моим братьям и сёстрам, и с каким восхищением они будут слушать, и как потом они будут смотреть на меня и с почтением внимать моим рассказам, и что даже мой старший брат будет вынужден смотреть на меня с большим интересом, как на пересёкшего Атлантический океан, чего он никогда не делал, и не было никакой вероятности, что сделал бы.

С такими мыслями, как эти, я пытался отвлечься от своей печали, но это вообще не получалось, поскольку шёл всего лишь первый день путешествия, и много недель, нет, целых несколько месяцев должны были пройти, прежде чем путешествие подошло бы к концу; и кто мог сказать, что может произойти со мной, ведь когда я смотрел на высокие, головокружительные мачты, то думал о том, как часто я должен лазить по ним вверх и вниз, и думал, конечно же, о том, что в тот или иной некий несчастливый день я, конечно же, упаду за борт и утону. И затем я поду-

мал о том, как лягу на морском дне, совершенно один, под большими волнами, катящимися надо мной, и никто во всем мире не узнает, где я лежу. И я подумал о том, насколько лучше и слаще быть похороненным под красивой оградой, которая отделяла южную солнечную сторону нашего деревенского кладбища, где каждое воскресенье я привык бродить днём после обедни; и мне было почти жаль, что я не лежал там сейчас, да, мёртвым и похороненным на том кладбище. Всё время мои глаза были переполнены слезами, и я продолжал задерживать дыхание, с трудом проглатывая рыдания, поскольку действительно не мог сдержать чувств, которыми был охвачен, и, несомненно, любой мальчишка в мире чувствовал бы себя так же, как и я тогда.

А пока пароход тянул нас дальше и дальше вниз к заливу, и мы прошли мимо стоящих на якоре судов с людьми, пристально смотрящими на нас и машущими своими шляпами, и мимо маленьких лодок с сидящими в них леди, машущими своими носовыми платками; и, пройдя зелёный берег Стейтен-Айленда, мы увидели множество красивых домов, целиком увитых виноградными лозами, стоящих на красивых свежих замшелых склонах; о, тогда я отдал бы

что угодно за то, чтобы вместо этого отплытия из залива мы бы уже входили в него; о, если бы мы пересекли океан и вернулись, ушли и вернулись; и моё сердце подскочило внутри меня, как что-то живое, когда я подумал о реальном входе в этот залив в конце путешествия. Но это было пока настолько далеко, что мне казалось, будто этого никогда не случится. Нет, никогда, никогда не увидеть мне Нью-Йорка снова.

И что ещё потрясло меня больше, чем что-либо, так это то, что я услышал от некоторых матросов, пока они наматывали тросы: они говорили о пансионах, в которые они вернутся по возвращении, и ещё о том, что некоторые из их друзей обещали быть на причале, когда судно вернётся, чтобы взять их и их багаж прямо до Франклин-сквера, где они будут жить, и о том, что их будет ждать хороший обед и много сигар и алкоголя прямо на балконе. Я сказал, что этот земной разговор потряс меня, поскольку они, казалось, не учитывали, как это делал я, тот факт, что прежде чем какое-либо упомянутое событие смогло бы произойти, мы должны были пересечь великий Атлантический океан от Америки до Европы и обратно, многие тысячи миль бурного океана.

В то время я не знал, что делать с этими мат-

росами; я очень много думал о том, что, будучи мальчишками, они никогда, возможно, не ходили в воскресную школу, поскольку ругались так, что заставляли мои уши покалывать, и использовали такие слова, которые я никогда не мог слышать без сильного отвращения.

И это люди, думал я про себя, с которым я должен буду так долго жить? Это люди, рядом с которыми я должен есть и спать всё это время? И, кроме того, я теперь начал видеть, что они не собирались быть очень любезными, но я расскажу всё об этом, когда настанет подходящее время.

Сейчас вам не стоит думать, как все эти мысли проходили через мой ум, и что я ничего не мог с ними поделать, а сидел без движения и думал, нет, нет, я был поглощён работой: всё время, пока пароход тянул нас, мы были очень заняты, постоянно сматывали верёвки и тросы и укладывали по порядку на палубе, отчего всё пространство от одного конца до другого было заставлено этими предметами, и их пришлось убирать прочь.

Наконец, мы добрались до устья, которое всем известно как вход в нью-йоркскую Гавань с моря, его можно назвать Тесниной, поскольку, когда вы входите туда или выходите оттуда, оно походит

на вход или на дверной проем, и, когда вы выходите из Теснины при таком долгом путешествии, как моё, то это походит на выезд на широкое шоссе, где не видно ни души. Повсюду протянулся великий Атлантический океан, и все, что вы видите вне его, — это место, где небо сходится с водой. Оно выглядит одиноко и довольно пустынно, и я едва мог поверить, когда пристально посмотрел вокруг себя, что может существовать какая-либо земля вообще или какое-либо место, как Европа, или Англия, или Ливерпуль в огромном широком мире. Это казалось слишком странным, и замечательным, и в целом невероятным, что там действительно могли быть города и посёлки, и деревни, и зелёные поля, и ограды, и фермерские дворы и сады вдали за этой широкой гладью моря и вдали от того места, где небо сходилось с водой. И думать о движении среди этих волн, и об исчезновении яркой земли позади, и о приближении мрака ночи тоже казалось диким и безрассудным, и я глядел со своеобразным страхом на матросов, стоящих возле меня, которые были так спокойны в тот момент. Но когда я вспомнил, как мой собственный отец говорил, что пересёк океан, то тогда я, никогда не помышлявший о сомнении относительно его

рассказа, поскольку всегда считал его существом чудесным, бесконечно более чистым и большим, чем я сам, — я счёл, что он не имел никакой возможности поступить несправедливо или сказать неправду. И как теперь мог я не поверить в то, что он, мой собственный отец, которого я так хорошо помнил, когда-то пересёк под парусом эту Теснину, проплыл прямо через границу неба и воды и увидел Англию и Францию, Ливерпуль и Марсель. Это казалось слишком удивительным, чтобы в это поверить.

Теперь, по правую руку, если выходить из Теснины, берег становится довольно высок, и на вершине прекрасного утёса стоит большой замок или форт, весь в руинах, с деревьями, растущими вокруг него. Он был построен губернатором Томпкинсом во время последней войны с Англией, но никогда не использовался, что верно, и потому был заброшен. Я посетил однажды это место, когда мы жили в Нью-Йорке, почти так же давно, как себя помню, с моим отцом и моим дядей, старым морским капитаном с седыми волосами, который раньше ходил к месту под названием Архангельск в России и который тогда рассказывал мне, что он был с капитаном Лэнгсдорффом, когда капитан Лэнгсдорфф пересёк сушу от Охот-

ского моря в Азии до Санкт-Петербурга в санях, запряжённых большими собаками. Я упоминаю этого своего дядю потому, что он был самым первым морским капитаном, которого я когда-либо видел, и его белые волосы и прекрасное красивое красное лицо произвели на меня настолько сильное впечатлением, что я никогда не забывал его, хотя и видел только лишь во время этого визита в Нью-Йорк. Он пропал в Белом море несколько лет спустя.

Но я хотел рассказать о форте. Это было красивое место, как помню, весьма примечательное и романтичное, такое же, каким оно показалось мне, когда я пришёл туда с моим дядей. На удалённой от воды стороне находилась зелёная роща из очень толстых и тенистых деревьев, и вы проходите через эту рощу словно в сумерках через арку в стене форта, тёмную как ночь, и, войдя, вы нащупываете длинный подвал с ответвлениями и поворотами со всех сторон, пока, наконец, не улавливаете взглядом зелёную траву и солнечный свет, и внезапно не выходите на открытое пространство посреди замка. И там вы видите коров, спокойно пасущихся или размышляющих под тенью молодых деревьев, и, возможно, прыгающего телёнка, пытающегося поймать свой

собственный хвост, и овец, карабкающихся среди замшелых руин и небольших подрезанных пучков травы, вырастающей со стороны амбразур для орудий. И однажды я увидел чёрного козла с длинной бородой и кривыми рогами, высоко приподнявшегося на своих передних ногах на самый верхний парапет и смотрящего на море, как будто он наблюдал за судном, которое ввозило в страну его кузину. Даже сейчас я вижу его, и, хотя я изменился с тех пор, чёрный козел смотрит всё так же, и поэтому я предполагаю, что он продолжал бы смотреть, если б я жил столько же, сколько Мафусаил, и имел бы столь же хорошую память, какая, должно быть, была у него. Да, форт был красивым, тихим, очаровательным местом. Я хотел бы построить маленький дом посреди него и жить там всю свою жизнь. Стоял полдень, когда я был там, месяц июнь, и дул слабый ветер, неспособный пошевелить деревья, и каждая вещь смотрелась так, как будто ждала чего-то, и небо сверху было синим, как глаза моей матери, и я был тогда очень рад и счастлив. Но не стоит думать о тех восхитительных днях, перед тем как мой отец стал банкротом и умер, и мы удалились из города; когда я думаю о них, что-то поднимается в моём горле и едва не душит меня.

Теперь, когда мы проплыли через устье, я заметил этот красивый форт на утёсе и не мог удержаться от сопоставления моего настоящего положения с тем, что было когда-то, когда давным-давно мы с моим отцом и дядей ходили туда. Тогда я никогда не думал о работе ради своего существования и никогда не знал, что в мире существуют жестокие сердца, и видел так мало денег, что когда я купил леденец на палочке и выложил шестипенсовик, то подумал, что кондитер даст сдачи пять центов только для того, чтобы у меня были деньги для покупки чего-то ещё, и не потому что пенсы были моей сдачей, а потому что это было справедливо. Насколько же по-другому я думал о деньгах сейчас!

Тогда я был школьником и думал о своевременном поступлении в колледж и имел неопределённое желание стать великим оратором, как Патрик Генри, чьи речи я раньше произносил на выступлении, но теперь я был одинокими бедным мальчиком, находящимся вдали от своего дома и добровольно ставшим несчастным матросом ради средств к существованию. И наиболее горько мне было думать, как хорошо было моим кузенам, которые были счастливы и богаты и жили дома с моими дядями и тётями без мысли

о выходе в море ради куска хлеба. Я попытался думать, что это всё было мечтой, что я нахожусь не там, где я был, не на борту судна, а что я снова дома в городе с моим живым отцом и моей матерью, умной и счастливой, какой она и должна была быть. Но всё было не так. Я был действительно там, где и следовало быть, и здесь было судно, и здесь был форт. Поэтому, бросив последний взгляд на нескольких мальчишек, стоявших на парапете и пристально смотрящих на море, я отвернулся и с ещё большим упорством решил больше не смотреть на землю.

На закате мы уже были далеко «снаружи», и это слово имеет глубокий смысл, поскольку я почувствовал себя выдернутым из мира. Затем начал дуть бриз, и паруса были распущены и подняты, и через некоторое время после ухода парохода я впервые почувствовал, что судно как бы покатилось, довольно странное чувство, как будто оно было большой бочкой в воде. Вскоре после я заметил быструю небольшую шхуну, идущую наперерез нашему кораблю, и пересекающую наш путь снова и снова, и пока я задавался вопросом, что это значит, она внезапно спустила свои паруса, и двое матросов ухватили маленькую шлюпку с её палубы и спустили за борт, как

будто это была щепка. Тогда я заметил, что наш штурман, краснолицый человек в грубом синем пальто, который, к моему удивлению, всё это время отдавал приказы вместо капитана, начал застёгивать своё пальто до подбородка, как благоразумный человек перед ночным отъездом к себе домой из домика, стоящего в уединённом месте, оставил указания старшему помощнику, отдельно поговорил с капитаном и, сунув руку в свой карман, извлёк и передал ему несколько газет.

И через несколько минут, когда мы остановили своё движение и позволили маленькой лодке подойти к нам, он обменялся рукопожатием с капитаном и офицерами и сказал им «до свидания», не произнося слов прощания мне и матросам. Затем он пошёл, смеясь, вдоль борта и сел в шлюпку, и она доставила его к шхуне, а потом шхуна расправила парус и проплыла под нашей кормой, и её матросы встали и замахали своими шляпами, приветствуя нас, и это было последнее, что мы видели в Америке.

Глава VIII
Он зачислен в вахту по левому борту, страдает от морской болезни и рассказывает о некоторых других своих испытаниях

Уже стемнело, когда внезапно матросам приказали явиться на квартердек, и я, конечно, пошёл с ними.

Что-то должно произойти, подумал я, и скоро узнал, что именно. Оказалось, что нас решили развести по вахтам. Старший помощник начал с того, что выбрал крепкого красивого матроса для своей вахты, а затем подошла очередь второго помощника выбирать, и он так же выбрал крепкого красивого матроса. Но им был не я, нет, и я заметил, что пока оба помощника продолжали выбирать одного за другим, регулярно меняясь, они даже ни разу не посмотрели на меня, а продолжали отбор среди остальных, всматриваясь в их лица, а из-за того что были сумерки, рекомендовали им не прятаться в своих жакетах. Но матросы, особенно красивые и крепкие, казалось, сочли для себя обязательным лениво

бродить из стороны в сторону, как только получится, и надвигать свои шляпы на глаза, и хотя это, возможно, было только моим воображением, я, конечно, решил, что они напустили на себя вид барственного безразличия относительно вахт, в которые их собирались зачислить, и не думали, что стоит как-либо беспокоиться по этому вопросу. И те же самые люди, которые за несколько минут до этого показали, по большей части, живость и быстроту в лазании по снастям и выбегании наверх по команде, теперь бездельничали напротив борта и смотрелись весьма ленивыми, как будто они были совершенно уверены, что к этому времени офицеры уже знают, кто лучше, и ценили себя настолько высоко, что желали предоставить офицерам задачу найти их, ведь если они чего-то стоили, то их стоило поискать.

Наконец, были отобраны все, кроме меня, и настала очередь выбирать старшему помощнику, впрочем, выбор в моём случае, поскольку я оказался тринадцатым, был небогат, и пришла пора перейти к следующей колонне, но моя странная фигура вынесла меня вперёд для окончательного решения задачи.

«Ну, Пуговка, — сказал старший помощник, — я думал, что избавился от тебя. Итак, г-н Ригс, — до-

бавил он, обращаясь ко второму помощнику, — я полагаю, что вы должны взять его в свою вахту, — здесь я отдам его вам, и тогда вы станете более сильным, чем я».

«Нет, благодарю вас», — сказал г-н Ригс.

«У вас есть лучшее, — сказал старший помощник — видите, он с виду неплохой парень — он немного зелен, что и говорить, но вы сами были когда-то таким же, вы это знаете, Ригс».

«Нет, благодарю вас, — повторил второй помощник. — Возьмите его сами — он ваш по праву, я не хочу его». И затем они отдали меня помощнику начальника вахты левого борта. Пока происходила эта сцена, я чувствовал себя довольно неприятно, я стоял там просто как глупая овца, по которой заключают сделку два мясника. Ничего более, чем эта сцена, не напомнило мне о том, где я был, и куда я пришёл. Я был очень рад, когда они послали нас снова вперёд.

Пока мы шли, второй помощник окликнул одного из матросов по имени: «Это ты, Билл?» — и Билл ответил «Сэр?» точно так же, как если бы второй помощник был урождённым джентльменом. Меня немало удивило, когда я увидел, что к человеку в таком потёртом, ворсистом старом жакете обращались так почтительно, но я был

так же весьма удивлён, когда я услышал, что старший помощник называл его г-ном Ригсом во время сцены на квартердеке, как будто этот г-н Ригс был великим торговцем, живущим в мраморном доме на площади Лафайета. Но до меня не очень долго доходило, что в море все офицеры — господа, и они приняли бы за оскорбление, если бы какой-нибудь моряк предложил опустить такое их наименование. И это тоже одно из их прав и привилегий, согласно которым их называют сэрами при обращении — да, сэр; нет, сэр; да, да, сэр; и они столь же беспокоятся об этом, как появившиеся на свет рыцарями и баронетами, пусть даже их титулы не наследственные, как это имеет место с сэром Джонсом и сэром Джошуасом в Англии. Но поскольку второй помощник в этом заинтересован, то его несёт поток достоинств, которыми он наслаждается, из-за этого в целом он олицетворяет молодой задор, который свойственен команде. Его никогда не считают компанией для капитана, как иногда старшего помощника, по крайней мере в палубной компании, не смотрящей на кают-компанию; и, помимо этого, второй помощник должен завтракать, обедать, ужинать и вкушать с остатков стола в каюте, и даже стюард, кто не ответствен

ни перед кем, кроме капитана, иногда имеет дело с его высокомерием; и он должен бежать наверх, когда топсели зарифлены, и попадать своей рукой прямо вниз в ведро со смолой, и держать ключ от боцманского шкафчика, и подниматься и нести шары от марлиня и бензельные тросы для матросов, когда те работают с оснасткой, помимо выполнения множества других вещей, на которых в любом случае урождённый баронет закончился бы и отбросил бы свой титул, нежели продолжал стоять на пьедестале.

После разделения на вахты нас послали ужинать, но я не смог съесть ничего, кроме небольшой булочки, хотя мне хотелось испить немного хорошего чая, но поскольку у меня совсем не было чашки, чтобы налить его, то я был скорее озабочен тем, чтобы попросить грубых матросов позволить мне пить из их чашек, и был вынужден обойтись без живительного глотка. Я надумал подойти к темнокожему повару и спросить оловянную чашку, но тут он глянул так дерзко и угрожающе, что его вид почти заставил меня отказаться от этой затеи.

Когда ужин был закончен, из-за того что никто не попросил чаю на борту судна, вахту, к которой я принадлежал, вызвали на палубу и сказали,

что это делается ради нас, чтобы мы выдержали первые ночные часы, то есть от восьми часов до полуночи.

Затем я начал ощущать себя расстроенным и почувствовал боль в животе, как будто там переворачивались все вопросы, и чувствовал себя странно, и голова кружилась, и потому я не сомневался, что это было началом ужасной вещи, морской болезни. Чувствуя себя всё хуже и хуже, я сказал одному из матросов, что происходит со мной и попросил его очень вежливо передать мои оправдания старшему помощнику, поскольку я решил спуститься и пролежать ночь на своей койке. Но он только посмеялся надо мной и сказал что-то о моей матери, не сознавая моих чувств, что привело меня в немалую ярость, поскольку человек, которого я слышал, ругался так ужасно, что не должен был сметь произносить такое святое имя своими устами. Это казалось каким-то богохульством и извлечением самых трогательных и заветных тайн моей души, поскольку в то время имя матери было центром всего моего самого прекрасного сердечного чувства, которое я научился держать в секрете в глубине своей души.

Но внешне я не стал негодовать на слова мат-

роса, поскольку это могло принести мне вред.

Этот человек был гренландцем по происхождению с очень белой кожей в тех местах тела, где солнце её не сожгло, и красивыми голубыми глазами, обособленно и широко расставленными на его голове, широким добродушным лицом и множеством льняных вьющихся волос. Он был не очень высок, но чрезвычайно крепко сложен, несмотря на свою подвижность, и его спина была так же широка, как щит, и между его плечами была широкая ложбина. Он, казалось, был своего рода леди среди матросов, поскольку на своём жаргонном английском всегда говорил о приятных леди, с которыми знался в Стокгольме и Копенгагене и в месте, называемом им Хук, которое сначала я представлял себе местом, где живут люди с ястребиными носами, которые охотятся с охотничьими ружьями на любую добычу, что попадётся. Он был одет весьма со вкусом, так, как будто бы знал, что был красавцем. У него была новая синяя шерстяная тельняшка из Гавра и новый шёлковый платок вокруг шеи, который пронзала позвоночная акулья кость, тщательно вырезанная и отполированная. Его штаны были цвета чистой белой утки, и он носил красивые туфли и брезентовую шляпу, блестящую, как

зеркало, с длинной чёрной лентой, вьющейся позади и время от времени запутывавшейся в снастях, и у него были золотые якоря в ушах и серебряное кольцо на одном из пальцев, очень потёртое и погнутое из-за натягивания верёвок и другой работы на борту судна. Я решил, что ему, возможно, лучше было бы оставлять свои драгоценности дома.

Прошло много времени, прежде чем я мог воспринять, что этот человек был действительно из Гренландии, хотя он тогда для меня выглядел достаточно странно, как прилетевший с Луны, и у него было много историй об этой далёкой стране: как они проводили там зимы, и как стоял сильный мороз, и как он раньше ложился спать и спал двенадцать часов и вставал снова, и бегал, и ложился спать снова, и вставал снова — не имея никакого понятия о времени, ведь постоянно стояла ночь; из-за зимы в его стране, говорил он, ночи длились столько недель, что иногда ребёнку в Гренландии уже исполнялось три месяца, прежде чем можно было сказать, что прошёл день. Я прежде видел упоминания об этом в книгах о путешествиях, но то было только чтением о них, как чтение «Арабских ночей», которым никто никогда не верит, но, так

или иначе, когда я читал об этих замечательных странах, то действительно никогда раньше не верил тому, что я прочитал, а только понимал, что всё это очень странно, весьма странно, чтобы быть правдой, хотя я никогда не думал, что люди, которые написали означенную книгу, говорили неправду. И пусть я не знаю точно, как объяснить то, что я имею в виду, но скажу больше: я никогда не верил в Гренландию, пока не увидел этого гренландца. И вначале, слыша, что он говорит о Гренландии, я становился ещё более недоверчивым. Что за дело было у человека из Гренландии в моей компании? Почему он не был дома среди айсбергов, и как он мог выдержать тёплое летнее солнце и не растаять? Кроме того, у него вместо сосулек были серьги, свисавшие с ушей, и он не носил медвежьи шкуры и не держал свои руки в огромной муфте, предмете, который не мог помочь связать его с Гренландией и всеми гренландцами. Но я говорил о том, что я страдал морской болезнью и желал удалиться на ночлег. Этот гренландец, увидев, что я болен, добровольно предложил обратиться к доктору и выле чить меня, поэтому, спустившись в бак, он вернулся с коричневым кувшином, вроде кувшина для патоки, и небольшой оловянной кружечкой, и,

как только коричневый кувшин оказался возле моего носа, мне уже не нужно было сообщать, что в нём было, из-за того что чувствовался запах винокурни, конечно же, наполненной ямайским спиртом.

«Теперь, Пуговка, — сказал он, — одна небольшая доза этого будет тебе полезней, чем целая сонная ночь, вот, прими это сейчас и затем съешь семь или восемь булочек и будешь чувствовать себя таким же крепким, как грот-мачта».

Но я чувствовал, что этого очень мало, поскольку у меня были некоторые сомнения в отношении выпитого спиртного, и скажу простую правду, поскольку я не стыжусь её: ведь в деревне, где жила моя мать, я был членом общества, называемого Всеобщей юношеской ассоциацией трезвости, в котором мой друг Том Легейр состоял президентом, секретарём и казначеем и держал казну в небольшом кошельке, связанным для него его кузеном. Я верю, что у него было три и шесть пенсов под рукой в последний раз, когда он производил ревизию казны Первого мая и когда у нас была встреча в роще на берегу реки. Том был очень честным казначеем и никогда не тратил деньги общества на арахис и, помимо всего, был прекрасным, щедрым мальчиком,

которого я очень любил. Но сейчас не стоит говорить о Томе.

Когда Гренландец пришёл ко мне со своим медицинским кувшином, я поблагодарил его, как смог, как раз тогда я отвернул свой рот в сторону, чувствуя, что готов умереть, но мне удалось сказать ему, что нахожусь под контролем торжественного обязательства никогда не пить алкоголь безотносительно к обстоятельствам; впрочем, поскольку у меня появилось своего рода предчувствие, что на сей раз алкоголь принесёт мне пользу, я начал чувствовать себя виноватым от того, что когда я подписался соблюдать трезвость, то не позаботился вписать маленький пункт, позволяющий мне выпить алкоголь в случае морской болезни. И я советовал бы людям умеренным проявлять внимание к этому вопросу в будущем, и тогда, если они решат выйти в море, то не будет никакой потребности в нарушении их обещания, что имело место со мной, о чём мне действительно неприятно говорить. И нужно было твёрдо держать обет, прежде чем его нарушить, тем более что «Ямайка» подвергала бы любого неприятному испытанию и действительно сожгла мой рот так, что я не смог смаковать свою еду в течение некоторого последующего времени.

Даже когда я снова стал вполне здоров и силен, то задавался вопросом, откуда у матросов взялось такое лекарство, но у многих из них, помимо Гренландца, были кувшины с ним, которые они взяли с собой в море, чтобы расслабляться, как они это называли. Но это расслабление длилось не очень долго, поскольку «Ямайка» полностью вышла на второй день, и кувшины были выброшены за борт. Интересно, где они теперь?

Но, по правде говоря, я обнаружил, что, несмотря на его острый вкус, алкоголь, выпитый мною, был простой вещью, в которой я нуждался, но я предполагаю, что если бы я получил чашку хорошего горячего кофе, то она дала бы подобный результат и, возможно, намного лучший. Но его не могло быть в тот ночной час и воистину в любое другое время; напитком, называемым кофе, который нам давали каждое утро на завтрак, было весьма любопытное на вкус пойло, которое я когда-либо пил, и на вкус так же мало напоминало кофе, как и лимонад, хотя, что и говорить, он был обычно так же холоден, как лимонад, и я тогда решил, что у повара был ле́д ник, и он клал лёд в этот кофе. Но, что было ещё более любопытным, он каждое утро был разным по качеству и вкусу. Иногда вкус кофе был подозрительным,

подобно отвару от голландских сельдей, и также был очень солёным, как будто в нём была сварена некая старая лошадь или морская говядина, и затем снова появлялся вкус сыра, как будто капитан послал ему для изготовления кофе сырные обрезки, а в другое время имел такой скверный аромат, что я почти решил, будто в нем варились какие-то старые каблуки. Сколько их было сделано под небесами, сколько было разных плохих ароматов, всегда оставалось в тайне — работая по своему призванию, наш старый повар лично держал их под замком в своём камбузе, небольшой кухне, и никогда не выдавал ни одной из своих тайн.

Он и был для всех нас по характеру очень серьёзным, как я расскажу после, и, возможно, по аналогичной причине очень подозрительным с виду поваром, относительно которого трудно было поверить, что он когда-то преуспевал по части кулинарии в Делмонико в Нью-Йорке. Для повара было удачей, что он был темнокожим, поскольку я не сомневаюсь, что цвет его кожи мешал нам увидеть его грязное лицо! Я никогда не видел его моющимся, кроме одного раза, и это происходило в одной из его собственных суповых кастрюль в одну из тёмных ночей, когда он думал, что никто не видит его. Что тогда побудило

его помыть лицо, я так и не узнал, но я предположил, что он, должно быть, внезапно проснулся, после того как увидел во сне реальное состояние своих щёк. Что касается его кофе, то, несмотря на непривлекательность его аромата, меня тогда каждое утро охватывало странное желание узнать, каким окажется новый вкус, и, без сомнения, я никогда не избегал возможности сделать новое открытие и, ощущая очередной вкус своим небом, никогда не находил какого-либо изменения во вредоносности напитка, который всегда казался столь же уважаемым, как и прежде.

Из этого следует вывод, что когда я страдал от морской болезни, чашка того кофе, что варил наш старый повар, не принесла бы мне ничего хорошего, если только не прикончила бы меня. И плохо было то, что его никак не могло быть в тот ночной час, о чём я говорил прежде, и я думаю, что меня можно простить за принятие чего-то ещё вместо кофе, что я и сделал, и при этих обстоятельствах было бы некрасиво для моих товарищей по Обществу трезвости упрекать меня за нарушение моего обещания, которого я никогда не совершил бы, кроме как по необходимости. Но тогда злостное нарушение обещания, как и в любом случае вообще, было засвидетель-

ствовано, поскольку оно коварно открывало путь к его последующему нарушению, которое, пусть и очень небольшое, всё же не оправдывает меня перед ними.

Глава IX
Матросы становятся немного общительнее, и Редберн разговаривает с ними

Последняя часть этих первых долгих часов нашей вахты, которую мы стояли, была очень приятной, насколько это касалось погоды. После довольно облачной погоды появился мягкий лунный свет и выглянули звезды, запросто выстроившись одна за другой, подул прекрасный устойчивый бриз, и стало не очень холодно, и мы пошли по воде, почти столь же гладкой, как санный путь по склону холма. И что ещё было хорошо, так это то, что ветер держался столь устойчиво, что у нас было меньше беготни наверх, меньше натягиваний тросов и меньше каких-либо других неприятных занятий.

Старший помощник продолжал ходить вверх и вниз по квартердеку с горящей сигарой во рту наподобие факела и говорил, но немногословно, с нами целые часы. Он, должно быть, много размышлял о проявлении внимания, что и вправду имело место в случае с большинством моряков

в первую ночь в порту, особенно когда они выбросили свои деньги на пустое расслабление и заключили сделку. Ведь находясь на берегу многие из этих морских офицеров, по сути, бывают так же дики и беззаботны, как и матросы, которыми они командуют. В то время, пока я следил за красным концом сигары, гуляющим вверх и вниз, помощник внезапно остановился и отдал приказ, и матросы подпрыгнули, повинуясь ему. Это не было чем-то очень важным, а только что-то о небольшом подъёме одного из парусов на мачте. Матросы ухватили трос и начали тянуть его, старший матрос при этом затянул песню без слов, только странную музыку из поднимающихся и падающих нот. Тёмной ночью, в одиночестве и далёком море она показалась довольно дикой и заставила меня почувствовать то, что я иногда чувствовал от игры на фортепиано моего кузена, закрывавшего глаза в сумеречной комнате ради некой старинной немецкой атмосферы. Я оглядел почти всё вокруг в поисках гоблинов, и мне стало немного страшно. Но скоро я привык к этому пению, поскольку без него матросы никогда не касались верёвки. Иногда, если никто, как оказывалось, не начинал петь, и натяжение, пусть и независимо от этого,

но оказывалось слабым, помощник капитана всегда говорил: «Ну, мужики, хоть один из вас может петь? Спойте-ка сейчас и поднимите мёртвых». И затем кто-то из них начинал, и, если руки каждого, как мои, становились уверенней от песни и он мог тянуть намного лучше, как и я, под такой аккомпанемент, то я верю, что хорошая песня стоила дыхания, израсходованного на неё. Это важное умение для матроса — хорошо петь, поскольку он получает хороший отзыв от офицеров и большую популярность среди своих товарищей по плаванию. Некоторые морские капитаны, прежде чем взять человека, всегда спрашивают его, может ли он петь, подтягивая трос.

По большей части времени матросы сидели на брашпиле и рассказывали длинные истории о своих морских и земных приключениях и говорили о Гибралтаре и Кантоне, о Вальпараисо и Бомбее точно так же, как вы или я об улицах Пек-Слип или Боуэри. У каждого из них было почти сполна путешествий и плаваний вокруг света. И что наиболее поразило меня, так это то, что, как и книги о путешествиях, они часто противоречили друг другу и впадали в долгие и тяжёлые споры о том, кто держал таверну «Заросший Якорь» в Портсмуте в такое-то время,

жил или нет кантонский царь в Персии, или же какие глаза — чёрные или голубые — были у буфетчицы в особом доме в Гамбурге и многие другие выставленные на обсуждение подобные темы.

Наконец один из них спустился вниз и принёс коробку сигар из своего багажа, ведь некоторые матросы всегда запасаются подобными деликатесами, чтобы смягчить первоначальный шок от солёной воды после лежачего безделья на суше, а также для расслабления, о котором я только что упомянул. Но я задавался вопросом, почему они никогда не брали с собой в море пироги и торты вместо алкоголя и сигар.

Нед, таково было имя этого человека, взломал коробку ударом своего кулака и затем передал её вдоль брашпиля, и все, будто участники вечеринки, обслуживали сами себя. Но я был членом Антитабачного общества, которое было организовано в нашей деревне руководителем воскресной школы вместе с Ассоциацией Трезвости. Поэтому я тогда ничего не курил, хотя делал это позже в путешествии, о чём мне горько говорить. Несмотря на это, я согласился, поддерживая отказ от ненужной клятвы, Нед уверил меня, что сигары были подлинными из Гаваны, поскольку

он, как рассказал, был в Гаване, и их там сделали под его собственным присмотром. Согласно своему характеру он весьма своеобразно относился к своим сигарам и другим вещам и никогда не занимался каким-либо импортом, поскольку это было небезопасно, но всегда самостоятельно совершал путешествия прямо к тому месту, где находилась какая-либо востребованная им иностранная вещь. Он ездил в Гавр за шерстяными рубашками, в Панаму за шляпой, в Китай за шёлковыми носовыми платками и прямо в Калькутту за сигарами; и этот великий шутник нашёл время сказать, что, несомненно, у него не будет повода поехать в Россию, кроме как под угрозой повешения; острота этого высказывания, как предполагали, состояла в том факте, что российская конопля для верёвки самая лучшая, впрочем, это не та острота, которая нуждается в пояснении.

Посредством алкоголя, который, помимо поддержания моих слабеющих сил, соединённого с прохладным воздухом моря, вызывающего у меня аппетит при нашем чёрством хлебе, а также посредством оживлённой ходьбы вверх и вниз по палубе до брашпиля я уже по большей части оправился от своей болезни и нашёл всех

матросов очень приятными и общительными, по крайней мере со своей точки зрения, и усаживался курить вместе с ними, как со старыми закадычными друзьями; и что бы на земле ни происходило, просидев часы, я начал думать, что они были довольно неплохими ребятами, в конце концов, если исключить их ругательства и другие уродливые речевые обороты; и я решил, что неверно понял их истинную суть, поскольку вначале считал их этаким сборищем злых жестоких мошенников и полагал серьёзным несчастьем стать их партнёром.

Да, я теперь начал относиться к ним со своеобразной разгорающейся любовью, но, скорее, глядя с жалостью и состраданием, как на людей изначально нежных и добрых, которые из-за того лишь, что претерпели лишения, пренебрежение и грубое обращение, стали изгоями приличного общества, и не как на злодеев, которые любили зло за его выгоду, а оставили бы злобу, тем более в раю, если бы они когда-либо оказались там. И я вспомнил о проповеди, которую когда-то услышал в матросской церкви, когда проповедник назвал их заблудшими агнцами из-за сложившихся жизненных обстоятельств и сравнил их с бедными потерянными детьми, младенцами

в лесу, сиротами без отцов или матерей.

И я вспомнил, что прочитал в «Матросском журнале» в синей, как море, обложке с судном, нарисованном на его обороте, о набожных моряках, которые никогда не ругались и отдавали всё своё жалование бедным язычникам в Индии, и про то, что когда они стали слишком стары, чтобы выходить на море, эти набожные старые матросы нашли прекрасный приют для жизни в Госпитале, где им нечего было делать, кроме как готовиться к своему концу. И я задался вопросом, были ли такие хорошие матросы среди моих товарищей по плаванию, и заметил, что один из них лежал на палубе обособленно от остальных, и решил, что он, вернее всего, должен быть одним из них: и поэтому я не беспокоился за его преданность, но позже был потрясён, обнаружив его крепко спящим рядом с одним из коричневых кувшинов.

Я забыл упомянуть, между прочим, что время от времени матросы заходили в один из уголков, где старший помощник не видел их, чтобы пропустить, как они называли его, «большой глоток в фалах», и это потягивание в фалах позволяло им красиво «расслабиться», и нет сомнения, что это также имело некоторое отношение к созда-

нию их шутливости и общительности той ночью, поскольку позже они редко бывали так же приятны в общении и никогда не относились ко мне столь же любезно, как тогда. Всё же это, возможно, было следствием того, что тогда я был для них кем-то вроде незнакомца и потому что мы только что вышли из порта. Но той же самой ночью они изменились и преподавали мне горький урок, но всему своё время.

Я сказал, что, увидев, сколь приятны они были и как дружелюбно было их поведение, начал испытывать своеобразное сострадание к ним, основанное на их печальном статусе дружелюбных изгоев, почувствовал весьма горячий интерес к ним, исполнился сочувствия и действительно настроился в их пользу в меру своих слабых сил, поскольку знал, что они действительно были слишком бедны. Поэтому я осмелился спросить одного из них, имеет ли он привычку иногда ходить в церковь, когда бывает на берегу, или заглядывать в плавучую часовню, которую я видел стоящей в доке в Ист-Ривер в Нью-Йорке, и не сочтёт ли он меня слишком бестактным, если я спрошу его, есть ли у него какие-либо хорошие книги в его багаже. Он сначала немного привстал, но, отметив, какой красивый слог я

использовал, и видя моё сочувственное отношение к нему, казалось, на мгновение исполнился определённым невольным уважением ко мне и ответил, что однажды он был в церкви приблизительно десять или двенадцать лет назад в Лондоне и за рабочий день помог переместить плавучую часовню вокруг Батареи от Северной реки, и это был единственный раз, когда он видел её. Про свои книги он сказал, что не знает, что я подразумеваю под хорошими книгами, но если я потребую «Ньюгейтский календарь» или

«Настоящего пирата», то он может мне их предоставить.

Когда я услышал, в какой манере говорил этот бедный матрос, столь явно показывая своё невежество и отсутствие надлежащих представлений о религии, я начал жалеть его всё больше и больше и, сопоставляя моё собственное положение с его положением, обрадовался, что отличался от него; и я подумал, насколько приятно было чувствовать себя мудрее и лучше, чем это мог чувствовать он, хотя я был готов признаться самому себе в том, что это были не целиком мои собственные благие усилия, так как своё образование я получил от других людей, и оно сделало из меня прямодушного и разумного мальчика,

каким я и думал стать в своё время. И вот теперь я начал ощущать высоту самодовольства и удовлетворения своим собственным характером; всё из-за того, что перед этим в очень разных обстоятельствах я преимущественно связывался с людьми там, где было мало возможности оказаться выше в сравнении с моими соседями.

Подумав, что моё моральное превосходство могло бы вселить тревогу в этого матроса, я решил замять этот вопрос, дав ему шанс показать мне его собственное превосходство в незначительных вещах; ведь я был далёк от того, чтобы стать глупым и тщеславным.

Заметив, что в определённые периоды рулевой звонил в небольшой колокол на квартердеке, и, едва услышав звон, кто-то из матросов затем ударял в большой колокол, который находился на баке и, заметив, что сколько раз каким-либо способом человек на корме звонил в свой колокол, столько же раз человек на баке ударял в свой — точь-в-точь, поэтому я спросил матроса из плавучей часовни, зачем предназначен весь этот перезвон, поскольку большой колокол висел прямо на пути, ведущем вниз, где спали вахты; и каждый такой звон в это время немного, но имел тенденцию тревожить их и порождать

неприятные видения; и, интересуясь этим вопросом, я отдельно обратился к нему, вежливо и снисходительно, чтобы весьма явно показать, что не считаю себя самого лучше, чем он, то есть собрав всё вместе и не вдаваясь в подробности. Но, к моему большому удивлению и унижению, он в самой грубой манере рассмеялся мне в лицо и назвал меня Джимми Даком[2] — хотя это не было моим настоящим именем и не должно было стать им, и он знал это, — а также сыном фермера, хотя, как я ранее говорил, мой отец был крупным торговым французским импортёром с Брод-стрит в Нью-Йорке. И затем он начал смеяться и шутить насчёт меня с другими матросами, пока они все не обошли меня, и если бы я не чувствовал себя ужасно сердитым, то должен был, конечно, почувствовать, что оказался в дураках. Но то, что я был так сердит, препятствовало тому, чтобы я почувствовал себя глупым, что весьма неплохо для пристрастных людей.

---

2 Примечания: 2

Дак (от *англ.* duck) — утка. — *Примеч. пер.*

Глава X
Он очень напуган, матросы оскорбляют его, и он чувствует себя всё несчастней и несчастней

Пока продолжалась описанная в последний раз сцена, все мы были удивлены неприятным стоном внизу на баке, и внезапно кто-то в своей рубашке проскочил мимо, что-то сжимая в руке и с такой ужасной дрожью и воплем, что я подумал, будто убили одного из находящихся внизу матросов.

Но через мгновение всё это кончилось, и пока мы стояли с ошеломлённым видом и, прежде чем мы почти осознали, что случилось, вопящий человек выпрыгнул за борт в море, и больше мы его не видели. Тогда начался великий шум, матросы побежали по палубе, и прибежал старший помощник, за которым уже послали, и, узнав, что произошло, начал выкрикивать приказы о парусах и палубах; и все мы побежали натягивать и носить тросы, пока, наконец, судно не остановилось на воде. Затем мы спустили лодку, которая больше часа ходила вокруг судна,

но человека так и не обнаружили. Оказалось, что это был один из матросов, которого принесли на борт мертвецки пьяным и уложили на его собственную койку, где он и лежал до настоящего времени. Он, видимо, был внезапно разбужен, как я предполагаю, разбушевался в безумии белой горячки, как охарактеризовал это старший помощник, и, обнаружив себя в странном тихом месте, не понимая, как он там оказался, помчался по палубе и таким образом в припадке безумства нашёл свой конец.

Это событие, произошедшее в мёртвой ночи, серьёзно изумило и почти ужаснуло меня. Я отдал бы целый мир и солнце, и луну, и все звёзды на небесах, если бы они были моими, за то, чтоб оказаться опять в безопасности у м-ра Джонса, или, что ещё лучше, в моём доме на Гудзоне. Я решил, что это путешествие зловещее и протестовал против безумия, отправившего меня в море вопреки совету моих лучших друзей, среди которых стоит упомянуть мою мать и сестёр.

Увы! Бедный Веллингборо, думал я, ты больше никогда не увидишь свой дом. И в этом печальном настроении я ушёл вниз, когда истекли вахтенные часы, последовавшие за происшествием. Но к своему ужасу я обнаружил, что

самоубийца занял ту самую койку, которую я приспособил для себя, и у меня не было никакого другого места для сна. Мысль расположиться теперь там казалась мне слишком ужасной, и, что было ещё хуже, так это тональность, с которой матросы говорили про то, как я напуган. И они воспользовался этой возможностью, чтобы сказать мне, что я вношу несчастье и зло, и поскольку такие вещи часто происходят в море, то они к этому привыкли. Но я не верил этому, поскольку, когда самоубийца помчался, вопя на бегу, они выглядели столь же напуганными, как и я, и с другой стороны, о том, что они были напуганными, говорил ещё более простой факт: если бы у них было какое-либо присутствие духа, они, возможно, предотвратили бы его падение за борт, так как он чесал прямо на них. Однако они лежали на койках, курили и продолжали некоторое время говорить столь же напряжённо, уведомив меня, чтобы по возвращении домой я прижал свои уши, дабы сразу же не ловить ими ветер, и уматывал в глубь страны и никогда не останавливался в глубине кустарника вдали от медленно бегущего ручья, не глядя даже на самую мелкую и маленькую лужицу с дождевой водой.

От этого разговора на моих глазах выступили слёзы, поскольку всё было весьма отчётливо и реально, и матросы, которые говорили это, казались лживыми и неискренними; но это чувство, несмотря на боль в моём сердце, сделало меня безумным и скоро ужалило мыслью, что они будут говорить обо мне как о бедном дрожащем трусе, который никогда не сможет вынести трудностей матросской жизни; ведь я чувствовал, что дрожал, и довольно хорошо знал, что тогда я был всего лишь трусом и без их упоминаний об этом. И они не говорили, что я был трусом, не потому что они чувствовали его во мне, а потому что они просто предположили, что я заслуживал такой оценки, несомненно, исходя из их собственных тайных мыслей о себе самих, поскольку я верил, что самоубийство ужасно их напугало. И, наконец, из-за отчаяния от их колкости я высказал им всё в лицо, но лучше бы я хранил молчание, поскольку они тогда все объединялись ради того, чтобы оскорбить меня. Они спросили меня, какого черта такой мальчик, как я, должен был пойти в море и отнимать хлеб у честных матросов и занимать место хорошего моряка; и спросили меня, мечтаю ли я когда-нибудь стать капитаном, как джентльмен

с белыми руками; и если я когда-нибудь им стану, они не пожелали бы ничего лучшего, кроме как оказаться на борту моего судна и поднять мятеж. И один из них, по фамилии Джексон, о котором я вскоре расскажу больше, сказал, что я должен избегать его с этих пор, поскольку если я когда-нибудь окажусь у него на пути или пойду с ним одной дорогой, он станет моей смертью, и если я когда-нибудь споткнусь возле него об оснастку, то ему ничего не будет стоить отправить меня за борт, в чём он и поклялся. Сначала всё это почти ошеломило меня, так это было непредвиденно, и тогда я не мог поверить, что они имели в виду именно то, о чем они говорили, или что они могли быть настолько жестокими и злобными. Но всё это помогло мне увидеть, что люди, которые могли так говорить с бедным, одиноким мальчиком в самую первую ночь его морского путешествия, должно быть, способны на почти любой чудовищный поступок. Я не любил, не терпел и ненавидел их вместе со всем, что разрывало моё сердце и душу, и потому решил, что сам я самый отвергнутый и скверный негодяй, который когда-либо жил и дышал. Могу ли я стать мужчиной, думал я, если уже мальчиком стал таким негодяем? И я стенал и плакал, и моё

сердце разрывалось внутри меня, но я всё время сквозь зубы бросал им вызов и дерзил им, чтоб одержать над ними верх.

Наконец они прекратили говорить, развалились на койках и крепко заснули, оставив меня неспящим, сидящим на вещах со склонённым на коленях лицом, зажавшим голову руками. И я сидел там под долгое унылое биение волн о борт судна, пока тишина вокруг не успокоила меня, и я не заснул сидя.

Глава XI
Он помогает драить палубы и затем идёт завтракать

Следующей вещью, которую я познал, как только снова пробили часы, был ужасный грохот на палубе со стороны гандшпуга. Было четыре часа утра, и когда мы вышли на палубу, первые признаки дня уже сияли на востоке. Матросы были очень сонными, молча уселись на брашпиль, и некоторые из них клевали и клевали головами, пока, наконец, не скукожились, как маленькие мальчики в церкви во время сонливой проповеди. Наконец, рассвело, и прозвучал приказ драить палубы. Матросы вытащили большую ванну из шкафута, и затем один из них перешёл к цепи и, устроившись позади группы, привязавшись тросом к кожуху и наклонившись, начал кидать в море ведро на длинной верёвке, и при таком высоком мастерстве и ловкости рук ему удалось заполнить ванну за очень короткое время. Затем вода начала плескаться на всей палубе, и я решил, что, конечно же, намочу ноги и найду себе смерть от холода. Поэтому я подошёл к старшему

помощнику и сказал, что не сделаю и шага вниз, пока эта несчастная помывка не будет закончена, ведь у меня нет непромокаемых ботинок, и из-за этого моя тётя умерла от чахотки. Но он только взревел на меня, приказав взять метлу и идти драить и пригрозив мне в противном случае показать нечто похуже того, что случилось с моей бедной тётей. Поэтому я вычистил пространство от носа до кормы, пока моя спина почти не сломалась, поскольку у мётел были необычно короткие ручки, а нам было велено вычищать тщательно.

Когда мытьё подошло к концу, помощник велел вытянуть по ведру с водой, чтобы помыть каждую вычищаемую вещь окончательно. Он, должно быть, считал это прекрасным развлечением, подобно тому, как капитаны пожарных карет любят указывать на что-то при помощи трубы от шланга; он заставил меня бегать за ним с полным ведром воды, а иногда искать небольшую щепку по всей палубе, и долго смывать её, пока, наконец, не подходил момент запускать воду через шпигат из моря; и если бы он только дал мне разрешение, я, возможно, мигом бы взял его и пропустил за борт, не говоря ни слова и не тратя впустую такого большого количества воды. Но он сказал, что в океане много воды

и с запасом, что было довольно верно, но тогда у меня, обязанного нести позади него ведро, больше не было ног и рук для моего личного пользования.

Я считал это мытьё палубы самым глупым в мире занятием и, помимо того, самым неприятным. Оно было хуже, чем уборка в доме моей матери, которую я и прежде ненавидел.

В восемь часов раздался звон рынды, и мы пошли завтракать. И тут у меня появилось несколько серьёзных проблем. У меня не было друга, способного рассказать о том, что мне будет необходимо в море, и я не предоставлял себе, как нужно справляться с очень многими вещами, окружающими матроса, и с моей стороны никогда не приходило в голову, что у матросов не было стола, чтобы за ним сидеть, никакой скатерти, или салфеток, или стаканов, и я должен был заботиться о каждой вещи самостоятельно. Но именно так оно и было.

Первое, что они делали, состояло в следующем. Каждый матрос входил в камбуз со своей оловянной кружкой и наполнял её кофе, но, конечно, ввиду отсутствия у меня кружки мне никакого кофе положено не было. И после этого своеобразную небольшую лохань, называемую

«малышкой», передавали на бак, заполняя чем-то, что они называли «бурго» (густой овсянкой). Оно походило на месиво, сделанное из маиса, муки и воды. Вместе с «малышкой» в маленькой оловянной кружечке передавалась и патока. Затем Джексон, о котором я говорил прежде, размещал «малышку» между своими коленями и начинал вливать патоку точно так же, как старый лендлорд смешивал бы пунш на вечеринке. Он выкапывал небольшое отверстие в середине месива, чтобы удерживать в нем патоку, и оно казалось всему миру маленьким чёрным водяным полем в Мрачном Болоте в Вирджинии.

Затем все они вставали вокруг «малышки» и один за другим, со строгой очерёдностью опускали свои ложки в месиво и после, размешав их небольшими кругами в бассейне из патоки, наполняли этой едой рот и причмокивали губами, как будто на вкус блюдо было очень хорошим, причём я не сомневаюсь, что так оно и было, но, не имея никакой ложки, я не был в этом уверен.

Я сидел некоторое время, глядя на этот процесс и задаваясь вопросом, почему они были так вежливы друг с другом и почему здесь, несмотря на то что было очень много ложек для одного только блюда, они никогда не путались. Нако-

нец, увидев, что месиво оказывалось всё жиже и жиже, и что уровень его становился всё ниже и ниже, и патоки в лохани становится меньше, я выбежал на палубу и после поисков возвратился с небольшой палочкой, и, думая, что я имею полное право, как любой другой на месиво и патоку, проложил себе путь в круг, намереваясь занять одно из мест. Далее я воткнул мою палку и после её вращения запросто сумел бы донести немного бурго до своего рта, который, будучи открытым, был готов в течение некоторого времени принять её, как один из матросов, осознав, что я делаю, выбил палку из моих рук, и спросил меня, где я приобрёл свои манеры, и разве именно так господа едят в моей стране? Разве они едят свою пищу древесными щепками, и почему столь богатый джентльмен, как мой отец, не смог купить своему благородному сыну ложку?

Все остальные присоединились и объявили меня неотёсанным, грубым и невоспитанным мальчиком, который, если ему разрешить продолжать так себя вести, развратит целую команду и превратит их в свиней, а то и того хуже.

Так как я чувствовал, что палка действительно была вещью, очень неподходящей для трапезы, то не стал об этом много говорить, хотя мне это

сильно досаждало; но, вспомнив, что я видел одного из пассажиров третьего класса с кастрюлей и ложкой в руке, поедавшего свой завтрак на переднем люке, я сейчас же снова выбежал на палубу, и к моей большой радости преуспел в том, чтобы одолжить его ложку, вследствие чего он оставил свою еду, и сбежал вниз, и пришёл снова, пусть и в одиннадцатом часу, и предстал уже фигурой большей, чем соискатель.

Но увы! Даже вдали от меня оставалось уже немного Мрачного Болота, и когда я потянулся к противоположному концу «малышки», то получил лёгкий удар по руке, сжимавшей лож ку, и услыхал, что я должен кушать со своего краю, поскольку есть такое правило. Но моя сторона лохани была совершенно чистая, поэтому до бурго я тем утром так и не добрался.

Но я возместил потерю, съев немного солёной говядины и булочку, которые постоянно сопровождали каждую трапезу; матросы со скрещёнными ногами кружком усаживались на своих вещах и очень дружелюбно ломали твёрдые булочки о головы друг друга, что было действительно очень удобно, но вызвало у меня головную боль, по крайней мере на первые четыре или пять дней, пока я не привык к этому; а затем

я не очень беспокоился об этом, разве что мои волосы оставались полными крошек, и так как я забыл взять с собой частый гребень и щётку, то каждый вечер вычёсывал свои волосы при помощи встречного ветра, дувшего над фальшбортом.

Глава XII
Он выдаёт определённую характеристику одному из своих товарищей по плаванию по фамилии Джексон

Пока мы сидели, поедая нашу говядину и булочки, двое из матросов заспорили о том, чьё плавание было длиннее, тогда Джексон, который смешивал бурго, призвал их громким голосом прекратить их спор, поскольку он решит вопрос за них. Об этом матросе я расскажу кое-что побольше в продолжении своего рассказа, а здесь пока попытаюсь его немного описать.

Вы когда-нибудь видели человека с обритой головой или просто выздоравливающего после жёлтой лихорадки? Ну, вот так и выглядел этот матрос. Он был таким же жёлтым, как гуммигут — жёлтый сок тропических растений, не имея ни волосинки на своей щеке, как у меня на локтях. Его волосы выпали, и он остался почти лысым, кроме затылка и шеи, где только позади ушей уцелели короткие небольшие пучки, похожие на старую щётку для обуви. Его нос был

сломан посередине, и он смотрел искоса одним глазом, да и тот глядел не совсем прямо в отличие от другого глаза. Он одевался совсем как мальчик с плантации: презирая обычную матросскую робу, носил пару больших широких синих штанов, державшихся на подтяжках, и три красные шерстяные рубашки, одну на другой, поскольку страдал от ревматизма и не обладал хорошим здоровьем, как он объяснял, и ещё у него была большая белая шерстяная шляпа с широким закатывающимся краем. Он был уроженцем Нью-Йорка и имел привычку говорить о горцах и буянах, которых он считал годными только для виселицы, но я думаю, что сам он выглядел, как горец.

Его фамилия, как я говорил, была Джексон, и он рассказывал нам, что состоял в родстве с генералом Джексоном из Нового Орлеана и ужасно ругался, если кто-либо рисковал подвергнуть сомнению его утверждения на эту тему. Фактически это был великий хулиган и лучший моряк на борту, и очень властный, отчего все матросы боялись его и не смели ему противоречить, или по какой-либо причине оказываться у него на пути. И самое замечательное состояло в том, что в физическом плане он был слабейшим челове-

ком среди всей команды, и не сомневаюсь, что я, даже такой молодой и маленький, каким я был тогда, по сравнению с тем, каков я теперь, возможно, взял бы над ним верх. Но у него имелось такое особенное свойство вызывать благоговение, такое сочетание низости и наглости, такое неустрашимое лицо и, кроме того, такой смертельно опасный облик, что сам Сатана убежал бы от него. И помимо всего того, что было довольно очевидно, от природы это был удивительно умный, хитрый человек, хоть и без образования, понимающий странности человеческой натуры и хорошо знавший, с кем он имеет дело; и, кроме того, взгляд одного его глаза, смотрящего искоса, был так же силен, как сокрушительный удар, и был самым глубоким, тонким и адски проницательным из тех взглядов, что когда-либо исходил от человека. Я полагаю, что он по праву мог бы принадлежать волку или голодному тигру, во всяком случае, я бы поспорил с любым окулистом, что глаз мог оказаться стеклянным, почти столь же холодным, змеевидным и смертельно опасным. Это было ужасно, и я отдал бы многое, чтобы забыть, что я его когда-то видел, поскольку он и по сей день преследует меня.

Невозможно было сказать, какого возраста был

этот Джексон, поскольку у него не было бороды и никаких морщин, кроме маленьких гусиных лапок возле глаз. Ему вполне могло бы быть тридцать, а возможно, и пятьдесят лет. Но, согласно его собственному счёту, он оказался в море, как только ему исполнилось восемь лет. Тогда он сначала пошёл юнгой на чайный клипер и сбежал оттуда в Калькутте. И так же согласно его собственному мнению, он прошёл через все испытания и заключения в самых ужасных местах мира. Он служил португальским работорговцам на побережье Африки и в дьявольской манере не преминул рассказать о Срединном пути, где рабов укладывали пятками в одном направлении, как брёвна; и задохнувшиеся, и мёртвые были в наручниках, и мёртвых отделяли от живых каждое утро перед мойкой палубы; как он работал, как раб, на шхуне, которая, преследуемая английским крейсером от Кабо-Верде, получила три попадания в свой корпус, отчего погиб целый отряд рабов, скованных цепью.

Он рассказывал о положении в Батавии во время лихорадки, когда его судно теряло по человеку каждые несколько дней, и как они шли с телом по берегу, раскачиваясь, становясь ещё более опьянёнными вследствие действия противо-

чумного препарата. Он рассказывал, как нашёл очковую кобру, или змею с капюшоном, под своей подушкой в Индии, когда спал там на берегу. Он рассказывал о матросах, отравленных в Кантоне наркотическим «шампунем» ради их денег, и малайских бандитах, которые останавливали суда в проливах Каспара, и всегда до последнего берегли капитана, чтобы тот указал, где хранились самые ценные товары.

Все его разговоры касались этих земель, кишевших пиратством, эпидемиями и отравлениями. И часто он пересказывал множество пассажей о своём собственном участии, что было почти невероятно, если учитывать, что немногие люди, возможно, погружались в такие отвратительные пороки и цеплялись за них так долго, не платя за них смертью.

Но, по правде говоря, следы этих событий и отметину ужасного конца он носил на себе почти под рукой, подобно королю Сирии Антиоху, который умер ужасной смертью, как заявляет история, ужаленный осами и шершнями всего мира. Ничего не осталось от этого Джексона, кроме грязных остатков и человеческой мути: он был худым, как тень, лишь кожа и кости, и иногда он жаловался, что ему причиняет боль сидение

на твёрдом ящике. И иногда я представлял себе, что это было осознание его несчастного, разбитого состояния и перспектива скорой смерти, вроде собачьей, за те его грехи, что заставляли этого несчастного негодяя всегда следить за мной с той недоброжелательностью, с какой он это делал. Ведь я был молод и красив — так, по крайней мере, считала моя мать, — и как только я стал немного привыкать к морю, и падение моего духа прекратилось, и щёки мои начали восстанавливать свой прежний цвет, то, злясь от неудачи, я взывал к доброте и сердечности; он же был снедаем неизлечимой болезнью, поглощающей наиболее важные части его тела и делающей его более пригодным для больницы, нежели для судна.

Поскольку я иногда по своей природе не против побаловаться догадкой о мыслях, возникающих у людей, с которыми я встречаюсь, относительно меня самого — особенно если у меня есть причина думать, что я им не нравлюсь, то поэтому я не буду наверняка отрицать, что действительно догадывался, какие именно мысли обо мне имеются у этого Джексона. Но я лишь высказываю своё честное мнение и говорю о том, как эта мысль пришла мне в голову в тот момент, и даже

сейчас я думаю, что был прав. И действительно, если это было не так, то как тогда расценить дрожь, которая пробегала по мне, когда я ловил взгляд этого человека, пристально смотрящего на меня, как часто случалось, ведь он старался быть немым время от времени и сидел со своим застывшим взглядом и оскалом, как человек с безумными капризами.

Я хорошо помню первый раз, когда я увидел его, и как я был поражён его взглядом, уже тогда остановившемся на мне. Он стоял у судового руля, будучи первым человеком, который подоспел к рулю, когда рулевого отозвал штурман, ведь этот Джексон был всегда начеку в поисках лёгких занятий и объяснял причиной стремления к ним своё слабое здоровье, хотя я раньше думал, что для человека со слабым здоровьем он был очень скор на ноги, по крайней мере, когда хорошее место должно было подвернуться; впрочем, возможно, это было только своеобразное судорожное напряжение при сильных стимулах, не чуждое, как известно, самым великим калекам. И пусть матросы были всегда очень недовольны любым проявлением дедовщины, как они называли это, — то есть любой вещи, которая дарила усладу избавиться от совсем тяжёлой работы, — всё же

я наблюдал, что хотя этот Джексон был печально известным старым «дедом» всё путешествие (я имею в виду, что он не выполнял никакой опасной работы, от которой он был далёк, как от виселицы), он и вправду был великим ветераном в этом рейсе и тем человеком, кто, должно быть, прошёл невредимым через многие кампании; всё же они никогда не предполагали называть его так в любом случае и не позволяли ему узнать, что они думают о его поведении. Но я часто слышал, что они весьма жёстко отзывались о нем за глаза и, представая перед ним, тут же ласково спрашивали о его здоровье. Все они стояли в смертном страхе перед ним, и съёживались, и подлизывались к нему, как стая спаниелей, и использовались, для того чтобы потереть его спину, после того как его раздевали и укладывали на койку; и для того чтобы выйти на палубу и в камбуз немного подогреть для него холодный кофе; и для того чтобы набить его трубку и дать ему жевательного табаку; и подлатать его жакеты и штаны; и для того чтобы следить, и склоняться, и нянчить его всю дорогу. И он всё время сидел, хмурясь на них, и находил ошибки в том, что они делали; и я заметил, что те, кто делал больше всего для него, те больше всего

перед ним и съёживались, и им он больше всех причинял обид, в то время как к двоим или троим, больше державшимся в стороне от других, он относился немного иначе. Не мне говорить, что заставляло команду целого судна так подчиняться прихотям одного бедного несчастного человека, каким был Джексон. Я только знаю, что так было, но я не сомневаюсь, что если бы у него в голове был голубой глаз или он имел бы лицо, отличное от того, что у него действительно было, они бы не пребывали в таком страхе от него. И ещё удивило меня, когда я увидел одного моряка, удивительно крепкого и добродушного молодого человека из Белфаста в Ирландии без какого-либо статуса или влияния среди команды, когда на него, наоборот, кричали, и подавляли его, и поддавали ему, и делали посмешищем; и больше всего это зло и унижение исходило от Джексона, который, казалось, ненавиделего всем сердцем из-за его большой силы и личной чистоты и особенно из-за его красных щёк.

Но тогда этот белфастец, хотя он и отправился в качестве матроса, матросом настоящим не был, и это всегда принижает человека в глазах команды судна, я имею в виду, что когда он отправился в качестве матроса, он не был способен выпол-

нять все обязанности. Ведь матросы имеют три класса — матрос, младший матрос и юнга, и они получают разное жалованье согласно их разряду. Обычно в команде судна из двенадцати человек есть только пять или шесть матросов, которые, если они докажут понимание своих ежедневных обязанностей (и это тоже немаловажный вопрос, как я потом, возможно, покажу), присматривают и думают о большинстве младших матросов и юнг, которые почитают свои важные тужурки и придерживают свои слова в своих сердцах.

Но из-за этого вам не стоит думать, что юнгами на борту торговых судов называют всю молодёжь, хотя, будьте уверены, я сам был назван юнгой и юнгой же и был. Нет. В торговых судах под юнгой подразумевают новичка, человека сухопутного, отправившегося в своё первое путешествие. И не берите в голову, вполне ли он стар, чтобы быть дедушкой, когда все продолжают называть его юнгой и на нём лежит мальчишеская работа.

Но я отклоняюсь в сторону от того, что собирался сказать о Джексоне, прекратившем спор между этими двумя матросами на баке после завтрака. После того, как они некоторое время спорили о том, у кого из них было самое длинное

плавание, Джексон велел им замолчать и затем предложил одному из них открыть свой рот, для чего сказал, что может назвать возраст матроса точно так же, как возраст лошади — по её зубам. Поэтому человек рассмеялся и открыл свой рот, и Джексон заставил его подойти к люку, через который лился свет с палубы, и затем велел закинуть ему голову назад, покуда изучал его и немного поковырял своим складным ножом, как бабуин, вглядывающийся в бутылку портера. Я переживал из-за бедняги точно так же, как если бы увидел его в руках сумасшедшего парикмахера, выражающего желание перерезать горло человеку, сидящему в шейных колодках под намыленной для бритья пеной. Ведь я следил за взглядом Джексона и видел, что он хватал, и приближался, и удалялся, и очень быстро, словно раздвоенный змеиный язык, и так или иначе, но я почувствовал, что он будто бы стремился убить человека, но, наконец, стал более сосредоточенным, сказав в заключение своей экспертизы, что первый человек был старейшим матросом из-за вершин его зубов, более высоких и более стёртых, что, в свою очередь, сказал он, явилось результатом поедания большого количества твёрдых галет, и это было причиной,

по которой он смог назвать возраст матроса так же, как и возраст лошади.

При этой сцене все они повеселели и посмотрели друг на друга, как бы говоря: мальчики, давайте смеяться, и они действительно рассмеялись и приняли сказанное за удачную шутку.

Так всегда было с ними. Они считали обязательным для себя вскрикивать каждый раз, когда Джексон говорил что-либо с усмешкой, это показывало ему, что им смешно то же, что и сам он считал забавным, хотя я слышал много хороших шу ток от других людей, не встретивших и улыбки. И однажды сам Джексон рассказал действительно забавную историю (сказать по правде, он иногда шутил, что бывало, когда его спина не болела), но с серьёзным лицом, тогда, не понимая, что он имел в виду, ради ли смеха или ради чего-то другого, все они сидели, не двигаясь, ожидая дальнейших действий, и смотрели довольно озадаченно, пока, наконец, Джексон не заревел на них, как на кучку дураков и идиотов, и не сказал их бородам, в чём было дело: он намеренно принял серьёзный вид, чтобы увидеть, будут ли они выглядеть столь же серьёзно. Ведь даже когда он говорил что-то, то эти слова должны были создавать между людьми трещину. И оттого он

презирал, и глумился над ними, и презрительно над ними всеми посмеивался, и вспыхивал в таком гневе, что его углы его губ начали слипаться вместе с настоящей белой пеной.

Он, казалось, был полон ненависти и злобы против каждой вещи и каждого человека в мире, как будто весь мир состоял из одного человека, нанёсшего ему некий ужасный вред, который терзал и гноил его сердце.

Иногда я думал, что он был действительно сумасшедшим, и часто чувствовал себя настолько напуганным им, что думал пойти к капитану по этому поводу и сообщить ему, что Джексон должен быть заключён под стражу, чтобы он напоследок не совершил некий ужасный поступок. Но после долгих размышлений я всегда отказывался от этого, капитан лишь назвал бы меня дураком и отослал бы меня опять назад.

Но не стоит думать, что все матросы были одинаковы в самоунижении перед этим человеком. Нет: было трое или четверо, кто привык иногда восставать против него, и когда он отсутствовал у руля, устраивали заговор против него среди других матросов и говорили им, что стыд и позор, если такой несчастный отверженный негодяй оказался таким тираном для намного

лучших людей, чем он сам. И они просили и заклинали их, как мужчин, не терпеть его больше, и в следующий раз, когда Джексон станет играть диктатора, всем вместе противостоять ему и указать ему на его место. Два или три раза почти все согласились с этим, за исключением тех, кто раньше избегал таких обсуждений, и поклялись, что они не будут больше подчиняться диктату Джексона. Но когда приходило время проверить исполнение их клятвы, они снова становились бессловесными и позволяли всему идти прежним путём, поэтому те, кто поднимал людей против него, воспринимали весь главный удар гнева Джексона на самих себе. И хотя они в последний раз вроде бы оказались смелее и даже пробормотали что-то о борьбе с Джексоном, всё же, конце концов обнаружив отсутствие поддержки остальных, постепенно становились тихими и оставляли поле тирану, который тогда становился страшней, чем когда-либо, и причинял им больше вреда, и насмехался над ними, как над малодушными трусами с пустыми сердцами. В такие времена не было никаких границ его презрения, и действительно, в течение всего этого времени у него, казалось, было ещё больше этого презрения, чем ненависти к каждому человеку

и каждой вещи.

Что касается меня, то я был всего лишь мальчиком, и в любое время на борту судна мальчиком, сохраняющим спокойствие, делавшим то, что должен, никогда не стремящимся вмешиваться и редко начинающим разговор, если с ним пока не заговаривают. Ведь матросы торгового флота обладают великой идеей собственного достоинства и превосходства над новичками и селянами, которые ничего не знают о судне, и они, кажется, думают, что матрос — великий человек, по крайней мере, намного более важный человек, чем маленький мальчик. И у матросов на «Горце» были столь глубокие понятия в своей морской практике, что я почти решил, что матросы получали дипломы, которые выдают в колледжах, о специальности морского офицера или магистра искусств.

Но хотя я сохранял молчание и мало что говорил, и хорошо понимал, что мой лучший план состоял в том, чтобы мирно ладить с каждым и действительно многое вынести прежде, чем начать борьбу, всё же я не смог избежать ни дурного глаза Джексона, ни спастись от его мучительной вражды. И, поскольку он был моим врагом, ему удалось восстановить многих матросов против

меня, или, по крайней мере, они боялись высказаться в мою защиту перед Джексоном, да так, что я в конце концов оказался на судне своеобразным Измаилом без единого друга или компаньона и начал чувствовать растущую во мне ненависть ко всей команде, да так, что я проклинал её, но ненависть не смогла захватить моё сердце целиком и тем самым сделать из меня такого же злодея, каким был Джексон.

Глава XIII
Прекрасный день в море, которое он начинает любить, но передумывает

На второй день после выхода из порта, после мытья палуб и завтрака пришёл черёд нашей вахты, и помощник капитана загрузил нас работой.

Это был очень светлый день. У неба и воды оказались одинаково глубокие цвета, и в воздухе настолько ощущались тепло и солнце, что мы сбросили наши жакеты. Я едва ли мог предполагать, что плыл в том же самом судне, на котором пробыл всю ночь, когда всё было так одиноко и мрачно; и я мог едва предполагать, что океан оставался тем же самым океаном и настолько же красивым и синим, насколько во время ночных часов он казался чёрным и отталкивающим.

Небольшие следы солнечных облаков оставались повсюду на небе, как и небольшие остатки пены по всей поверхности моря, и судно создавало странный, музыкальный шум под своим носом, поскольку оно всё ещё скользило вперёд на своих парусах. В такое время работать не хоте-

лось. О, если б мы снова могли всего лишь сидеть на брашпиле или если б мне позволили выйти на бушприт, улечься там между фалрепов, смотреть на рыб в воде и думать о доме, то я был бы какое-то время почти счастлив.

Я уже полностью оправился от своей морской болезни и чувствовал себя очень хорошо, испытывая лёгкость в своём теле, хотя состояние моего сердца было далеко от идеального, но теперь я мог оглядеть самого себя и произвести наблюдения.

И действительно, хотя мы были в море, было многое, что нужно было созерцать и задать вопрос самому себе, отправившемуся в своё первое путешествие. Что больше всего поразило меня, так это вид самого большого из океанов, ведь мы были вне видимости земли. Повсюду вокруг нас по обеим сторонам судна, с носу и с кормы, ничего не было видно, кроме воды, воды, воды, ни одного проблеска зелёного берега, ни малейшего островка или какого-либо пятнышка мха. Никогда я не понимал до сих пор, каков был океан: какой он великий и величественный, какой он уединённый и безграничный, и красивый, и синий, в течение дня не подававший признаков шквала или урагана, про которые я слышал

от своего отца; и я не мог вообразить, как ранее окружавшее нас море, казавшееся таким игривым и спокойным, могло столь яростно мчаться и в терзающем стремлении катить пенные валы и огромные каскады волн, которые я увидел в конце пути.

Когда я смотрел на него, бывшего столь мирным и солнечным, то не мог сдержать воспоминаний о лице моего маленького брата, когда он спал младенцем в колыбели. У него был простой счастливый безмятежный невинный вид, и каждая счастливая маленькая волна казалась прыгающим в подобной же беспечности маленьким агнцем на пастбище и, казалось, заглядывала в ваше лицо, когда оказывалась рядом, как будто хотела быть похлопанной и обласканной. Они казались всем живыми существами с живыми сердцами, способными чувствовать; и я едва не горевал, когда мы проплывали по ним, рассекая их нашими широкими бортами на солнечные чешуйки, и проходили над ними подобно огромному слону среди стада ягнят. Но что из всего этого казалось, возможно, наиболее странным для меня, так это, несомненно, волшебное поднятие и опускание моря, я имею в виду не сами волны, а своего рода широкие вертикальные колебания, состоящие

из вздутия и опадания всей поверхности океана. Это было что-то, что я не могу очень хорошо описать, но я очень хорошо знаю, что оно было, и как оно тронуло меня. Когда я смотрел на него, оно вызывало у меня почти головокружение, и все же я не мог не оторвать от него глаз, настолько оно казалось мне мимолётно странным и замечательным.

Я всё время как будто находился в мечте, и когда я оказался запертым на судне, то почти решил, что это некий новый, волшебный мир, и ожидал услышать, как он взывает ко мне из небесной синевы или из глубин синего моря. Но у меня не было в достатке свободного времени для того, чтобы баловаться такими мыслями, ведь матросы уже были собраны, некоторые хлопали парусами, готовясь поднять их наверх, поскольку ветер становился более постоянным и более попутным для нас, и эти оглушающие паруса из лёгкого холста разошлись со временем далеко за борт, где широко нависли над водой, как крылья огромной птицы.

Что касается меня, то я мог мало помочь остальным, не зная названий всех частей или найти надлежащее объяснение. Кроме того, я чувствовал себя очень мечтательным, как говорил

прежде, и точно не знал, где я, и что со мной, ведь каждая вещь была настолько необычной и новой.

Пока хлопающие паруса лежали, все матросы высыпали на палубу и прикрепляли их к буму, готовясь поднять, помощник капитана приказал мне выполнить множество простых заданий, смысла ни одного из которых я не мог постигнуть вследствие наличия странных слов, которые он использовал; и затем, разглядывая меня, стоящего весьма озадаченным и запутавшимся, он заревел и обругал меня всеми словами из своего словаря, а матросы рассмеялись и перемигнулись друг с другом, но не смели идти дальше этого из-за страха перед помощником, кто в своём присутствии не позволил бы никакого смеха надо мной, кроме своего собственного.

Однако я, как только смог, попытался проснуться и удержаться от полноты сновидений своими открытыми глазами и быть, в общем, умным, способным парнем, наконец решившимся изучить то или иное так, чтобы не выглядеть одураченным новичком.

Люди, которые никогда не выходили в море в качестве матросов, не могут вообразить, насколько эта работа озадачивает и пугает. Она,

должно быть, походит на приход в варварскую страну, где говорят на странном диалекте, одеваются в странную одежду и живут в странных домах. Ведь у матросов для всего есть свои собственные названия, даже для вещей, которые знакомы им на берегу, и если вы называете предмет его береговым названием, то вас осмеют как невежду и «сухопутного жителя». Я хочу рассказать, как в тот первый день помощник капитана приказал мне набрать немного воды. Я спросил его, где я можно получить ведро, тогда же я решил, что совершил некое ужасное преступление, поскольку тот пришёл в большое волнение и сказал, что у них в море никогда не было вёдер, а затем я узнал, что их тут всегда называют корзинами. И как только я сказал о том, что нужно забить небольшую деревянную пробку в ведро, чтобы остановить утечку, он налетел снова и сказал, что в море нет никаких пробок, только затычки. И именно так обстояло со всем остальным.

Но помимо всего, выучить столь бесконечное количество абсолютно новых названий новых вещей поначалу показалось мне невозможным. Если вы когда-либо видели судно, то вы, должно быть, заметили, какая там чащоба из верёвок.

И что все они кажутся смешанными и спутанными вместе, как большой моток пряжи. Теперь же у самой малой из этих верёвок есть своё собственное имя, и многие из этих имён очень длинные, как имена молодых наследных принцев, такие как «отдел корпуса выше ватерлинии по правому борту» или «верхняя главная линия парусов по левому борту».

Я думаю, что было бы очень неплохо дать новое обозначение судовым тросам так же, как когда-то, как я читал, были упрощены классы растений в ботанике. Это действительно замечательно, что в мире существует столько названий. Нет счёта названиям, которые хирурги и анатомы дают различным частям человеческого тела, действительно являющегося неким подобием судна; стоячий такелаж — это его кости, сохраняющие форму корпуса, а сухожилия — тонкие подвижные тросы, при помощи которых управляют всеми движениями.

Интересно, могло бы человечество обойтись без всех этих имён, число которых продолжает увеличиваться каждый день, и час, и секунду, пока, наконец, весь воздух не будет наполнен ими и когда даже на Великой равнине люди будут дышать по-другому вследствие обширного

множества слов, которое они используют и которое изведёт весь воздух так же, как ламповые горелки сжигают газ. Но люди, кажется, имеют большую любовь к именам, поскольку знание великого множества имён, кажется, походит на знание очень многих вещей, хотя я не удивлюсь, если в мире существует гораздо больше имён, чем вещей. Но я должен перестать отвлекаться и возвращаюсь к своей истории.

Наконец мы подняли хлопающие паруса повыше, и как только судно ощутило их, как лошадь чувствует сбрую, и из-за бриза, дующего всё сильнее, пошло, накренившись на нос, избавляясь от пены на своих бортах, как от пены, сбиваемой с уздечки. Каждая мачта и каждая доска, казалось, начала пульсировать в нём, радостно забившись вместе со мной, и я почувствовал дикое ликование в моём собственном сердце и понял, что был бы рад вот так же идти далее вокруг света.

Тогда же я начал испытывать замечательное чувство, которое стало ответом на все дикие потрясения от внешнего мира и привело меня к скачке вперёд и вперёд мимо планет на их орбитах, где я потерялся в единой безумной пульсации центра Вселенной. Дикое кипение и взрыв

бушевали в моём сердце, подобно скрытой доселе весне, разлившейся в нём, и моя кровь заструилась по всему моему телу, как горные ручьи в весенних паводках.

Да, я согласен! Дайте мне эту великолепную океанскую жизнь, эту жизнь солёного моря, эту солёную, пенистую жизнь, когда морское ржание и фырканье и ваше дыхание столь же глубоки, как дыхание огромных китов! Позвольте мне катиться вокруг земного шара, позвольте мне качаться на море, позвольте мне мчаться и прожечь свою жизнь с вечным бризом с кормы и бесконечным морем впереди!

Но скоро эти восторги испарились, когда после краткого отдыха нас снова позвали на работу, и у меня появилась мерзкое задание — вычистить курятники и устроить в баркасе стойла для свиней.

Несчастная собачья жизнь — это море! Подчиняться, как раб, и работать как ишак! Вульгарные и звероподобные люди помыкают мной, как будто я негр в Алабаме. Да, да, дуйте на нас сильнее, ветры, и скорей положите конец этому отвратительному путешествию!

Глава XIV
Он собирается нанести светский визит капитану в его каюту

Если что и вспоминается мне как самая большая низость, так это сильно изменившееся отношение капитана ко мне.

Я думал, что он настоящий, весёлый джентльмен, полный радости, и хорошего настроения, и доброты к морякам, и такой, кто не делает различий между мной и грубыми матросами, среди которых я был оставлен. Действительно, я не сомневался, что он неким особым образом возьмёт меня под свою защиту и окажется в отношении меня добрым другом и благодетелем. Я как-то слышал, что некоторые морские капитаны — отцы своей команде, и, следовательно, они существуют; но такие отцы, подобно предписаниям Соломона, как правило, отцы строгие и жестокие, отцы, чувство долга которых превалирует над чувством любви, и они каждый день в какой-то степени играют роль Брута, который приказал отправить подальше своего сына, о чём я прочитал в книге Плутарха, нашей старой фа-

мильной книге.

Да, я думал, что капитан Риг — ибо Риг была его фамилия — будет тактичным и внимательным ко мне и будет стремиться приободрить меня и поддержит меня в моем одиночестве. Я вообще даже не считал возможным, что он не пригласит меня вниз в каюту в одну прекрасную ночь, чтобы задать мне вопросы относительно моих родителей и жизненных перспектив и, кроме того, услышать от меня несколько анекдотов, касающихся моего двоюродного деда, прославленного сенатора, или даст мне мел и карандаш и научит меня сложностям навигации, или, возможно, предложит мне сыграть с ним в шахматы. Я даже решил, что он мог бы пригласить меня на ужин в солнечное воскресенье и помочь мне с питанием, как знающий, насколько поначалу неприятны солёная говядина и солёная свинина и твёрдая булочка с бака такому мальчику, как я, который всегда жил на берегу и в своём доме.

И я не мог сдержать относительно него особых эмоций, почти нежность и любовь, как последнюю видимую связь в цепи ассоциаций, которые связывали меня с моим домом. Ведь в то же самое время в порту я заметил его и г-на Джонса, друга моего брата, стоящих вместе и раз-

говаривающих, а поэтому от капитана до моего брата был всего лишь один промежуточный шаг, и мой брат, и моя мать, и сёстры отстояли от него на один шаг.

И это напомнило мне, как раньше я часто проходил местами по палубе, где, как помнится, стоял г-н Джонс, когда мы в первый раз посетили судно, стоящее у причала, и как я попытался убедить себя, что это действительно так и было, что он стоял там, хотя теперь судно уже находилось далеко в широком Атлантическом океане, а он, возможно, спускался с Уолл-стрит или сидел в своей бухгалтерии, читая газету, в то время как я, бедняга, был занят совсем иным делом.

Так два или три дня прошли без капитана, не позвавшего меня ни разу и не пославшего мне на бак пожелания заскочить в его каюту, чтобы проявить своё уважение. Я начал думать, не я ли должен сделать первый шаг, и, действительно, не ожидает ли он этого от меня, так как я был всего лишь мальчиком, а он мужчиной, и что, возможно, была причина, почему он ещё не поговорил со мной, заключавшаяся в том, что для меня будет более почтительным обратиться к нему первым. Я думал, что он мог бы нарушить это правило, особенно если он был великодуш-

ным человеком с благородными чувствами. Таким образом, однажды вечером, незадолго до заката, во втором часу собачей вахты, когда больше не было работы, которую необходимо было выполнять, я решил увидеть его и обратиться к нему.

После употребления ведра воды и хорошего мытья, необходимого для удаления некоторых следов покраски курятника, я спустился на бак, чтобы одеться так аккуратно, как только смог. Я надел белую рубашку вместо своей красной, натянул пару суконных брюк вместо грубых и надел свои новые туфли, а затем тщательно почистил свою охотничью куртку. Я надел всё это, для того чтобы в целом иметь вполне благородный вид, по крайней мере для бака, хотя в гостиной я бы не смотрелся так же хорошо.

Когда матросы увидели меня в таком обличии, они не знали, что и подумать, и потребовали от меня сказать, оделся ли я для прибытия в порт, я сказал им нет, поскольку тогда мы не видели берега, а что я собираюсь нанести визит вежливости капитану. На что они все рассмеялись и раскричались, как будто я оказался простофилей, хотя нет ничего более простого, чем позвать на вечер приятеля. Тогда некоторые из них по-

пробовали отговорить меня, сказав, что я зелен и неопытен, но Джексон, сидевший и глядевший на происходящее, выкрикнул с отвратительной усмешкой: «Пусть он идёт, пусть он идёт, мужики, он — хороший мальчик. Пусть он идёт, у капитана для него найдётся немного орехов и изюма». И так он продолжал бы в том же духе, если бы его не охватил один из сильных приступов кашля, и он едва не задохнулся.

Когда я покинул бак, то случайно посмотрел на свои руки и обнаружил, что вся их поверхность заляпана темно-жёлтыми пятнами из-за того, что тем утром помощник велел мне просмолить несколько полос холста для оснастки. Я понял, что в таком виде не стоит представать перед джентльменом, поэтому в отсутствие парней я надел пару шерстяных рукавиц, которые связала для меня моя мать, чтобы я носил их в плавании. Пока я надевал их, Джексон спросил меня, не стоит ли ему вызвать карету, а ещё кто-то предложил мне не забыть передать знак его уважение к шкиперу. Я оставил без внимания все их смешки и прошёл на палубу через камбуз, где старый повар окликнул меня, сказав, что я забыл свою трость.

Но я не обращал внимания на их наглость

и пошёл прямо к двери каюты на квартердеке, когда меня встретил старший помощник. Я коснулся своей шляпы и прошёл было мимо, но тот уставился на меня, и раньше, чем я заметил, что глаза его вспыхнули, он внезапно поймал меня за воротник и громовым голосом потребовал сознаться, что это за такие уловки на борту судна, на котором он является помощником капитана. Я попросил его отпустить меня, а иначе пообещал пожаловаться моему другу капитану, которого я намеревался навестить этим вечером. В ответ на эти слова он так резко развернул меня кругом, что я решил, будто в моей голове Гольфстрим, а затем пихнул меня вперёд, проревев неизвестно что. Между тем все матросы встали вокруг брашпиля и, сильно возбуждённые, заглядывали в кормовую часть.

Видя, что я не смогу произвести эффект на мой объект этой ночью, я решил, что лучше всего его пока отсрочить, и, когда я вернулся к матросам, Джексон спросил меня, как я нашёл капитана и не возьму ли я с собой друга и не представлю ли я его в следующий раз.

Результат этого дела состоял в том, что прежде чем заснуть той ночью, я почувствовал себя весьма удовлетворённым, поскольку для матросов

не было обычным делом общаться с капитаном в каюте, и у меня начало появляться подозрение, что я действовал, как дурак, но всё это явилось результатом моего незнания морских правил.

И здесь я также могу заявить, что никогда не видел внутреннюю часть каюты во время всего плавания, вплоть до возвращения нашего судна в Нью-Йорк, хотя раньше я часто заглядывал туда через небольшое оконное стекло, установленное в рубке на палубе, как раз перед рулём, где были подвешены часы для рулевого, чтобы тот ударял каждые полчаса в свой колокол в нактоузе, где находился компас. И для матросов, когда они стояли за штурвалом, было большим развлечением заглядывать через стекло и следить за происходящим в каюте, особенно когда стюард подавал на стол ужин или капитан бездельничал с графином вина за небольшим красным деревянным столиком либо играл в карточную игру, называемую пасьянс, по вечерам, из-за чего время от времени он бывал совсем наедине со своим достоинством; хотя, как будет скоро показано, у него обычно бывал один славный компаньон, в обществе которого ему было приятно.

В день, следующий после моей попытки заглянуть в каюту, я по случайности был занят вязкой

узлов на квартердеке, когда внезапно появился капитан, прогуливаясь вверх и вниз и куря сигару. Он смотрел очень добродушно и любезно, и так как это происходило сразу после обеда, я решил, что это, что и говорить, будет просто тем самым шансом, которого я ждал.

Я ждал некоторое время, думая, что он сам заговорит со мной, но поскольку он этого не сделал, то подошёл к нему и начал разговор, сказав, что сегодня очень приятный день, и надеюсь, что он будет столь же хорош. Я никогда не видел, чтобы человек так рассердился, я решил, что он собирался сбить меня с ног, но после некоторого молчания он внезапно стащил кепку со своей головы и бросил её в мою сторону. Я не знаю, что побудило меня, но я побежал к подветренным шпигатам, где она упала, взял её и подал ему с поклоном, и тут же прибежал помощник и толчком отправил меня туда же, а после, загнав меня далеко за брашпиль, захотел узнать, сумасшедший я или нет, и если это так, то он сразу же закуёт меня в железо да так и оставит.

Но я уверил его, что нахожусь в здравом уме и отлично знаю, что я никак не грублю и никак не принижаю благородства его и капитана Рига. В ответ он горячо поклялся, что если я когда-ни-

будь повторю то, что сделал этим вечером, или когда-нибудь снова позволю себе нечто большее, чем просто снять шляпу перед капитаном, он свяжет меня снастями и будет держать меня там, пока я не выучусь хорошим манерам. «Ты очень зелен, — сказал он, — но ты у меня созреешь». Действительно этот старший помощник, казалось, оберегал достоинство капитана, и он в некотором роде оказался также лично удостоенным того, чтобы защищать это достоинство.

Я решил, что довольно странно делать выговор и впадать в грубость среди всеобщей любезности. Однако увидев, как обстоит дело, я решил зайти к капитану, если он окажется один, в будущем, особенно потому, что он повёл себя столь не соответствующим обычному воспитанному джентльмену образом. И я едва ли мог доверять ему, потому что он был тем же самым человеком, кто был столь общительным, и вежливым, и остроумным, которого когда-то г-н Джонс и я встретили в порту. Но моё удивление возросло, когда спустя несколько дней после этого события нас застиг шторм, и капитан помчался из каюты в своём ночном колпаке и более ни в чём, кроме своей рубашки, и, выскочив на корму, начал подпрыгивать, и проклинать, и клясться, и называть

матросов, стоящих наверху, теми же словами, что называют всех уличных бездельников.

Помимо всего этого, я также заметил, что в то время, пока мы были в море, он носил только старую потёртую одежду, очень отличающуюся от блестящего костюма, в котором я видел его при нашей первой беседе и после, в нескольких шагах от отеля «Сити», где он всегда останавливался, когда бывал в Нью-Йорке. Теперь он носил только старомодные пальто табачного цвета, с высокими воротниками и короткой талией и линялые панталоны с короткими штанинами, очень обтянутыми на коленях, и жилеты, которые не закрывали его пояса, вследствие того что были очень короткими, в точности как у маленького мальчика. И все его шляпы были помятыми и побитыми, как будто их бросали в подвал, и его ботинки были донельзя залатаны. Воистину я начал думать, что он был всего лишь тёртый калач, в конце концов, особенно когда его бакенбарды потеряли свой блеск, и он ходил все дни напролёт небритым, и его волосы, почти чудесные, приобрели цвет перца и соли, который, возможно, он периодически был вынужден слегка закрашивать, пока находился в море. Он упал в моих глазах как своеобразный самозванец,

в то время как на берегу оказался фальшивым джентльменом, поскольку никакой джентльмен не отнёсся бы к другому джентльмену так, как он отнёсся ко мне.

Да, капитан Риг, подумал я, вы не джентльмен, и вы это знаете!

Глава XV
Печальное состояние его гардероба

И теперь, когда я рассказал о старой одежде капитана, можно поведать о состоянии моего платья.

Наше плавание происходило в самом начале июня месяца, и я был весьма обрадован, что оно случилось именно в это время года, поскольку было тепло и океан был приветлив, как я тогда полагал, и моё путешествие походило на летнюю экскурсию к морскому берегу ради пользы солёной воды и перемены обстановки и общества.

Поэтому я не очень заботился по поводу того, что я должен носить, и считал совершенно ненужным обеспечивать себя большим запасом жакетов из толстого сукна и из чего-то ещё, и тельняшками с Гернси, и клеёнчатыми костюмами, и морскими ботинками, и многими другими вещами, в которые старые моряки облекают свои тела. Но главной причиной было то, что у меня не было денег, чтобы купить их, даже если б я и хотел. Таким образом, в дополнение

к одежде, взятой мною из дома, я купил лишь красную рубашку, брезентовую шляпу и пояс с ножом, поскольку раньше я имел такое же отношение к морской экипировке, как и техасские смотрители, чья униформа, как говорят, состоит из рубашки с воротником и пары шпор.

Но прошло не так много дней, с тех пор как я оказался в море, когда обнаружил, что моя береговая одежда, или длиннополое одеяние», как матросы называют её, слишком плохо приспособлена к жизни, которую я теперь вёл. Когда я лез наверх по своей гимнастической нок-рее, мои панталоны всё время разрывались и разделялись во всех направлениях, особенно на седалище, вследствие того что их не переделали по матросской моде на низкий пояс и возможность носить их без подтяжек. Поэтому я часто оказывался в неприятных, затруднительных ситуациях, качаясь среди оснастки, иногда попадая в поле зрения кают с моим столовым бельём, выставляемым в большинстве случаев неэлегантно и не по-джентльменски.

И хуже всего было то, что это была моя лучшая пара панталон, и эта была пара, которой я больше всего гордился, очень заметная и замечательная пара.

Мне сделали её, заказав нашему деревенскому портному, маленькому толстому человечку с очень тонкими ногами, кто раньше рассказывал о том, что он выписывал последние модные журналы прямо из Парижа, хотя все картинки с модами в его магазине были очень грязны и засижены мухами.

Ну вот, этот портной делал панталоны, о которых я говорил, и пока они находились у него в руках, я вызывал и видел его по два или три раза в день, чтобы следить за этой работой и поторапливать его, поскольку он был стариком в больших круглых очках и видел не очень хорошо и совсем не имел помощника, кроме больной жены с пятью внуками, заботящейся о нем; и, помимо этого, он был таким страстным любителем нюхательного табака, что это мешало его ремеслу, ведь он брал по нескольку понюшек на каждый стежок и сидел, нюхая и сморкаясь над моими панталонами, пока я не почувствовал отвращение к нему. Тогда этот старый портной показал мне образец, который он взял за основу для изготовления моих панталон, но я улучшил его и предложил ему устроить разрез ниже каждого колена, по голени, чтобы застёгивать на шесть рядов медных звенящих пуговок — и это

всё из-за моего взрослого кузена, который был великим охотником, носившим красивую пару панталон, сделанных точно таким же образом.

И они были той самой парой, что теперь была у меня в море, и матросы ради забавы договорились между собой все время обращаться друг к другу со словом «дружок» и просили меня предоставить им пуговицу-другую ради забавы и затем спрашивали меня, не был ли я солдатом. Это весьма явно показывало, что они понятия не имели, что мои панталоны были очень изысканными, сделанными по высокой охотничьей моде и скопированными с панталон моего кузена, который был молодым состоятельным человеком и владел экипажем. Когда мои панталоны разорвались и порвались, как уже было сказано, я приложил все усилия для их починки и исправления, но поскольку я не был великим швецом, то чем больше залатывал их, тем больше они расходились, ведь я надевал свои кусочки, не учитывая интересы ножных суставов, которые лишь ещё больше раздражали мои бедные штаны и выводили их из себя.

И при этом я не должен забывать про свои ботинки, которые были почти новыми, когда я уехал из дома. Это были мои воскресные ботинки,

и они прекрасно мне подходили. У меня никогда не было пары ботинок, которую я любил бы больше; когда я шёл в них в ночное время, то снимал их с ног, если в тот момент никто меня не видел, и мне не хотелось думать о чём-либо ещё, я продолжал смотреть на них даже во время церковной службы и потому пропускал большую часть проповеди. Одним словом, это была красивая пара ботинок. Но всё это, как скоро я обнаружил, ещё больше делало их непригодными для морской службы. У них были очень высокие каблуки, которые всё время опрокидывали меня в оснастке и несколько раз угрожали столкнуть меня за борт, и солёная вода заставила их сжаться так, что они ужасно сжимали мою стопу при подъёме, и я был обязан нанести им безжалостную рану, которая вошла в само моё сердце. Голенища простирались довольно далеко к моим коленям и по краям были увенчаны красным сафьяном. Матросы дали им название «ботинки гафельного топселя». И иногда они называли меня Ботинком, а иногда Пуговкой — из-за украшений на моих панталонах и из-за охотничьей куртки.

Наконец я послушал их совет и усёк их, как они выражались. Таким образом, я подрезал

носки и срезал каблуки до голой подошвы, что, однако, не намного улучшило их, поскольку мои ноги стали так же чувствительны к плоскости, как камбала, и, кроме того, опрокидывали меня в пространство, заставляя смещаться и скользить по палубе, как я привык делать дома, где надевал на ноги ремни, идя по льду.

Что касается моей брезентовой шляпы, то она была очень дешёвой и поэтому стала примером реального мошенничества и обмана: она протекала, как старая галечная крыша, и под штормовым дождём оставляла мои волосы влажными и неприятными. Кроме того, поскольку в ней во время ночных вахт приходилось укладываться на палубу, она стала мятой и разбитой, и вся её красота потерялась, поэтому с ней происходили постоянные неприятности.

Но я почти забыл про свою охотничью куртку, которая была сделана из молескина. Каждый день она становилась всё тоньше и тоньше, особенно после дождя, пока, наконец, я не понял, что она полностью издохнет, и останутся только голые швы в виде скелета на моей спине. Стало невыразимо неприятно, когда наступила довольно холодная погода при пересечении Ньюфаундлендской банки, и в ночное время

единственным способом согреться стало надеть мой жилет и мою короткую куртку и затем целиком завернуться в охотничью куртку. Для этого требовалось зажимать её под руками, а потому это досаждало, раздражало и мучило меня всю дорогу и притом настолько серьёзно стесняло мои руки, что когда я однажды тянул верёвки, помощник капитана спросил меня, не случилась ли у меня судорога.

Здесь можно также взглянуть на некоторые аналогичные испытания и несчастья. У меня не было матраса или постельного белья, то есть вообще никакого, мысль о нём прежде никогда не приходила мне на ум, пока я не вышел в море, а поэтому я был вынужден спать на неприбитых досках моей койки; и когда судно яростно трепало и ему почти наступал конец, я, должно быть, походил на индейского ребёнка, привязанного к доске и подвешенного на дереве, как при распятии.

Я уже упомянул о моем тотальном интересе к столовым приборам, я никогда не подозревал, что в этом отношении выход в море в качестве матроса станет чем-то сродни приходу в школу-интернат, где вам необходимо принести свои собственные ложку и нож, вилку и салфетку.

Но затем я был счастлив, что сторговал за мой шёлковый носовой платок у пассажира третьего класса железный горшок ёмкостью в полгаллона с крюками к нему, чтобы подвешивать его на решётке, и этот горшок я подставлял на кухне для положенного мне кофе и чая. Это тем не менее создало мне большую проблему содержания его в чистоте, поскольку он оказался очень предрасположен к ржавчине, и крюки иногда царапали моё лицо, когда я пил, а это происходило необычайно часто и было тяжко, поэтому мои завтраки были лишены всякой непринуждённости и удовольствия и стали для меня тяжёлым трудом и заботой. И я был вынужден использовать тот же самый горшок для моего фасолевого супа три раза в неделю, и он придавал плохой аромат моему кофе.

Я не могу сказать, как я действительно пострадал во многих отношениях из-за своей непредусмотрительности и беспечности при выходе в море при плохом обеспечении какой-либо вещью, предусмотренной для того, чтобы сделать моё положение в целом комфортным или хотя бы терпимым. Со временем мои несчастные «длинные полосы» начали отрываться от моей спины, и я смотрелся как прыгун Сэм Петч, волочащий

ноги вдоль палубы в своих тряпках и руинах из моих ботинок к гафельному топселю. Я часто думал, что сказали бы дома мои друзья, если бы бросили на меня хоть один взгляд. Но несчастная охотничья куртка обнимала меня, когда я считал, что такая деградация и позор никогда не постигнут меня, да, я всё-таки думал об этом раздражающем осмеянии, когда вспоминал, что мои сёстры обещали отвечать на вопросы друзей, что Веллингборо пошёл «за границу», как если бы я поехал в Европу в туре с моим наставником, о чем бедный простак г-н Джонс намекал капитану.

Однако, несмотря на меланхолию, которая иногда настигала меня, было несколько небольших инцидентов, которые заставили меня забыть о себе при встрече со странными и весьма удивительными для меня морскими достопримечательностями.

И, возможно, ничто так не поразило меня подобно ощущению дикой песни, как появление первого судна, о котором мы расскажем. Стоял ясный солнечный день, и оно прошло мимо нас, сияя великолепием, широко расправив все свои паруса. Оно проплыло совсем рядом и прошло за нашей кормой, и когда оно наклонилось из-за

бриза, то показало свои палубы от носа до кормы, и я увидел чужих матросов, собравшихся на баке, и повара с камбуза с ковшом в руке, и капитана в зелёном жакете, сидящего с рупором на гакаборте.

И вот это судно вышло из бесконечного синего океана, со всеми своими людьми на борту и дымом из поварской трубы, спокойно поднимающимся в морском воздухе, как будто это был городской дымоход, и каждая вещь выглядела холодной и спокойной, и конечно, для таких, как я, по крайней мере, казалась восхитительным чудом.

На его бизань-мачте был поднят красный флаг с белыми замковыми башнями посередине, выглядящий довольно инородно, и заставивший меня всмотреться во всё посерьёзней.

Наш капитан, который надел другую шляпу и пальто и бездельничал в элегантной позе на корме, в этот момент приблизил свою длинную медную полированную трубу к своему рту и спросил казавшимся очень грубым для разговора голосом:

«Откуда вы?»

На что другой капитан ответил на некоем диковинном тарабарском нидерландском языке,

из которого мы смогли только разобрать, что судно принадлежало Гамбургу, что и обозначалось его флагом.

Гамбург!

Благослови мою душу! И я нахожусь здесь в великом Атлантическом океане, воочию созерцая судно из Голландии! Это удивительно. В перерывах между выполнением своих обязанностей я следил за странным судном, пока на расстоянии оно ещё казалось довольно маленьким пятнышком.

Я не мог не поразиться манерой этих двух морских капитанов во время их краткой беседы. Усевшись в своих непринуждённых позах на кормах своих судов, как раз и стоящих корма к корме, в то время как матросы повиновались их воле, капитаны коснулись своих шляп, обменялись поздравлениями и продолжили путь со всей флегматичностью двух арабских всадников, приветствующих каждого встречного на продуваемой пустыне. Для них, я полагаю, великий Атлантический океан был лужей.

Глава XVI
Поздно ночью его посылают наверх распутать главный трюмсель

А теперь я должен немного отбежать и рассказать о своём первом подъёме в середине вахты, когда море было довольно спокойно, а бриз умеренным.

Был дан приказ распутать основной трюмсель, который был пятым и самым высоким парусом, считая от уровня палубы. Это был очень маленький парус и, глядя с бака, казался по размеру не больше батистового носового платка. Но я слышал, что некоторые суда несут ещё меньшие паруса на борту выше трюмселя, их называют «лунные паруса», или «небоскрёбы», или «облачные грабли». Но я не поверю в них, пока не увижу; трюмсель кажется достаточно высоким, выше какого-либо сознания, а смысл любой вещи всегда выше того, что кажется нелепым. Кроме того, они почти похожи на заманчивые небеса, предназначенные для чистки самого небесного свода, и почти открывают глазницы

звёзд, а при недостатке ветра также могут очень скоро подавить самомнение бросающих вызов облакам облачных грабель.

Когда был отдан приказ распутать трюмсель, старый матрос-голландец подошёл ко мне и сказал: «Пуговка, мой мальчик, вот сейчас пришла пора тебе что-то сделать, и это дело для юнги, Пуговка, поскольку распутывать „королевское семейство“ не дело таких стариков, как я. Сейчас, ты видеть, что на подветренная сторона путь иметь? Иметь, только позади этот звёзд иметь: хорошо, лезь теперь, Пуговка, я сказать, и освободи его, вот тут лезть, Пуговка».

Все остальные присутствующие, казалось, были единодушны во мнении, что это занятие как раз для меня, и это дело юнги, как они назвали его, и я не стал вносить большей сумятицы, а взобрался на оснастку. И я пошёл, не помышляя и смотреть вниз, но не спуская своих глаз, на самом деле прилипших, как только я поднялся, к парусам.

По той лестнице дорога была дальняя, и я начал задыхаться и тяжело дышать, прежде чем достиг середины пути. Но я держался, пока не добрался до лестницы Якоба, — и это её верное название, поскольку она подняла меня почти до облаков, — и, наконец, к моему собственному изумлению,

я сам нашёл трюмсельную площадку и уже держался на ней, стоявшей на мощной и главной мачте, и обвивал своими ногами оснастку, как будто они были второй парой рук.

В течение нескольких мгновений я стоял, поражённый страхом и немотой. Я не смог высмотреть даль за океаном вследствие ночной темноты, и с моей высокой жерди море казалось похожим на большую чёрную бездну, повсюду окружённую нависшими чёрными утёсами. Я казался совершенно одиноким, пробираясь полуночными облаками и каждую секунду ожидая падения-падения-падения, которое случается в кошмарном сне.

Я смог не просто не чувствовать под собой судно, подобное длинной узкой доске в воде, ему, казалось, вообще не принадлежала та площадка, па которой я стоял. Чайка или какая-то другая морская птица с криком кружилась над моей головой в пределах нескольких ярдов от моего лица, и когда я услышал её, то почти испугался, потому что её крик на такой огромной и уединённой высоте походил на голос духа.

Хотя море было довольно ровное и ветер был несильный, всё же на этом чрезвычайном возвышении движение судна казалось очень быст-

рым, поэтому, когда судно шло одним галсом, я чувствовал что-то подобное тому, что должна чувствовать муха, идущая по потолку, а когда шло другим, то чувствовал, будто висел вдоль наклонённого соснового ствола.

Но тогда я услышал отдалённый, хриплый шум снизу и, хотя не мог разобрать слов, уже знал, что это был помощник капитана, подгонявший меня. Поэтому в нервном, дрожащем отчаянии я пошёл распутывать прокладки и лини, связывающие парус и, когда всё было готово, крикнул, как мне велели, «поднять выше!». И они начали подъём, в том числе и меня самого вместе с площадкой и парусом, и поскольку у меня не было времени сойти, они оказались весь неожиданно быстры в этом деле. Это походило на волшебство: я был там, поднимаясь всё выше и выше, площадка поднималась подо мной, как будто она была живая, и не было ни единой души в поле зрения. Я не знал в тот момент, что находился в большой опасности, но было столь темно, что я недостаточно хорошо всё видел, чтобы почувствовать страх — по крайней мере из-за этого, хотя и чувствовал себя напуганным по разным другим причинам. Мне только было тяжело держаться, подтверждая высказывание старых матросов,

что последний человек, который упадёт за борт с оснастки, — человек сухопутный, поскольку он отчаянно хватается за верёвки, тогда как старые и просмолённые менее осторожны и потому иногда расплачиваются за свою беспечность.

После этого подвига я быстро спустился на палубу и услышал что-то вроде комплимента от голландца Макса.

Этот человек был, возможно, наиболее душевным человеком среди команды, во всяком случае, он относился ко мне лучше, чем остальные, и по этой причине он заслуживает отдельного упоминания.

Макс был старым матросом-холостяком, весьма заботящимся о своём гардеробе, гордящимся своей огромной морской практикой и поддерживающим строгие, старомодные понятия об обязанностях юнг в море. Его волосы, бакенбарды и щёки были пламенного красного цвета, и поскольку он носил красную рубашку, то представлял собой самого огненного человека, которого я когда-либо видел.

И при этом его внешность не противоречила ему, поскольку по характеру он был весьма вспыльчивым и чуть что — взрывался в душе от тяжких слов и проклятий. Таков был Макс,

который несколько раз начинал устраивать заговоры против Джексона, про которого я говорил прежде, но прекращал их, платя ему уважительным ворчанием, полным накопленных обид.

Макс иногда проявлял некий небольшой интерес к моему благосостоянию и часто рассуждал относительно моего жалкого вида, чем не мог не уязвить меня за мои лохмотья, когда мы добрались до Ливерпуля, и развенчать меня, как служителя американской коммерции: ведь как все европейские моряки в американских судах, Макс немало гордился собой после своей натурализации как янки, и если бы мог, то был бы очень рад выдать себя за местного уроженца.

Но, несмотря на его сожаление о перспективе моей дискредитации в принявшей его стране, он никогда не предлагал что-то хорошее для моего гардероба путём одолжения мне какой-либо вещи из его собственной тщательно оберегаемой поклажи. Как и многие другие доброжелатели, он ограничивался своим сочувствием. Макс также проявил некоторое беспокойство, дабы узнать, умею ли я танцевать, выразив надежду, что когда судовая компания сойдёт на берег, я не смогу опозорить её, выставив своё неумение в некоторых матросских салунах. Но я развеял

его беспокойство по этому поводу.

Он был великим ругателем и критиканом и часто устраивал мне нагоняй за мои оплошности, но тут он был не одинок, поскольку каждый присутствующий приложил палец или большой палец, а иногда и обе руки к моей несчастной доле.

Глава XVII
Повар и стюард

В это воскресенье мы обошли Ньюфаундлендскую банку, это было мокрое, туманное, липкое воскресенье. Воду едва можно было увидеть из-за тумана и пара над ней, и всё выглядело настолько ровным и спокойным, что я почти решил, что мы, должно быть, каким-то образом воротились в Нью-Йорк и в дождливых сумерках снова встали у начала Уолл-стрит. Палубы стали настолько влажными, что в густом тумане казалось, будто мы стоим под душем на крыше дома.

Это было самое неудачное воскресенье, и у некоторых из матросов появились приступы ревматических болей, отчего они надели свои короткие куртки. Что касается Джексона, то он все время потирал спину и брюзжал как собака.

Я попытался вспомнить все свои приятные, солнечные воскресенья на берегу и попробовал вообразить, что сейчас делается дома, заглянул ли по привычке между службами наш старый друг семьи г-н Бриденстоук со своей изысканной тростью в серебряной оправе, и спросил ли он

обо мне.

Но это было невозможно. Я мог едва понять, был ли этот день вообще воскресеньем. Каждая вещь, в основном, выглядела как и прежде. Не было ни церкви, в которую можно было пойти, ни места для прогулки, ни друга, которого можно было позвать. Я начал думал, что это, должно быть, своего рода вторая суббота, туманная суббота, когда школьники остаются дома читать про Робинзона Крузо.

Единственный человек, который, казалось, демонстрировал свою непринуждённость в этот день, был наш чёрный кок, к которому, согласно неизменному морскому обычаю, все обращались со словом «доктор».

И в качестве целителей повара́, конечно же, самые лучшие

врачи в мире, ведь вряд ли ядовитые таблетки и микстуры могут хоть наполовину быть так же пригодны для человека, как дающие здоровье и силы жареный ягнёнок и зелёный горох, скажем, весной, а ростбиф и клюквенный соус зимой? Разве доза хлористой ртути в этом качестве принесёт вам столько же пользы? Поднимет ли шарик на ноги упавшего в обморок человека? Есть ли какое-либо удовлетворение от обеда

из порошка? Но эти лекари от сковородок иногда вовлекают людей в ленивое сидение из-за их неумеренности или дарят им как минимум головную боль. Ну, что скажете? Нечего сказать. Но разве они время от времени с их самыми приятными и мною в десять раз более чтимыми лекарствами не заполняют наши ночи несчастьями и не сокращают наши дни, совершая убийство человеческого сообщества, используя свои способности? И когда вы умираете от докторской таблетки, то во рту у вас нет сладости, в отличие от смерти от действий магистра от сковородок, и ваш последний вдох злодейски наполнен вкусом ипекакуаны и ревеня. И потом, какие способности они возлагают на свои отвратительные ланчи, которые они так скупо раздают! Один из счетов за их шарики имеет цену всех ваших хороших ужинов за двенадцать месяцев.

В ту пору наш доктор был серьёзным стариком, очень преданным метафизике и способным говорить о первородном грехе. Всё воскресное утро он сидел за варочными котлами, вчитываясь в книгу, весьма запачканную и покрытую пятнами жира, поскольку он держал её, ухватившись за небольшой кожаный ремень, прибитый к бочонку, где он хранил жир, снятый с воды,

в которой готовили солонину. Я едва смог поверить своим глазам, когда опознал в этой книге Библию.

Я любил глядеть на него, когда он был поглощён этим занятием; из-за своей задымлённости его студия или кабинет выглядела довольно странно: не более чем пять квадратных футов площадью, весьма высокая, простая коробка с печью, труба которой торчала из крыши.

Внутри она была обвешана горшками и кастрюлями, и на одной стороне имелось маленькое зеркало, где он раньше брился, а на маленькой полке лежали его бритвенные приборы, расчёска и щётка. Напротив печи и очень близко к ней имелась своеобразная узкая полка, которую он использовал для сидения, очень широко расставив ноги, дабы не опалить их; и там, со своей книгой в одной руке и оловянной ложкой в другой сидел он всё воскресное утро, доставая свои горшки и одновременно штудируя книгу, редко отрывая глаза от страницы. Чтение, должно быть, было очень тяжёлым трудом для него, поскольку он довольно громко бормотал про себя, когда читал, и большие капли пота стояли на его лбу и скатывались прочь, пока не оказывались шипящими на горячей печи перед ним. Но в день,

о котором я говорю, было неудивительно, что он озадачен, поскольку он читал таинственный отрывок из Книги Времён. Понимая, что я знаю, как его читать, он позвал меня, когда я проходил мимо его помещения, с тем чтобы я прочитал отрывок и объяснил его. Я сказал ему, что это тайна, которую никто не мог объяснить, даже пастор. Но это его не удовлетворило, и я оставил его продолжающим размышлять об этом.

Он, должно быть, был членом одной из тех негритянских церквей, что находятся в Нью-Йорке. Поскольку, когда мы стояли у причала, я вспомнил эту делегацию из трёх по виду преподобных старых негров, которые помимо своего естественного церковного облачения носили по-квакерски укороченные чёрные пальто, широкополые чёрные шляпы и белые шейные платки; эти цветные господа позвали его и оставались больше часа, разговаривая с ним на пороге его кухни, и, прежде чем уйти, ступили внутрь, плавно закрыв двери, а затем мы услышали какое-то чтение и проповедь, а после — псалом, и раздалось благословение; затем дверь открылась снова, и конгрегация вышла в великом поту, вследствие чего я полагаю, что камбуз был часовней и настолько маленькой, что там было всего

одно место помимо печи.

Но, несмотря на его религиозность и задумчивость, этот старик иногда использовал некие скверные слова, особенно холодным, влажным бурным утром, когда он должен был встать перед рассветом и разжечь огонь при перекатывающемся через борт море, время от времени мчавшемся к его печи. Поэтому, при этих обстоятельствах вы не смогли бы его обвинить в чём-то очень серьёзном, и если он действительно хоть как-то отрывался от дел, проверяя на прочность характер старого Иова, то только ради работы по разведению огня посреди воды.

Не будучи вообще опрятным в своём помещении, этот старый повар очень заботился о другом: у него были горячая любовь и привязанность к своей кухне. В ясную погоду он распластывал подол старого жакета перед дверью в качестве циновки и ввёртывал маленький кольцевой болт в дверь для дверного молоточка, написав на двери своё имя «г-н Томпсон», используя для этого немного красной охры.

Матросы говорили, что он жил за углом баковой площадки, напротив полюса Свободы, потому что его кухня находилась как раз позади фок-мачты и занимала собой почти четверть

этой площадки.

Матросы используют всё своё воображение для обозначения событий в плавании на борту судна. Когда человека вешают в море, что всегда делается на одной из нижних нок-рей, они говорят, что он «прогулялся Лестничным переулком и сошёл вниз с Рулевой улицы».

Г-н Томпсон был большим близким другом стюарда, солидного, щегольской внешности мулата, который когда-то был парикмахером на Западном Бродвее и носил имя Лэвендер. Я упоминал великолепный тюрбан, который он носил, когда г-н Джонс и я навестили капитана в каюте. Впрочем, он никогда не надевал этот тюрбан в море, а носил необычную копну завитых волос, точно такую же, как большая, круглая щётка, используемая для мытья окон, называемых окнами Папы Римского.

У него имелись хорошие парфюмы на кёльнской воде, которой у него было весьма много, поскольку она осталась от его торговли в Западной Бродвейской компании. Все его одежды, будучи, главным образом, поношенными костюмами капитана лондонского лайнера, с которым он побывал во множестве предыдущих путешествий, были высоким криком моды и любого

цвета и покроя. У него были костюмы бордового цвета, и костюмы табачного цвета, и красные бархатные жилеты, и палевые, и панталоны цвета самородной серы, и несколько полных комплектов чёрных костюмов, которые при его тёмным лице делали его похожим на лицо духовное, вроде серьёзного молодого цветного джентльмена с Барбадоса, получившего приход.

Он носил необычное большое толстое кольцо на указательном пальце с чем-то, что он называл настоящим алмазом, хотя камень был очень тусклым и выглядел скорее как стеклянный глаз, а не как-то иначе. Он очень гордился своим кольцом, и всегда вызывал к нему чьё-либо внимание, указывая на украшенный им палец.

Он был сентиментальным чернокожим и читал «Трёх испанцев» и «Шарлотту Темпл», и носил локон завитых волос в кармане своего жилета, который он часто добровольно предъявлял людям, поднося к своим глазам носовой платок. Каждый прекрасный вечер, на закате, эти двое, повар и стюард, использовали для того, чтобы усесться на небольшой полке в камбузе, прислонившись друг к другу, как сиамские близнецы, чтобы удержаться от падения с маленькой полки; и там они оставались до окончания темноты,

куря свои трубки и сплетничая о событиях, произошедших в течение дня в кают-компании. И иногда г-н Томпсон снимал свою Библию и прочитывал главу, как наставление Лэвендеру, которого он знал, к прискорбию, как расточителя и весёлого обманщика на берегу, увлекающегося каждым юным неблагоразумием. Он читал ему историю жены Потифэра и ставил ему в пример Иосифа как молодого человека прекрасных принципов, которому он должен подражать и больше не оказываться виновным из-за своей неосмотрительности. И Лэвендер смотрел серьёзно и говорил, что он знает, что всё это так: он был злым молодым человеком и знал об этом — он разбил очень много сердец, и множество глаз из-за него истекли слезами в Нью-Йорке и Ливерпуле, в Лондоне и Гавре. Но что помогало ему? У него не было красивого лица, и прекрасной копны волос, и изящной фигуры. Виноват был не он, а другие, поскольку его очаровывающая личность поворачивала все головы и подчиняла все сердца везде, куда бы он только ни пришёл. И потом он мог выглядеть очень серьёзным и кающимся, когда, подходя к небольшому стеклу и проводя своей рукой по волосам, видел, как двигались его бакенбарды.

Глава XVIII
Он пытается развивать своё мышление и рассказывает о некоем Бланте и его соннике

Как я уже говорил, в воскресенье днём у меня было несколько часов отдыха, и я решил потратить их с пользой для развития своего ума.

Моя койка была верхней, и прямо у меня над головой располагалось круглое оконце, или круглый кусок толстого матового стекла, вставленного в палубу для пропуска дневного света. Это был унылый, неровный свет, хотя сам я часто с тревогой поглядывал, не закрыто ли внезапно это круглое оконце, поскольку каждый раз, когда кто-либо наступал на него при ходьбе по палубе, оно на мгновение закрывалось; и ещё хуже было, когда катушку с тросом бросали прямо на него, и она оставалась там, пока я сам не одевался и не поднимался, чтобы её удалить — своеобразное прерывание моих исследований, — что меня очень раздражало в тот момент, когда я усердствовал в чтении.

Однако я был рад любому свету вообще, по-

падающему вниз в ту мрачную полость, где мы прятались, как кролики в кроличьем садке; и это было самое счастливое для меня время, поскольку, когда все мои сотрапезники спали, я по утрам мог лечь на спину, смотреть вниз и читать в сравнительно тихом уединении.

Я уже прочитал две книги, данные мне взаймы Максом, в чьи руки они попали при дележе имущества матроса, который выскочил за борт. Одна была перечнем морских кораблекрушений и бедствий, а другая оказалась большим чёрным томом с надписью «Белая горячка» большими золотыми буквами на обороте. Им оказался популярный трактат на предмет этой болезни, и я вспомнил, как видел несколько копий в матросских книжных киосках у Фултонского рынка и на Южной улице в Нью-Йорке.

Но в это воскресенье я вынул книгу, ожидая получить больше знаний и изучить её как инструкцию. Она была предоставлена мне г-ном Джонсом, у которого была настоящая библиотека и который снял эту книгу с верхней полки, где она лежала весьма запылённой. Когда он отдавал её мне, то сказал, что, хотя я и иду в море, мне не стоит забывать о важности хорошего образования и о том, что в любой ситуации в жизни

приходится тяжело, однако при скромности и ограничениях, в темноте или во мраке, но часы его досуга сохранили его разум и помогли углубить знания в точных науках. И он добавил, что хотя выход в море простым матросом по жизни несколько рановат и действительно выглядит довольно неблагоприятно для моих будущих перспектив, но всё же он, несомненно, принесёт мне пользу в конце концов и, во всяком случае, если я только проявлю хорошую заботу о себе, то даст мне хорошую основу, если не что-то ещё; и этого не стоит недооценивать, поскольку очень много богатых людей отдали бы все свои связи и закладные за мою юношескую настойчивость.

Он добавил, что я не должен ждать от книги лёгкости и тривиальности, что было бы просто развлечением и больше ничем, но здесь он считает, что развлечение и наставление красиво и гармонично объединены; и хотя поначалу я мог бы, возможно, счесть этот труд унылым, всё же если бы я просмотрел книгу полностью, то скоро открыл бы скрытое очарование и непредвиденные достопримечательности, помимо моего обучения, и, возможно, истинный способ восстановить состояние моей семьи, заново увеличив её достаток.

Сказав так, он вручил её мне. Я сдул пыль и посмотрел на обложку: «Богатство нации» Смита. Название не вдохновило меня, я поглядел на титульный лист и обнаружил следующее:

«Введение в исследование о природе и причинах богатства народов». Но, случайно глянув вниз, я заметил «Абердин» как место, где книга была напечатана, и, думая, что любая вещь из Шотландии, зарубежной страны, должна указать на некий путь или другую привлекательность для меня, очень любезно поблагодарил г-на Джонса и пообещал тщательно просмотреть этот том.

Итак, лёжа теперь на своей койке, я начал читать книгу методически со страницы номер один, решив, что мне не разрешить нескольких летящих в ней проблесков, не взяв предварительных препятствий и не предварив регулярных подходов к сути и содержанию книги, где, как я полагал, лежит нечто вроде философского камня, секретного талисмана, который преобразует даже дёготь и смолу в серебро и золото.

Приятные, хотя и неопределённые видения будущего богатства начали проплывать передо мной с того момента, как я начал читать первую главу, названную «Причины улучшения трудо-

вых производительных сил». Это было так же сухо, как крекеры и сыр, будьте уверены, и сама Глава не была намного лучше. Но я едва добрался до начала, а если бы продолжил читать, то великая тайна открылась бы мне. Поэтому я читал дальше и дальше о «заработной плате и прибыли от труда», не получая какой-либо пользы для моих болей от этого просмотра. Сухость и сухость, простые листья с запахом опилок, пока, наконец, я не выпил немного воды и не начал заново. Но скоро я должен был бросить её из-за оставшейся работы и решил, что старая доска для игры в нарды, что была у нас дома, с надписью на обороте «История Рима» была более чем насыщена материалом и более интересна. Я задался вопросом, читал ли сам г-н Джонс когда-нибудь эту книгу, и не мог сдержать воспоминаний о том, что сам он должен был взобраться на стул, когда снимал её с пыльной полки, и это, конечно, выглядело подозрительно.

Прекрасное чтение проходило на лету лист за листом, и при их переворачивании я обратил внимание на некие наполовину стёртые карандашные отметки следующего содержания: «Джонатану Джонсу от его хорошего друга Дэниела Додса, 1798». Так она, должно быть, пер-

воначально принадлежала отцу г-на Джонса, и я задался вопросом, читал ли он её когда-нибудь, или воистину кто-нибудь когда-нибудь читал её, ну хотя бы сам автор? Но ведь авторы, как говорится, никогда не читают свои собственные книги, а сочиняют их, уже будучи достаточно грамотными.

Затем я заснул с томом в руке и никогда не спал так крепко прежде, после этого я обернул свой жакет вокруг него и использовал в качестве подушки, что принесло мне большую пользу; вот только иногда я просыпался, ощущая себя унылым и глупым, но, конечно же, не книга стала этому причиной.

И теперь, говоря о книгах, я должен сказать о Джеке Бланте, матросе, и его соннике.

Джексон, который, казалось, знал всё обо всём во всех частях света, не преминул сказать Джеку с упрёком, что тот был ирландским кокни. Из чего я понял, что тот был урождённым ирландцем, но получил образование в Лондоне, где-нибудь у Рэдклиффского шоссе, и я не слышал у него какого-либо акцента.

Он был любопытным на вид малым, приблизительно двадцати пяти лет от роду, как мне казалось, но, глядя на его спину, вы приняли бы

его за маленького старика. Его руки и ноги были настолько большими, круглыми, короткими и приземистыми, что когда он надевал на себя большую короткую куртку и зюйдвестку, свисающую ему на лицо, и свои морские ботинки, натягивая их до коленей, то смотрелся как жирная морская свинья, вставшая на дыбы. У него было круглое лицо, такое же, как у моржа, и с приблизительно тем же самым выражением, наполовину человеческим и наполовину неописуемым. Он был, в целом, добродушным малым и немало почитал морскую жизнь: пел песни о чувствительных русалках, которые влюблялись в красивых молодых замкнутых юношей и галантных рыбаков. И ещё он рассказывал печальную историю о военном моряке, который разбил своё сердце в Портсмуте во время последней войны и опрометчиво лишился жизни во время одной из канонад на квартердеке в сражении между кораблями «Гуери» и «Конституция», и другую непостижимую историю о некой волшебной морской королеве, которая всё время напоминала о возврате долга морскому капитану, ссылаясь на его подпись путём сообщения об этом при помощи некоего кипящего супа из угря и проклиная его за подлость.

Он верил во все виды ведьминых чар и в волшебство, и бормотал какие-то дикие ирландские слова во время штиля для вызывания попутного ветра.

И зачастую он переходил в своих беседах на гадалку из Ливерпуля, старую негритянку по фамилии Де Скака, чей дом очень часто посещался матросами, и что у неё были две чёрных кошки с удивительными зелёными глазами и ночными колпаками на головах, с когтистыми ногами, торжественно сидевшими на столе возле старого гоблина, и как она щупала его пульс, собираясь рассказать о том, что с ним должно было случиться.

У этого Бланта была большая копна волос на голове, очень густых и пушистых, но по тем или иным причинам они быстро стали серыми, и в таком переходном состоянии он выглядел так, как будто носил кивер из барсучьей шкуры.

Появление седых волос на молодой голове озадачило и запутало этого Бланта до такой степени, что он, наконец, пришёл к заключению, что всё это результат чёрной магии, насланной на него врагом, и этот враг, как он полагал, был старым матросским управляющим в Марселе, которого он когда-то серьёзно оскорбил, сбив его с ног

в драке.

Таким образом, пока он был в Нью-Йорке, и его волосы становились всё более седыми и всё более серыми, все его друзья, подруги и прочие смеялись над ним и называли его стариком, стоящим одной ногой в могиле; и тогда однажды ночью он пошёл к аптекарю, изложил свои доводы и захотел узнать, что можно для него сделать.

Аптекарь немедленно выдал ему бутылку с пинтой какого-то зелья, которое он называл «Трафальгарским маслом для восстановления волос», ценой в один доллар и сказал ему, что после того как он использует эту бутылку, и от неё не произойдёт желаемого эффекта, он должен будет попробовать бутылку №2, называемую «Райский бальзам, или Эликсир Копенгагенской битвы». Эти звучные военно-морские названия восхитили Бланта, и он не сомневался, что эти средства вполне достойные.

Я видел обе бутылки, и на одной из них была гравюра, представлявшая молодого человека, который, как предполагалось, был седовласым, стоял в ночной рубашке посреди больничной палаты и, закрыв глаза, прикладывал эликсир к своей голове обеими руками, в то время как на соседней кровати стояла большая бутылка,

ярко маркированная как «Райский бальзам». Из текста выходило, что этот седовласый молодой человек был так сражён своим маслом для волос и был настолько до конца убеждён в его достоинствах, что вылез из постели даже во время сна; нащупав бальзам в своём шкафу, он схватил драгоценную бутылку, применил её содержание и затем снова заснул, встав утром, ничего не помня о случившемся. И почему он так поступил действительно осталось тайной, и что было ещё более загадочным, так это то, как гравёр узнал про событие, о котором сам участник был не осведомлён и чему не было никаких свидетелей.

Блант, с того момента как оказался в море, три раза за двадцать четыре часа регулярно втирал в себя жидкие мази, но хотя первая бутылка была вскоре исчерпана из-за её частого применения, а вторая иссякла наполовину, он всё ещё придерживался того мнения, что к тому времени, когда мы доберёмся до Ливерпуля, её использование увенчается успехом. И он был весьма рад, что это постепенное изменение происходило, пока мы были в море, чтобы не подвергать себя оскорбительным наблюдениям со стороны людей на берегу, основываясь на том же самом принципе, что денди приходят в деревню, уже отрастив

свои бакенбарды. Он часто спрашивал своих товарищей по плаванию, заметили ли они какое-либо изменение, и если да, то какое именно? И, по правде говоря, из-за постоянного впитывания масла его волосы действительно очень изменились, причём одновременно с его туалетом, которому потребовались щётка и расчёска, поскольку его локоны спутались, как грива дикой лошади, и стали чёрными и чрезвычайно блестящими. Помимо своего масляного сбора для волос, Блант также обзавёлся несколькими коробками с таблетками, которые он купил у матросского доктора в Нью-Йорке, афиши которого висели на постах вдоль причалов, призывая появиться в северо-восточном углу рынка Кэтрин Маркет каждый понедельник и пятницу между десятью и двенадцатью часами утра, когда принимались заказы от пациентов, распределялись лекарства и давались бесплатные советы.

Сознавал ли Блант, есть ли у него расстройство желудка или нет, я сказать не могу, но на завтрак он всегда принимал три таблетки со своим кофе, что-то вроде того, как поступают в Айове во время жёлтой лихорадки, где в пансионах помещают пузырёк синих таблеток в солонку вместе с перцем и горчицей и рядом с другим

пузырьком для зубочисток. Но там, на западе, люди очень невоспитанные и грубые.

Также несколько раз Блант баловал себя вместительным бокалом лошадиной соли (соли Глаубера), поскольку, как и множество других моряков, он никогда не выходил в море без хорошего запаса этой роскоши. Он также часто клал этот медикамент во влажный жакет и затем выходил на палубу под бурю с дождём. Но это — ничто по сравнению с другими матросами, которые в море становятся докторами для самих себя при помощи хлористой ртути с мыса Горн и продолжают оставаться ими на дежурстве. И в этой связи можно рассказать некоторые действительно ужасные истории, но тут я воздержусь.

Для сухопутного человека, принявшего соли, как делал этот Блант, дело, возможно, кончилось бы его смертью, но в море солёный воздух и солёная вода оберегают вас от простуды столь же легко, как и на суше; а что касается меня, то на борту этого самого судна, с таким трудом предоставляющего одежду, я часто ворочался на моей насквозь промокшей койке, снова оказываясь обжигающе горячим и прокопчённым, как жареный филей, и от всего этого хуже никогда

не становилось, ведь тогда мои молодость и здоровье были заговорены, и сам я был защищён крестом от болезней тела.

Но пора сказать о соннике. Блант скрытно уложил в одном углу своей поклажи необычную по виду брошюру в красном переплёте, размеченную по всей поверхности астрологическими знаками и шифрами, и имевшую предназначение быть полным трактатом по искусству предсказаний, да так, чтобы самый простой матрос смог бы их самому себе разъяснить.

Также подразумевалось, что это была та же самая система, при помощи который Наполеон Бонапарт поднялся от капрала до императора. Поэтому книга так и называлась «Сонник Бонапарта», поскольку её волшебство состояло в толковании сновидений и их применении в предвидении будущих событий, да так, чтобы заранее можно было принять все необходимые меры, что было бы чрезвычайно удобно, и получить удовлетворение от любого верного пути. Проблемы состояли в некоторой сложности и трудности вычисления способа движения, что, однако, облегчалось набором таблиц в конце брошюры, вроде логарифмических таблиц в конце «Навигатора» Боудича.

И вот Блант уважал этот свой сонник Бонапарта, обожал и поклонялся ему, будучи полностью убеждённым, что между этими красными обложками и в его собственных снах лежат все тайны будущего. Каждое утро перед приёмом таблетки и втиранием своего масла для волос перед оставшимися до пробуждения часами он украдкой вылезал из своей койки, вынимал свою брошюру и кусочек мела и затем, распрямив свою грудь, начинал царапать свою масляную голову, чтобы вспомнить свои беглые мечты, производя движения вниз по грудной клетке, как будто подсчитывая свои ежедневные счета.

Хотя его часто озадачивали и запутывали лабиринты кабалистических чисел и главы наставлений новичкам, которые он вообще с трудом мог прочитать, всё же, в конце концов, если он не прерывался, ему так или иначе удавалось приходить к выводу, его удовлетворяющему. И в тот момент, когда он обычно носил добродушное выражение лица, несомненно, подразумевалось, что все его будущие дела складывались наи лучшим образом.

Но однажды ночью он поднял нас всех в испуге, выскочив из своей койки с глазами, готовыми вырваться из орбит, и хриплым криком: «Ребята!

Ребята! Готовьте скамьи! Быстрей, быстрей!»

«Что за скамьи? — заворчал Макс. — В чем дело?»

«Скамьи! Скамьи! — кричал Блант, не обращая на него внимания. — Рубите лес, возденьте руки, ребята, идёт Судный день!»

Но в следующий момент он спокойно забрался на свою койку и лёг, всё ещё бормоча про себя о том, что ему только что привиделось во сне.

Я не понял точно, что он подразумевал под своими скамьями, пока вскоре после этого я не подслушал разговор двух матросов, дебатирующих, будет ли человечество стоять или сидеть в Последний свой день.

Глава XIX
Спасение по счастливой случайности

Этот сонник Бланта напомнил мне о нашем удачном спасении, произошедшем ранним утром.

Была как раз очередь вахты левого борта оставаться внизу с полуночи до четырёх часов утра, и вернувшийся вниз и спящий Блант внезапно снова проснулся около трёх часов из-за замечательной идеи в его голове и пожелал сразу же её интерпретировать.

Итак, он подошёл к рундуку, вынул свои инструменты и положил на крышку для шифрования. В это момент внезапно раздался ужасный крик, который выгнал его, и всех присутствующих, и всю команду судна на тёмную палубу. Мы не знали, что случилось, но, так или иначе, в море, в среде матросов даже во сне, кажется, всегда известно, когда исходит реальная опасность от какой-либо земли.

Когда мы вышли на палубу, то увидели, что старший помощник стоял на бушприте и кричал

кому-то в тёмной воде перед судном: «Наветренная сторона! Встаньте по ветру!» В том направлении мы смогли сразу увидеть свет, а затем огромный чёрный корпус чужого судна, которое сближалось с нами по касательной и настолько близко, что мы слышали откидывание створок его топселей, когда они дрожали на ветру, топот ног на палубе и тот же самый крик «Наветренная сторона! Встаньте по ветру!», что исходил от нашего же собственного старшего помощника.

За минуту с небольшим, едва отдышавшись, я услышал треск и грохот, как при падении дерева, и внезапно один из наших парней отскочил от задвижки бом-кливера возле кран-балки, и затем мы одновременно услышали удар по нашему бум-кливеру напротив нашего борта.

Тем временем странное судно, задевшее нас, устремилось прочь в темноту, и больше мы его не видели. Но и оно также, должно быть, было повреждено, поскольку, когда это стало возможным, мы нашли куски чужой оснастки, смешавшейся с нашей. Мы восстановили потери и заменили сломанную штангу другим бум-кливером, который у нас был: ведь все суда несут на борту запасные штанги на случай чрезвычайных ситуаций.

Причина этого происшествия, которое едва не стало причиной смерти всех на борту, состояла только лишь в сонливости матросов-наблюдателей на баках обоих судов. Матрос, который вёл наблюдение с нашего судна, был сурово отчитан старшим помощником.

Несомненно, существует множество судов, о которых больше не бывает известий, после того как они покинули порт, встречаясь со своей судьбой в пути; и бывает так, что иногда посреди ночи два судна, идущие вместе, повёртываются утлегарем к утлегарю, внезапно поражая и взаимно уничтожая друг друга, и как дерущиеся лоси погружаются в океан, смертельно сцепившись рогами.

Когда я был в Ливерпуле, прекрасное судно, которое стояло около нас в доках, с грузом на борту вышло в море, направляясь в Индию с попутным бризом, и вся его команда излучала уверенность в успехе путешествия. Но приблизительно семь дней спустя после этого оно вернулось, явив собой печальное зрелище. Весь его правый борт был разорван и расколот, якорь с правого борта был сорван, как и большая часть правого фальшборта; одновременно с этим каждая из нижних нок-рей была сломана с той же самой стороны,

и поэтому теперь она несла маленькие и неприглядные временные паруса.

Когда я смотрел на это судно, целиком разрушенное с одной стороны, а с другой стороны всё ещё сохранявшее прекрасную отделку, то вспомнил его весёлое и галантное появление, когда оно покидало ту же самую гавань, в которую теперь вошло в столь несчастном виде, — то не мог удержаться от размышлений о молодом человеке, которого я знал дома и который однажды утром покинул свой дом в приподнятом настроении и был возвращён в полдень парализованным на правую сторону с головы до пят.

Оказалось, что навстречу этому судну шло чужое судно, поднявшее все паруса при свежем бризе, и незнакомец промчался мимо его правого борта, подрезав его до того удручающего состояния, в котором оно теперь и пребывало.

Матросы не могут не быть слишком бодрствующими и осторожными, когда стоят ночью наблюдателями, впрочем, мне хорошо известно, что они слишком часто позволяют себе небрежно исполнять эту обязанность и дремлют. И это не столь прекрасно, в конце концов: каждый моряк слышал о несчастных случаях в море, и многие из них, возможно, были на су-

дах, которые при этом пострадали, ведь когда вы плывёте ночью в океане, не видя парусов в течение многих-многих недель, то вам тяжело понять, что кто-то находится рядом. Поэтому если так и случается, то это кажется почти невероятным, — поскольку широкое безграничное море омывает Гренландию на одном конце света и Фолклендские острова на другом, — когда какое-либо судно на таком широком шоссе должно войти в тесный контакт с другим.

Но вероятность появления больших бедствий редко оказывает влияние на умы неосведомлённых людей, таких, какими обычно бывают матросы; с вещами, о которых мудрые люди знают, ждут их и принимают меры, неосведомлённый человек знакомится, только встретившись лицом к лицу. И даже когда они приобретают этот опыт, то урок служит им только в течение этого же дня: ведь безрассудно в благое время верить в возможность бедственной ситуации, они видят солнце на небесах и полагают, что оно слишком ярко для того, чтобы могло когда-нибудь сесть. И внезапно даже самые современные и быстрые суда, гордо мчавшиеся под парусами по морю, бывают поражены, словно молнией, и раздавлены напрочь; и точно так же некоторые гордецы

со всеми их планами и перспективами, изысканно подстриженные к выходу в свет, движимые попутным жизненным бризом и не помышляющие о смерти и бедствии, внезапно сталкиваются с непредвиденным препятствием и тонут, попав в лапы смерти.

Глава XX
Во время тумана ему поручают работу звонаря, и он наблюдает за стадом океанских слонов

Что это такое, через что мы сейчас проплываем? Что за мрак мы чувствуем? Что за пар и сильный запах, как будто целый мир пара вращается вокруг своей оси, как на шампуре?

Это — ньюфаундлендский туман, и мы все пересекаем Большую Ньюфаундлендскую банку, окутанную таким туманом, что никакой Лондон в самом ноябрьском ноябре не сравнится с ним. Хронометр сообщает, что наступил полдень, но полуденный ли это звон или полуночный? Туман столь плотный, что, несмотря на то что дует попутный ветер, мы сворачиваем парус, опасаясь катастрофы, и не кто-нибудь, а именно я, бедный Веллингборо, поставлен на верху своеобразной колокольни, на вершине Сэмпсон-поста, как называется эта высокая деревянная башня, и медленно и мерно ударяю в судовой колокол, как будто на похоронах.

Звон предназначен объявлять о нашем подходе

и предупреждать всех незнакомцев на нашем пути.

Тоскливый звук! Удар, удар, удар сквозь мрачную мглу и туман.

Зелёный колокол с ярью-медянкой влажен от росы, и небольшой шнур привязан к языку, с помощью которого я звоню, и время от времени шнур проходит через мои пальцы, скользкие от влаги. Я стою здесь в моей обвисшей чёрной шляпе, словно «бык, которого можно тянуть», объявив ему о смерти оплакиваемого петуха Робина из песенки.

Устройство лучшее, чем звонок, когда-то, однако, было создано одним изобретательным морским капитаном, про которого я слышал. У него было скопище откормленных на убой молодых свиней на борту, и, проплывая через туман, он разместил матросов с длинными палками по обеим сторонам загона. Палками постоянно шевелили, и те раздражали свиней, отчего они прорезали воздух своим визгом и, несомненно, спасли судно, как гуси спасли Капитолий.

Самые странные и неслыханные шумы время от времени исходили из тумана: громкие звуки вздохов и рыданий. Что это могло быть? Они сопровождались струями, и потоками, и бегущим

каскадом волн, как будто струи неких фонтанов внезапно забили из океана.

Сидя на своём Сэмпсон-посте, я всматривался всё внимательней и внимательней и приостановил исполнение обязанности звонаря. Но вот кто-то крикнул: «Вон там они продуваются! Киты! Поблизости скрываются киты!»

Кит! Подумай о нём! Киты рядом с тобой, Веллингборо, — мог бы мой собственный брат поверить мне? Я выронил шнур, как будто он был раскалён, и подался вбок, и там, вдали, смутно просматривались четыре или пять длинных чёрных змеевидных плывущих тела, лишь на несколько дюймов поднимавшихся из воды.

Разве они могут быть китами? Чудовищными китами, о которых я слышал? Я думал, что они похожи на горы в море, холмы и долины плоти! Настоящие кракены, которые в момент погружения в поисках пищи порождают приливы и затапливают континенты!

От этого горького разочарования я долго приходил в себя. Я потерял всё уважение к китам и начал немного сомневаться в истории Ионы: ведь как Иона мог расположиться в такой крошечной обители — там у него, возможно, не было никакого свободного места? Но возможно, ре-

шил я, что кит, который, согласно раввинским традициям, принадлежит к женской особи, расширяется, чтобы принять человека, подобно анаконде, заглатывающей лося вместе с рогами, которые продолжают какое-то время торчать из её пасти.

Тем не менее с того дня киты весьма упали в моих глазах. Но не совсем. Если вы прочитаете то, что написано о соборе Святого Петра, и затем пойдёте и посетите его, то десять к одному, что вы сочтёте его карликом по сравнению с вашим высоко поднятым идеалом. И, несомненно, сам Иона, должно быть, был разочарован, когда взглянул на куполообразный живот кита, поддерживаемый диафрагмой, и разглядел столбы рёбер, стоящие по кругу. Симпатичный большой живот, что и говорить, подумал он, но не столь большой, как может показаться.

На следующий день поднялся туман, и к полудню мы проплыли через флотилии рыбаков, стоящие на якоре. Это были очень маленькие судёнышки, и когда я разглядывал их, то почувствовал силу фразы того матроса, что проиллюстрировал словами ограниченное пространство, имевшееся на этих корабликах: «Как говорится, похоже на прогулку рыбака: три шага, и за борт».

Многочисленные корабли, пересекающие океан между Англией и Америкой прямо по этому пути, иногда отправляют эти небольшие суда на дно и стирают их с водной глади, крики матросов прекращаются с последним буруном, который захлёстывает их судно. Зачастую их собственная печальная судьба — результат небрежности в обеспечении хорошего наблюдения днём и урезанного количества светильников, как у мудрых девственниц, ночью.

Поскольку я не упомяну Большие Ньюфаундлендские банки при нашем возвращении на родину, к которому я буду иметь отношение, то сообщу, что мы приблизились к ним ночью и по пути посредством глубиномера проверили наше местоположение относительно дна. Прикреплённый линь в целом составил три сотни морских саженей в длину, а сам груз имел приблизительно сорок или пятьдесят фунтов веса с отверстием в нижней части, которое остаётся пустым и которое смазывают небольшим количеством сала для того, чтобы оно смогло зацепить почву со дна для её осмотра капитаном. Это называется «глубиномер с лапой».

Мы подняли нашу глубокую морскую линию ночью, и операция оказалась очень интересной,

по крайней мере для меня. Во-первых, судно было приостановлено, затем, намотанный на катушку, как китовый линь, трос был размещён за частью квартердека; один из матросов вынес глубиномер за пределы судна далеко вперёд до конца бум-кливера и по команде бросил его далеко вперёд за борт, где глубиномер погрузился, а трос прошёл вдоль борта, пока не достиг кормы и пока уже сам не исчерпал всего себя, обнажив катушку.

Когда мы подошли, чтобы поднять его, я был удивлён силой, необходимой для выполнения этой работы. Целый час мы тянули трос, который был протянут через блок в рангоуте, будто всё предназначалось для подъёма жирной морской свиньи. Когда глубиномер появился в поле зрения, я загорелся желанием исследовать сало и взглянуть на образец со дна моря, но матросам, как оказалось, это было не очень интересно, и они назвали меня дураком за желание сохранить несколько зёрен песка.

Я почти забыл упомянуть Гольфстрим, который был найден нами до пересечения Банок. Факт нашего появления в нём был доказан лично капитаном, наблюдавшим за вытягиванием ведра солёной воды, в которую он опустил свой

термометр. За пределами Саргассового моря это основной тест, температура в этом течении на восемь градусов выше, чем в океане, а температура океана — на двадцать градусов выше, чем на Великих банках. И объяснение этому замечательному различию температуры, в котором не может быть никакого равновесия, множество моряков приписывает туманам на побережье Новой Шотландии и Ньюфаундленда; но почему всегда должна быть такая уродливая погода в Заливе — так это для меня нечто, что я не знаю, как и объяснить.

Если вам любопытно будет опустить палец в ведро, наполненное водой Гольфстрима, то вы сочтёте её несколько более тёплой, как будто Мексиканский залив, откуда приходит этот поток, — это большой котёл или очаг, созданный нарочно, для того чтобы согревать север Атлантики, и который пересекает его на две тысячи миль в длину, подобно некоторым большим зимним залам, оборудованным трубами с горячим воздухом. Его средняя ширина составляет приблизительно двести лиг, что включает область, более крупную, чем целое Средиземноморье, и может считаться своего рода Миссисипи из горячей воды, текущей через океан недалеко

от берега Флориды со скоростью полторы мили в час.

Глава XXI
Китобой и военный моряк

Про тот вид китов, о котором я упомянул в предыдущей главе, рассказал Ларри, один из членов нашей команды, который как будто из-за некоторой сознательной скромности до настоящего времени был вполне тихим и замкнутым, несмотря на то что отправился в море как младший матрос и, как я заметил, выполнял свои обязанности очень хорошо.

Когда матросы затеяли спор относительно того, каких именно китов они сейчас увидели, Ларри стоял в стороне, внимательно слушая и оценивая их невежество, а затем внезапно вспыхнул и удивил всех своим близким знакомством с этими монстрами.

«Это не кашалоты, — сказал Ларри, — их струи недостаточно мощны, и даже не что-то вроде них, иначе они не укладывались бы спать так долго; они не горбачи, поскольку у них нет каких-либо горбов; это не сельдяные полосатики — вам не застать сельдяного полосатика прямо возле судна; они не гренландские киты, поскольку мы далеко

от берегов Гренландии; и они не обычные киты, так нельзя говорить о них. Я говорю вам, ребята, это причудливые киты».

«И каковы они?» — спросил матрос.

«Да дело в том, что эти киты точно не свиньи».

И вот теперь оказалось, что этот Ларри приобрёл свой морской опыт на китобойном судне и много раз выходил в море из Нантакета, и никто, кроме Джексона, не рисковал оспаривать его мнение, и даже сам Джексон не нажимал на него слишком резко. И с тех пор все полагались на суждение Ларри относительно всех странных рыб, которые появлялись во время путешествия, ведь китобой намного больше знаком с чудесами глубин, чем кто-либо из других моряков. Это было первое путешествие Ларри на торговом корабле, и этот факт объяснял, почему до настоящего времени он был так замкнут, ведь он хорошо знал, что торговые моряки обычно чувствуют определённое превосходство над «рыдающими котлами» и высокомерно относятся к тем, кто охотится на левиафанов. Но Ларри, как оказалось, был безобидным малым и хорошо понимал своё предназначение на борту судна и потому заранее готовился воспользоваться случаем так, чтобы обезопасить себя от колкости, с которой он

мог бы так или иначе столкнуться.

Он был несколько странным человеком, который носил свою шляпу, надвинув её на нос, опустив глаза, и всегда казалось, что он исследовал ботинки, говоря с вами. Я любил слушать его рассказы о диких местах в Индийском океане и на побережье Мадагаскара, куда он часто заходил во время своих великих путешествий.

И это знакомство с жизнью природы во главе с людьми в том дальнем уголке земли сформировало у Ларри сентиментальное отвращение к цивилизованному обществу. Когда представлялась возможность, он никогда не забывал выразить своё восхищение свободой и лёгкостью на берегах Индийского океана.

«Почему, — говорил Ларри, бубня, как обычно, через свой нос, — там, в Мадагаске, люди не носят никаких тог вообще, только повязку вокруг чресл; они не остаются без обеда, но обходятся весь день без жирных свиней и собак; они не ложатся спать абы где, но все время дремлют; и они тоже пьют некий арак первой перегонки из кокосовых орехов, а также курят много табака, уверяю вас. Это прекрасная страна! К чёрту Америку, говорю вам!»

По правде говоря, этот Ларри весьма однознач-

но выступал против цивилизации.

«И что проку от сборища сопливизованных! — сказал он мне однажды ночью на палубе во время нашей вахты. — Сопливизованные парни только учатся жизни и хнычут. Вы не видите, что каждый методист ощущает ужас в своей душе, вы не видите проклятых нищих и противных констеблей в Мадагаске, поверьте мне, и ни у одного из тамошних королей пальцы ног не скрючены подагрой. К чёрту Америку, говорю вам».

Действительно, этот Ларри был весьма ограничен в своих суждениях.

«Не ты ли тут, Пуговка, более, чем кто-либо, подходишь для сборища сопливизованных? — близко подойдя ко мне и в упор разглядывая мои искорёженные топсельные ботинки. — Нет, ты немного не такой — но твой договор с капитаном повредил тебе, Пуговка. Я говорю тебе, что ты не был бы здесь в море и не вёл бы эту собачью жизнь, если бы ты не был сопливизован — это причина, почему теперь сопливизация сокрушила тебя, и она же полностью заткнула меня; я, возможно, был бы великим человеком в Мадагаске, а мне сейчас тоже плохо! К чёрту Америку, говорю тебе». И, сильно сокрушаясь из-за общественного упадка во всём его прошлом,

настоящем и будущем, Ларри поворачивался, ещё ниже надвигая свою шляпу на переносицу.

Сильным контрастом по отношению к Ларри был молодой человек с военного корабля, который носил прозвище Оружейная Палуба, из-за того, что всегда говорил о матросской жизни в военно-морском флоте. Он был небольшого роста с маленьким лицом и потрясающей копной каштановых волос, он всегда носил одежду в военно-морском стиле: тельняшку с широким, плетёным галуном и турецкие штаны. Но особенно он гордился своими ногами, которые были довольно маленькими, и когда мы утром драили палубы, то, как бы ни было холодно, он всегда снимал свои ботинки и выходил, плывя подобно утке и показывая свои прекрасные ножки с очаровательными раздвинутыми пальчиками.

Он служил на военных кораблях во время войны с семинолами во Флориде и мог многое рассказать о том, как плыл там вверх по реке через болотистые равнины и про стреляющих с берегов индейцев. Я помню рассказанные им истории об их отряде, обнаруженном на порядочном расстоянии от них, но у одного из дикарей была очень приметная оловянная пластина, блестевшая на солнце, которую он носил, надев

на шею. Эта пластина привела его к гибели; если верить Оружейной Палубе, то он сам прострелил её посередине, и пуля вошла в сердце её владельца. Это была крысобойня, говорил он.

Оружейная Палуба заходил в Кадис, бывал на Гибралтаре и высаживался в Марселе. Он загорал в Неаполитанском заливе, ел фиги и апельсины в Мессине и с радостью оставил одно из своих сердец на Мальте среди тамошних леди. И обо всех этих событиях он говорил, как романтик с военного корабля, который видел цивилизованный мир и любил его, находя его хорошим и удобным местом для проживания. Поэтому он и Ларри никогда не могли сойтись в соответствующих каждому из них представлениях о цивилизации и о дикости Средиземноморья и Мадагаскара.

Глава XXII
«Горец» проходит мимо разбитого корабля

Мы всё ещё проплывали мимо Банки, когда нас накрыл такой сотрясающий шторм, какого я не прежде не мог ни видеть, ни вообразить. Дождь лился полосами и каскадами, штормовые портики с трудом держались на палубах, хватаясь за палубные снасти, мы пробирались почти по колено в воде и каждый плавал, как щепка в доке.

Этот сильный дождь был предшественником крепкого шквала, к которому мы должным образом подготовились, дважды зарифив главные паруса.

Торнадо помчался крушить дальше, подобно табуну диких лошадей, бегущих прочь из пылающей прерии. Но после раболепного поклона славный «Горец» на некоторое время застыл перед ним и, погружая свой нос в воду, пошёл вразвалочку, вспахивая молочно-белые волны и оставляя за собой полосы светящейся пены.

Это была ужасная сцена. Она заставила меня

отдышаться и внимательно оглядеться. Я едва мог стоять на своих ногах, настолько сильной была судовая качка. Но пока я раскачивался из стороны в сторону, матросы только смеялись надо мной и предлагали посмотреть, как бы судно не опрокинулось, советуя мне взять ганшпуг и крепко держать его в штормовом портике, чтобы устранить качку. Но я уже стал немного мудрее для такого глупого разговора, хотя во время всего путешествия они никогда не прекращали его.

Этот шторм закончился, и у нас установилась ясная погода, до тех пор, пока мы не вошли в Ирландское море.

Наутро после шторма, когда море и небо снова стали синими, матрос, сидевший наверху, прокричал, что с подветренной стороны находится разбитый корабль. Мы бросились на ту сторону, нетерпеливо глядя на него, а капитан с крюйс-марса глядел через свою подзорную трубу. Мы медленно проходили рядом с ним.

Это была поломанная, затопленная шхуна, представлявшая печальное зрелище, должно быть, дрейфовавшая в течение нескольких долгих недель. Фальшборт по большей части отсутствовал; и тут и там голые подпорки или

посты, что ещё оставались, разбивали надвое волны, которые разливались по палубе, лежащей почти вровень с водой. Фок-мачта была сломана на высоте не больше, чем на четыре фута от основания, её остаток, разрушенный и расколотый, был похож на брошенный в лесу сосновый пень. Её постоянно заливало море, её открытый главный люк приоткрывался, но снова быстро заполнялся водой и погружался с торопливым, булькающим звуком, как только вода сталкивалась с волнорезом.

На пне, оставшемся от грот-мачты, приблизительно на десять футов выше палубы оказалось пригвождённым что-то вроде рукава — это, возможно, были остатки изношенного и продуваемого ветром жакета, который, видимо, был там закреплён командой для сигнала.

Три тёмных, зелёных, поросших водорослями объекта, привязанных и прислонённых боками напротив гакаборта, медленно приподнимались при каждой волне, или же оставались неподвижны. Я видел, как капитан направил на них подзорную трубу, и услышал, как он, наконец, сказал: «Они, должно быть, уже давно мертвы». Это были матросы, которые давно привязали себя к гакаборту для безопасности, но, вероятно,

умерли от голода.

Поглощённый ужасно интересной сценой, я, конечно же, решил, что капитан спустит лодку на воду, чтобы похоронить тела и узнать что-нибудь о шхуне. Но мы не остановились вообще, идя нашим курсом и не изучив внимательно название шхуны, хотя все предположили, что это лесовоз из Нью-Брансуика.

Со стороны матросов не было выказано никакого удивления, что наш капитан не послал лодку к разбитому судну, но пассажиры третьего класса были возмущены этим и назвали всё варварством. Что касается меня, то я не мог не чувствовать себя поражёнными и потрясённым его безразличием, но последующие морские события показали мне, что такое поведение, как это, очень распространено, хотя, конечно же, не тогда, когда человеческую жизнь можно спасти.

Мы проплыли мимо и оставили шхуну дрейфовать дальше в качестве садового пятна для моллюсков и театра для акул.

«Посмотрите туда, — сказал Джексон, нависая над перилами и кашляя, — смотрите туда, это матросский гроб. Ха! Ха! Пуговка, — повернувшись ко мне, — как тебе это нравится, Пуговка?

Не хочешь забрать судно с его мертвецами? Разве оно так плохо?» Затем он попытался рассмеяться, но снова только закашлялся. «Не смейся над эти бедняги, — сказал Макс, глядя на могилу. — Ты видишь, что их тела, их души удаляются к мыс Добрая Надежда».

«Мыс Добрая Надежда, мыс Добрая Надежда! — завопил Джексон с неприятной усмешкой, подражая голландцу. — Смею сказать, что нет никакая „добрая надежда“ для них, дружище, она утонула и ды… ды… ды… как утонем ты и я, Красный Макс, в одну из этих тёмных ночей».

«Нет, нет, — сказал Блант, — все матросы спаслись, у них было множество шквалов здесь, а теперь ясная погода на небесах».

«И ты вытащил это из своего глупого сонника, грек? — провыл Джексон через кашель. — Не говорите мне о небесах, это ложь — я знаю это, и дураки все, кто верит в них. Ты думаешь, грек, что для тебя существуют какие-то небеса? Что они впустят тебя к себе с этими грязными руками и этой жирной копной волос? Постой! Когда какая-нибудь акула однажды проглотит тебя, ты будешь считать, что, умерев, всего лишь переместился от одной бури к другой? Ты так думаешь, ирландский кокни! Да ты будешь заперт внизу

как одна из твоих собственных таблеток, и я смог увидеть целое судно, тонущее в норвежском Мальстриме, как коробка с этими таблетками. Пусть это будет щепоткой соли для тебя!» И, сказав так, он пошёл прочь, держа свои руки на груди и кашляя, как будто при шёл его последний час.

Каждый день этот Джексон, казалось, становился всё слабее и слабее, и в теле, и в уме. Он редко говорил и только противоречил, высмеивал или проклинал; и всё время, несмотря на то что лицо его становилось всё более и более истощённым, глаза, казалось, разгорались всё больше, как будто он собрался, наконец, умереть и оставить всех, сгорев, как тонкая свеча над трупом.

Впрочем, он никогда не посещал церкви и ничего не знал о христианстве, не больше, чем малайский пират; и хотя он не мог прочитать и слова, он всё же был спонтанным атеистом и неверующим и во время длинных ночных вахт вступал в спор, чтобы доказать, что нет ничего, во что можно верить, ничего, что можно любить, и ничего, ради чего стоит жить, кроме того, что будет ненавистно всему миру. Это был неприятный отчаявшийся человек, и, как дикий индеец, которого он напоминал своей желтовато-коричневой кожей и высокими скулами, он,

казалось, бесился бы и в небесах, и на земле. Он был Каином на плаву с неким непостижимым проклятием, помеченным желтизной бровей, стремившимся развратить и иссушить любое сердце, что стучало рядом с ним.

Но это оказывалось ещё большим горем, чем человеческая злоба, и казалось, что его злоба возникла из его горя; и ко всему его безобразию присовокуплялось то, что взгляд его время от времени был невыразимо жалким и трогательным; и хотя были моменты, когда я почти ненавидел этого Джексона, я всё же не жалел так ни одного человека, как жалел его.

Глава XXIII
Непонятный каютный пассажир и таинственная юная леди

Я пока ещё не сказал ничего особенного о пассажирах, которых мы везли. Но прежде чем сделать небольшое упоминание о них, вы должны знать, что «Горец» не был ливерпульским лайнером или пакетботом, курсирующим в семействе пакетботов с определёнными интервалами между этими двумя портами. Нет, он был только тем, что называют выполняющим регулярные торговые рейсы в Ливерпуль, но не ходящим по каким-либо установленным дням, а действующим так, как ему удобно, не будучи связанным никакими обязательствами, хотя во всех его путешествиях Нью-Йорк или Ливерпуль присутствовали как места его назначения. Торговые суда, которые не являются ни лайнерами, ни регулярными грузовыми, среди моряков ходят под названием временных судов, которое подразумевает, что они сегодня здесь, а завтра где-то в другом месте, как собака Маллинза.

Но у меня не было причины сожалеть, что

«Горец» не был лайнером: ведь на бортах лайнеров, — насколько я смог сделать вывод из слов тех, кто ходил на них под парусом, — у членов команды ужасно тяжёлая работа вследствие создания максимальной нагрузки на паруса ради того, чтобы побыстрее пройти маршрут и поддержать репутацию скоростного судна. Следовательно, хоть они и являются самыми лучшими из морских судов и построены наилучшим образом и из самых лучших материалов, несколько лет стремительного движения под ветром, как водится, серьёзно ослабляют их конструкции; так крепкие молодые люди, которые растут слишком быстро в подростковом возрасте, вскоре распродаются для песен на кораблях, что обычно происходит с людьми из Нантакета, Нью-Бедфорда и Сэг-Харбора, восстанавливающих и снабжающих собой китобойный промысел.

Таким образом, судно, которое когда-то перевозило весёлых леди и джентльменов как туристов в Ливерпуль или Лондон, теперь несёт команду гарпунёров вокруг мыса Горн в Тихий океан. И красное дерево и каюта из клёна «птичий глаз», в которой когда-то находились карточные столы из палисандра и блестящие кофеварки, отражавшие множество бутылок

шампанского и множество ярких искрящихся глаз, теперь окружают крутого капитана Квакера с острова Мартас-Виньярд, который, возможно, стоит со своим судном в островном заливе в Новой Зеландии, развлекая со стороны ужинающих голых вождей и дикарей, вместо капитана пакетбота, отдающего почести литераторам, театральным звёздам, иностранным принцам и состоятельным досужим господам, которые обычно сплетничают, говоря о политике и ерунде за столом в трансатлантических поездках. Также и широкий квартердек, где это дворянство прогуливалось, теперь часто заставляется огромной головой кашалота и огромными массамисочащегося жира, и повсюду во время путины стоит сильный запах масла. Sic transit gloria mundi![3] Так проходит гордость и слава пакетботов! Это похоже на потрёпанного импортёра французских шелков, занятого в мыловарне.

Так, не будучи лайнером, «Горец», конечно же, не имел достаточного количества помещений для пассажирских кают. Я полагаю, что на судне было не больше, чем пять или шесть купе с двумя или тремя местами в каждом. Во всяком случае,

---

3 Примечания: 3

Sic transit gloria mundi! (*лат.*) — Так проходит слава мира! — *Примеч. пер.*

в этом особом путешествии он формально вёз только одного каютного пассажира, то есть человека, ранее не знакомого с капитаном, который оплатил свой проезд и попал на борт по своему желанию, по своему делу и со своим багажом.

Он был чрезвычайно маленького роста, этот одинокий пассажир из одноместной каюты — пассажир, который попал на борт по своему делу со своим багажом, никогда не разговаривал ни с кем, и капитан редко разговаривал с ним.

Возможно, он был представителем от школ для глухонемых в Нью-Йорке, направляющимся в Лондон, чтобы при помощи жестов в Эксетер-Холле обратиться к общественности относительно знамений времени.

Он всегда пребывал в глубоком раздумье, иногда сидел на квартердеке, свернув руки и свесив голову на грудь. Затем он поднимался и пристально глядел навстречу ветру, как будто внезапно обнаруживал друга. Но, разочарованно поглядев, медленно удалялся в свою каюту, где его можно было увидеть через небольшое окно, находящегося в неуклюжей позе, с задней частью тела, лежащей на койке, и свисающими и болтающимися с кровати головой, руками и ногами, с указательным пальцем, прижимающим нос,

погруженным в глубокие мысли. Его никогда не видели читающим, он никогда не брал в руки карт, никогда не курил, никогда не пил вина, никогда не разговаривал и был равнодушен к десерту во время обеда.

Он казался истинным микромиром или маленьким миром в себе, не находящим потребности в окружающем мире. Мы терялись в догадках относительно того, кем он был и каким делом занимался. Матросы, которые всегда проявляют любопытство в таких вопросах и подвергают критике каютных пассажиров больше, чем пассажиров из общей каюты, возможно, уже известных им к тому времени, полностью извели себя гипотезами, часть из которых была по-своему любопытна.

Один из членов команды сказал, что он был секретным осведомителем английского суда, другие полагали, что он был путешествующим хирургом и костоправом, но по какой причине они так думали, я никак не мог понять, третьи заявляли, что он должен быть или беспринципным двоеженцем, уносящим ноги от своей последней жены и нескольких маленьких детей, или подлым фальсификатором, грабителем банков или грабителем вообще, который возвращался

в свою любимую страну со своей добытой нечестным путём добычей. Один наблюдательный матрос высказал мнение, что он был английским убийцей, исполненным безмолвного раскаяния, и возвращался домой, чтобы сделать полное признание и быть повешенными.

Но некоторый перебор состоял в том, что среди всех этих умозаключений и зачастую уверенных мнений, не было ни одного доброжелательного, нет! Они все были убеждены в его испорченной морали и религиозности. Но так везде в этом мире. Несчастный человек! И если бы вы могли только лишь подозревать, что они подумают о вас, то я не знаю, что бы вы сделали.

Однако, не зная ничего об этих догадках и подозрениях, этот таинственный каютный пассажир продолжал свой путь спокойно, хладнокровно и собранно, никогда никого не беспокоил, и никто не беспокоил его. Иногда ночью при луне он скользил по палубе, как призрак больничного интенданта, то мелькая от мачты к мачте, то паря вокруг окна в крыше, то качаясь возле нактоуза. Блант, послюнявить сонник, поклялся, что он был чародеем, и принял дополнительную дозу соли, остерегаясь его заклинаний.

Спустя несколько дней после выхода из порта

с этим каютным пассажиром случилось смешное приключение. Есть старый обычай, всё ещё остающийся в моде среди некоторых матросов на торговых судах, — быстро связать оснасткой любого неуклюжего сухопутного пассажира, которого только можно найти совершающим экскурсию наверх, чтобы смягчить его неловкий птичий полет. Это называется «растянуть человека орлом», и, прежде чем его освободить, потребуют обещание, что перед прибытием в порт он должен будет предоставить матросской компании достаточно денег для всеобщего удовлетворения.

Считая это занятие одной из своих поблажек, матросы всегда зорко следят за возможностью наложения таких поборов на неосторожных гостей, хотя они никогда не пытаются делать это в присутствии капитана; что же касается помощников капитана, то они намеренно закрывают на это глаза и искренне занимают себя чем-то ещё каждый раз, когда у них возникает подозрение на продолжение спектакля. Но только вот с бедняги каютного пассажира из-за его столь тихого, незаметного, робкого существования на борту «Горца» получить контрибуцию казалось маловероятным.

В одно удивительно приятное утро, однако, на середине оснастки бизань-мачты, было замечено не что иное, как фигура нашего каютного пассажира, удерживаемая всеми четырьмя сильными и хорошо развитыми конечностями, с жутко повёрнутой головой, пристально смотрящей на горизонт. Он смотрел так, как будто для него наступил кошмар, и из-за некоего внезапного и необъяснимого припадка безумия он был побуждён принять такое рискованное положение.

«О боже! — сказал помощник капитана, который решил пошутить: — Вы, конечно же, упадёте, сэр! Стюард, разложите матрас на палубе, рядом с джентльменом!»

Тут не обошлось без охотного внимания нашего матроса-гренландца, вызванного посмотреть на случившееся, который, схватив небольшой моток верёвки, мягко подбежал позади пассажира и, не произнося ни слова, начал связывать его по рукам и ногам. От изумления незнакомец стал ещё более нем, чем когда-либо, наконец, он яростно запротестовал, но напрасно, его от слезливого падения уберегали его руки, связанные верёвками, одновременно препятствующими какому-либо эффективному сопротивлению,

и скоро он был обходительно распластан к великому удовольствию команды.

Тогда впервые было обнаружено, что этот удивительный пассажир ужасно запинался и заикался, что, возможно, было причиной его замкнутости.

«Для че-че-чего эт-т-то?»

«Распластайтесь, сэр», — сказал Гренландец, думая, что этот лаконизм сразу станет ответом.

«Что-что-что это значит?»

«Ради удовлетворения всех окружающих, сэр», — сказал Гренландец, удивившись тупости собеседника, который даже ни разу не слышал об этом прежде.

Наконец, неохотно уступив требованиям матроса и вручив ему две монеты по полкроны, несчастный пассажир был перенесён вниз.

Последний раз я видел этого человека в Ливерпуле, когда садился в кеб у ворот Принцева дока и отправлялся в неведомое место. Он имел при себе только чемодан и зонтик, но его карманы выглядели чем-то набитыми, возможно, он использовал их в качестве саквояжей.

Теперь я должен сделать небольшой отчёт о другом и ещё более таинственном, хотя и совсем ином каютном пассажире, о котором я

намекал ранее. Что вы скажете об очаровательной молодой девушке? Просто девушке, поющей «Мчащегося Белого сержанта», боевой, воинственного вида девушке, её отец, должно быть, был генералом. Её волосы были тёмно-рыжими, её глаза были синими, её щёки были белыми и красными, и капитан Риг был ей весьма предан.

На любопытные вопросы матросов относительно того, кем она была, стюард заранее ответил, что она была дочерью одного из владельцев Ливерпульского дока, кто ради физического и душевного здоровья отослал её в Америку на «Горце» под присмотром капитана, который был его хорошим другом; и теперь эта юная леди возвращалась домой после своего путешествия.

И действительно, капитан заменил ей внимательного отца и часто прогуливался с ней под руку мимо несчастного осведомителя, который время от времени выбирался из своей задумчивости и бросал тайные удивлённые взгляды, будто бы сочтя действия капитана за дерзость.

Глядя на его красивую опеку, я решил, что капитан вёл себя неблагородно по меньшей мере, помогая себе её очаровательным обществом для того, чтобы износить свою остающуюся ста-

рую одежду: не по-джентльменски делать вид, что бережёшь своё лучшее пальто, когда рядом случайно оказывается леди; действительно, он обычно жаждал шанса сбросить его, превратив в понтон через лужу, как поступил бы сэр Уолтер Рэйли, чтобы леди не смогли испачкать подошвы своих изящных сандалий. Но этот капитан Риг не был никаким Рэйли и едва ли истинным джентльменом вообще, как я говорил ранее. Всё же, возможно, что в этом случае он мог носить свою старую одежду, нарочно демонстрируя своё презрение к туалету, поскольку он был всего лишь опекуном юной леди, ведь множество опекунов не заботится о том, насколько по трёпано они выглядят.

Но из-за всего этого дефиле было всего одной из разновидностей долгого списка флиртов между этой боевой нимфой и плохо одетым капитаном. И, конечно же, если её хорошая мать, будь она жива, вдруг увидела бы эту молодую леди, то предложила бы ей прочитать и усвоить бесконечную лекцию о её поведении в подражание английским дочерям г-жи Эллис. Я не буду много говорить об этой анонимной нимфе, а скажу только, что когда мы достигли Ливерпуля, она вышла из своей каюты в богато вышитом

шёлковом платье, кружевной шляпе с вуалью и со своеобразным китайским или пляжным зонтиком, который один из матросов назвал «spandangalous[4]», и капитан проследовал за ней в своём лучшем тонком сукне и бобре и с золотоглавой тростью, и затем они вошли в карету, и это было последнее, что я видел; надеюсь, что теперь с ней всё хорошо, и она счастлива, хотя у меня есть некоторые сомнения.

Теперь остаётся сказать о пассажирах третьего класса. Не более чем двадцать или тридцать из них были главным образом механиками, возвращающимися домой после процветания в Америке, чтобы сопроводить своих жён и семьи назад. Они были единственными обитателями третьего класса, о которых я почти ничего не знал, пока однажды ранним утром в сером рассвете, когда мы проходили Чистый мыс, южную точку Ирландии, из переднего люка не появился высокий ирландец в потёртой рубашке из тика и, прислонившись к поручню, не взглянул на берег с застывшим, вызывающим воспоминания выражением лица, старательно царапая свою спину обеими руками. Все мы начали вглядываться,

4 Примечания: 4
Spandangalous (*лат.*) — солнце Спандана. — *Примеч. пер.*

никто никогда не видел его появления прежде, и когда мы вспомнили, что он, должно быть, занимал весь нижний проход своей койкой, то единственная вероятная причина его появления стала шокирующе очевидной.

Я почти забыл сказать про другого нашего пассажира, маленького мальчика, ростом не выше четырёх футов, английского паренька, который, когда мы прошли приблизительно сорок восемь часов от Нью-Йорка, внезапно появился на палубе, прося что-нибудь поесть.

Оказалось, что он был сыном плотника, вдовца, кто с этим единственным ребёнком приехал в Америку на «Горце» приблизительно шесть месяцев назад, где он впал в запой и скоро умер, оставив мальчика одиноким сиротой в чужой стране.

В течение нескольких недель мальчик бродил вдоль причалов, прибегая к сомнительным средствам к существованию, как то высасыванием патоки из освободившихся бочек с судов из Вест-Индии, а иногда угощая себя случайными апельсинами и лимонами, плавающими в доках. Иногда он проводил свои ночи в киоске на рынке, иногда на пустой большой бочке на пирсе, иногда в дверном проёме, а однажды в караульном

помещении, из которого он сбежал следующим утром, проскочив, как он сказал мне, прямо между ног привратника, когда тот делал нагоняй другому бродяге за неоднократно покинутые общественные благотворительные учреждения.

Наконец, слоняясь вдоль доков, он случайно заметил «Горца» и немедленно признал его тем самым судном, который привёз его и его отца из Англии. Он сразу же решил вернуться на нём и, обратившись к капитану, изложил свои доводы и по просился на борт. Капитан отказался брать его, но, нисколько не обескураженный, героический малыш решил скрыться на борту до отплытия судна, что он и сделал, как он рассказал нам, спрятавшись затем между палубами и, кроме того, в узком пространстве между двух больших бочек с водой, из которого он время от времени высовывал голову ради свежего воздуха. И только пассажир третьего класса как-то раз поднялся ночью, засунул палку и погрохотал ею там, где был мальчик, думая, что тут живёт необычно большая крыса, которая украдкой плывёт через Атлантику. Есть много таких пассажиров, постоянно курсирующих между Ливерпулем и Нью-Йорком. Как только он обнародовал факт того, что он оказался на борту — чего не должно

было случиться, пока он не решит, что судно уже находится вне видимости с берега, — капитан вызвал его на корму и после предоставления ему полной встряски и угрозы выбросить за борт, как лакомый кусочек, Джону Акуле, приказал помощнику послать его на бак к матросам и позволить ему жить там. Матросы приняли его с распростёртыми объятьями, но, прежде чем обласкать, полностью помыли в шпигатах, причём он оказался вполне симпатичным пареньком, но худым и бледным из-за пережитых испытаний. Однако при хорошем уходе и неплохой еде он скоро похорошел и располнел и спустя много дней выглядел прекрасным малышом, как будто приведённым из детского сада королевы Виктории. Матросы проявили интерес к нему. Один из них сделал для него маленькую шляпу с длинной лентой, другой — небольшой жакет, а третий — смешную маленькую пару штанов военного образца, так что в конце концов он стал похож на юного помощника боцмана. Тогда повар снабдил его небольшим оловянным горшком и кастрюлей, стюард подарил ему оловянную чайную ложку, а пассажир третьего класса дал ему карманный нож. И, снабжённый всем этим он сидел во время еды посередине

лестницы на баке, весело, как при игре в крикет, орудуя большой ракеткой в своём горшке или в кастрюле. Он был необыкновенно прекрасным, весёлым, умным, проказливым малышом, всего шести лет от роду, и было тысячу раз жаль, что его нужно будет оставить как есть. Кто может сказать, был ли он обречён стать преступником в Новом Южном Уэльсе или членом парламента от Ливерпуля? Когда мы добрались до порта, для него, между прочим, был собран кошелёк, капитан, офицеры и таинственный каютный пассажир посодействовали этой прекрасной инициативе, а матросы и небогатые пассажиры третьего класса собрали что-то около пятнадцати долларов в наличных деньгах и пачках табака. Но я почти забыл добавить, что дочь владельца дока отдала ему прекрасный кружевной носовой платок и футляр, чтобы он помнил о ней, очень ценный, но несколько несоответствующий ему подарок. И столь обеспеченный дарами, маленький герой причалил самостоятельно, и я потерял его из виду среди широких толп, наполняющих доки в Ливерпуле.

Здесь стоит упомянуть о некотором смягчении характера Джексона, который, должно быть, произвёл впечатление на читателя, несколькими

способами он вначале оказывал поддержку этому мальчику, но мальчик всегда уклонялся от неё до тех пор, пока уязвлённый в последний раз его поведением Джексон не перестал с ним больше разговаривать и, казалось, возненавидел его, ни в чем не повинного, наряду со всей остальной частью мира.

Что касается ланкаширского парня, то он был глупым парнем, как я намекал ещё прежде. Он был настолько малоинтересен, что когда, наконец, ему разрешено было сойти на берег, то это произошло без прощания с кем-либо, кроме как с одним человеком.

Глава XXIV
Он начинает скакать по оснастке, как обезьяна Святого Якова

Но мы ещё не добрались до Ливерпуля, и если сказать немного больше об этом переходе, то «Горец» мог бы поставить паруса и добраться туда ещё быстрее. Краткие промежутки времени можно было бы использовать, заполнив их дальнейшим изучением матросских обязанностей.

После моего героического подвига с высвобождением главного трюмселя помощник капитана порадовался хорошей перспективе моего превращения в ценного моряка. От широты своего сердца он приказал мне вернуть управление курятником ланкаширскому мальчику, что я и сделал весьма охотно. После этого я озаботился показом предельной живости в передвижении наверх, которое к этому времени стало простой забавой для меня, и ничего не восхищало меня больше, чем сидение на одной из площадок топселя в течение многих часов вместе с Максом или Гренландцем, помогая им работать с оснасткой.

В море матросы всё время заняты «распределе-

нием», «обслуживанием» и тысячами способов украшать и восстанавливать бесчисленные паруса и подпорки, чинить паруса или превращать одну из сторон палубы в канатный двор, где они производят грубый шпагат, называемый «шкимушка». Её прядут при помощи лебёдки, и много часов парень из Ланкашира должен был играть роль её привода. Для материала использовались ненужные детали старой оснастки, называемой утилём, пряжа из которого выбиралась по частям, а затем свивалась в новых комбинациях, подобно тому, как производится большинство книг. Это барахло покупается в лавках старьёвщиков, стоящих вдоль причалов, диковинных на вид логовах, совсем глухих, заполненных старым железом, старыми парусами, штангами, ржавыми блоками и устаревшими инструментами и стариками в просмолённых штанах, с жёлтыми, как пакля, бородами, уставившимися злодейскими взглядами. Они смотрят, как злоумышленники, и рассыпанное добро они выставляют для продажи, непреднамеренно напоминая один из морских берегов, покрытый килями и такелажем, сметёнными на берег во время бури.

Да, я был теперь столь же ловким в оснастке, как обезьяна, и при крике «подскочи туда, мой

сердечный, и возьми парус» оказывался среди первых воздушных акробатов, которые подскакивали наверх при первом же слове.

Но в первый раз мы зарифляли топсели тёмной ночью, и сам я нависал над палубой вместе с одиннадцатью другими матросами; судно погружалось и поднималось, как бешеная лошадь, и я не испытывал желания оттолкнуться от штанги; тогда, действительно, я думал о домашней перине и держался зубами и когтями без малейшего шанса похрапеть. Но после нескольких повторений, наскоро сделанных, я привык к этому и в ближайшее время уже связывал свою точку рифа так же быстро и квалифицированно, как лучший из них, никогда не делая того, что называют «бабушкиным узлом», и запросто спал внизу на голой палубе как есть, без подстилки. Удивительно как скоро мальчик преодолевает свою робость перед высотой. Сами мои нервы стали столь же непоколебимыми, как диаметр Земли, и я чувствовал себя столь же бесстрашным на королевском дворе, как Сэм Пэч на ниагарском утёсе. К моему изумлению, я также обнаружил, что развёртывать оснастку в море, особенно во время шквала, было намного легче, чем во время стоянки в порту, поскольку всегда, когда вы

поднимаетесь по наветренной стороне и судно наклоняется, оснастка поднимается выше, тогда как в гавани она висит почти отвесно.

Кроме того, подача и вращение только придают приятную живость судну, так, различие между нахождением наверху судна в море и в гавани в значительной степени такое же, как между поездкой на реальной живой лошади и на деревянной. И даже если живой боевой конь перебросит вас через свою голову, то это намного солидней, чем бесславное падение с коня деревянного.

Я испытал большое наслаждение, сворачивая главные галантные паруса и королевское семейство в тяжёлый свёрток, что потребовало усилий обеих рук.

Это было дико горячо — прекрасное стремительное движение крови в сердце и радостное, волнующее пульсирование целой системы — самому оказаться подбрасываемым при каждом движении в облака бурного неба и парить подобно рассудительному ангелу между небесами и землёй, освободив обе руки, одной ногой стоя на оснастке и отставив другую в воздух где-то позади себя. Парус наполнялся подобно воздушному шару, выстреливая как маленькое орудие,

а затем сдувался и далее сжимался в горстку. И от чувства овладения непослушным холстом, и от его привязки к штанге, словно раба, и многократного прикрепления к прокладке ощущалась лёгкая гордость и власть, какую, должно быть, чувствовал молодой король Ричард, когда он растоптал в прах повстанцев Уота Тайлера.

Что касается руля, то мне никогда не позволяли встать у руля, кроме как во время штиля, когда я и номинальный Глава корабля оказывались заняты одним делом.

Между прочим, этот номинальный Глава был пассажиром, о котором я прежде забыл упомянуть.

Он был галантным человеком ростом в шесть футов, горцем «при всём параде», в яркой клетчатой материи, с голыми коленями, полосатыми леггинсами, синей шляпой и круглыми ярко-красными щеками. Он играл со своей деревянной сущностью и противостоял ей, несмотря ни на то, что одна его нога была немного отставлена, а правая рука была протянута вперёд, делая вызов волнам. Было наслаждением во время бури наблюдать за ним, героически стоящим на своём посту и погружающимся в водяные горы и Среднешотландскую низменность, когда судно

попадало в них на своём пути. Он был ветераном со многими ранами от многих морских боев, и к нему в Ливерпуле пришёл его номинальный создатель, ампутировал его левую ногу и дал ему другую, деревянную, к сожалению, не вполне соответствующую ему, после чего он смотрелся так, будто он хромал. Затем этот номинальный Глава медицинской службы создал ему другой нос, исправил один глаз и восстановил свежесть его тартана. Живописец приходил позже и переделывал его туалет снова и снова, создавая ему абсолютно новый костюм с прекрасным пледом.

Я не знаю, что случилось с Дональдом теперь, но надеюсь, что он в безопасности и с приличной пенсией разместился в «Уютной матросской гавани» на Стейтен-Айленде.

Причина, по которой мне предоставили столь малый шанс выучиться стоять за рулём, состояла в следующем. Я был довольно молодым и неопытным, а управление судном является большим искусством, от которого многое зависит, особенно на коротких переходах, поскольку, если рулевой будет неуклюжим, небрежным парнем или неосведомлённым о своих обязанностях, то он держит в руках судно, идущее в меланхолическом неведении относительно места назначения;

так, что при путешествии в Ливерпуль какое-то время указателем может служить Гибралтар, затем Роттердам, а теперь вот Джон О'Гротс; и всё это плохо, так как время потрачено напрасно. Примите во внимание, что истинный рулевой держится за свою работу ночью и днём и пытается проложить прямую от порта до порта.

Затем при внезапном шквале, невнимании или требуемой быстроте у руля судно может «дать крен» — или «увлечь за собой». И из-за этих вещей, о которых каютные пассажиры никогда не узнали бы, они обнаруживают самих себя тонущими, идущими вниз, вниз и кричащими слова прощания с луной и звёздами.

И многие из них, прекрасных господ и леди, мало понимают, какой он важный и насколько он почтенный, этот грубый парень в тужурке, которого они видят стоящим у рулевого колеса, затем поднимающим свои глаза вверх, а потом заглядывающим в компас или наблюдающим за встречным ветром.

Да ведь этот парень держит все ваши жизни и вечности в своей руке, и одно маленькое и почти незаметное движение спицы во время бури может предоставить широкое поле деятельности поверенным и адвокатам для подтверждения

последних завещаний и распоряжений.

Да, теперь вы можете к нему присмотреться. Он не очень напоминает человека, который мог бы сыграть на руку наследнику по закону, не так ли? Такой вот казус. Поэтому понаблюдайте за ним исподтишка, пригласите его как-нибудь в своё купе после бури, и вы приобретёте друга. Стакан чего-нибудь крепкого этому поспособствует. И если вам или вашим наследникам интересна компания страховщиков, то тогда также следите за ним. И если вы замечаете, что все члены команды, все матросы, что встают у руля, небрежны или неумелы, или если вы наблюдаете за капитаном, часто их ругающим и кричащим: «Наветренная сторона, мошенник, она опадает!» или «Держи его крепче, негодяй, ты упаковываешь компас!» — то быстро спуститесь в вашу каюту и если вы пока ещё не составили завещание, то достаньте вашу канцелярскую бумагу и пойдите к страховщикам и после всего запечатайте его в бутылку, как завещание Колумба, и, возможно, её прибьёт к берегу, когда вы утонете в следующую бурю.

Глава XXV
Обстановка квартердека

Хотя причины, на которые ранее делались намёки, не позволяли мне встать у руля, я удовлетворился изучением компаса, изображение которого я перенёс на чистый лист «Богатства народов» и изучал его каждое утро, как таблицу умножения. Мне понравилось заглядывать в нактоуз и наблюдать за стрелкой компаса: я задавался сухим вопросом, как получалось, что она указывала на север, а не юг или запад, ведь я не знал причину, объясняющую, почему она указывает точное направление. Можно также решить, что поскольку почти с начала миров поток эмиграции определился в западном направлении, то и игла должна была бы указывать туда же, тогда как она всегда указывает на полюс, где мало стимулов для привлечения матроса, разве что большого количества льда для джулепов[5]. Наш нактоуз, между прочим, был местом, на котором находись судовые компасы,

5 Примечания: 5
Джулеп — разновидность коктейля. — *Примеч. пер*

и заслуживает упоминания. Это был небольшой домик, по величине с обычный птичий вольер со скользящими дверными панелями и двумя гостиными внутри, постоянно взгромождаемый на стенд прямо перед рулём. У него было два дымохода для удаления дыма от лампы, которая горела в нём ночью.

Он был зелёного цвета и с двух сторон имел жалюзи, а с одной стороны — два застеклённых пояса, отчего был похож на небольшую прохладную летнюю веранду или аккуратную деревянную беседку в конце тенистого садового переулка. Был бы я капитаном, то посадил бы виноградные лозы в ящиках и разместил бы их так, чтобы наполнить этот нактоуз, или посадил бы внутрь канареек, и получился бы птичий вольер. Удивительно, что рукой, обладающей тонким вкусом, можно передать разный характер при помощи самых посредственных вещей. Не стоит мне опускать и описание руля, который был новой конструкции и находился в особом почёте у капитана. Это была сложная система винтиков, колёс и шпинделей, целиком из полированной меди и выглядевшая временами как печатный или ткацкий станок. Матросам, однако, он очень не нравился из-за травм, которые происходили

с их неблагоразумными пальцами, зажатыми между винтиков и других запутанных приспособлений. Кроме того, иногда во время штиля, когда внезапные волны поднимали судно, руль накренялся и раскручивал рулевого, вращая его, как Иксиона, и часто причиняя ему серьёзную боль, производя своего рода ломку на колесе.

Бочка с провизией, будучи своеобразным морским буфетом или, скорее, холодильником, в котором хранился недельный запас солёной свинины и говядины, также заслуживает замечаний. Она была частью постоянной мебели квартердека. Имея овальную форму, она была скреплена по кругу обручами из цельного позолоченного серебра с позолоченными полосами, снабжёнными позолоченными винтами и позолоченным замком, богато гравированным. Бочка создавала курительное место капитана, куда он взгромождался, надев китайскую кепку на свою голову и сжимая своими белыми собачьими зубами ароматную «гавану». Вы заполучили много основательного комфорта, капитан Риг!

Затем великолепный штурвал! Гордость и слава всей судовой компании, находящийся под постоянным уходом и лаской любимого повара, чьей обязанностью было сохранять его полиро-

ванным как заварной чайник, и он был объектом восхищения отдалённых пассажиров третьего класса. Словно отдельный кабинет, он стоял целиком посреди квартердека, сияя медными звёздами и разнообразными ромбовидным кусочками облицовки из красного и атласного дерева. Это была гостиная капитана, и старший помощник-секретарь в барных нишах держал бумагу и карандаш для заметок.

Я мог бы продолжить, рассказав о кушетке, используемой офицерами в качестве своеобразного дивана, и дудочной рейке вокруг грот-мачты, присовокупив рассказ о маленьком ящике с зелёным холстом, где маленькая белая собачка с синей лентой вокруг шеи, принадлежавшая дочери владельца дока, привыкла совершать свои самостоятельные утренние прогулки и дышать воздухом на этом маленьком кусочке нью-йоркской лужайки для игры в мяч.

Глава XXVI
Матрос – это мастер на все руки

Поскольку я начал изучать свои матросские обязанности и показал проворство в лазании по верхам, то матросы, как я заметил, стали относиться ко мне с несколько большим уважением, впрочем, нисколько не расслабляясь в своём характере определённого профессионального превосходства. Простое знание названий снастей и самостоятельное ознакомление с их местоположением, так чтобы можно было схватить их в самую тёмную ночь, выпускание и сворачивание холста, рифление топселей и перемещение скоб, — всё это, конечно, формирует ту обязательную часть призвания моряка и дела, которым он преимущественно занят, но все эти способности, обычно вскоре приобретаемые новичком, ценятся намного ниже в сравнении со многими другими, имеющими значение для «умелого матроса».

Что я знаю, например, об ударе брам-стеньги и отправке её вниз на палубу во время бури? Могу ли я развернуться в юферсе или в одобряемом

навигационном стиле задвинуть схваченную опору? Что я знаю о «процессе засаливания окорока», «взятии Бёртона», «затягивании тормоза», «очистке грязного клюза» и других неисчислимых сложностях?

Главное в настоящем матросе — ответ на особый вопрос, насколько он хорош как плотник или слесарь. Действительно, это требует значительно большей ловкости и намного больше разнообразных талантов.

В английском торговом флоте мальчики проходят обучение в море с семи лет. Большинство из них сначала становится ньюкаслскими угольщиками, где они видят большую серьёзную каботажную службу. В старой копии «Писем Джуниуса», принадлежащей моему отцу, я, помнится, прочитал, что уголь, доставляемый в лондонский Сити, мог быть вырыт в Блэкхите и продан за полцены, которую лондонцы тогда платили за него, но правительство не потерпело бы открытых шахт, так как они разрушили бы большой питомник британских моряков.

Совершенный матрос должен хорошо разбираться в разных ремёслах. Он отчасти должен быть вышивальщиком, чтобы разрабатывать причудливые воротники пенькового кружева па-

русов; он должен быть кем-то вроде ткача, чтобы соткать из верёвочной пряжи циновок лодочные привязи; он отчасти должен быть шляпником, чтобы вязать изящные банты и узлы, такие же, как розы Мэтью Уокера, и турецкие узлы; он должен что-то понимать в музыке, чтобы петь, находясь в фалах; он отчасти должен быть ювелиром, чтобы установить юферс в положение оснастки; он должен быть плотником, чтобы суметь сделать мачту из реи в случае крайней необходимости; он должен быть швецом, чтобы починить и исправить паруса; канатчиком, чтобы окрутить марлиней и испанских лис; кузнецом, чтобы сделать крюки и напёрстки для блоков; короче говоря, он должен быть своеобразным мастером на все руки, чтобы справиться с приведением в порядок себя самого. И так, возможно, по большей или меньшей мере, в значительной степени обстоят дела со всем, что нас окружает, поскольку вы ничего не знаете, пока вы не узнаете всего, что и является причиной того, что мы никогда всего не узнаем.

Также матрос при работе с оснасткой использует специальные необычные инструменты в зависимости от своей потребности — клинья, молотки-мушкели, коленчатые рычаги, шила,

свайки, зажимы, ваги и многое другое. Редкие виды инструмента он обычно носит с собой с судна на судно в свое образной брезентовой сумочке.

Оценка, в которой члены экипажа выражают своё мнение об этих знаниях, заключена в уважительной фразе, относимой к такому умному практику. Отличая такого моряка от тех, кто просто «хватай, зарифь и рули», то есть беги наверх, сверни паруса, тяни трос и стой у руля, они говорят, что это — «человек-матрос», что он не только знает, как зарифить топсель, но и то, что сам он художник по оснастке.

Сейчас же — увы! — мне не предоставили ни единого шанса, чтобы я начал преуспевать в этом искусстве и его таинствах, по крайней мере, не более чем наблюдать и смотреть, как эти вещи можно сделать так же хорошо, как другие, из-за чего я и отправился в это путешествие на «Горце», к тому же в короткое путешествие; и не имело смысла преподавать мне какие-либо знания, плоды которых смогло бы пожать только следующее судно, которому я стал бы принадлежать. Всё, что они хотели от меня, так это рвение моих мышц и использование моего хребта — сравнительно короткого, каковой и был у меня в это время, — в качестве плечевого рычага для

вышеупомянутых художников, когда он им потребуется. Соответственно, когда предполагалась какая-либо вышивка в оснастке, меня призывали к самому бесславному занятию, поскольку в торговой службе это религиозный принцип — всегда занимать руки той или иной работой, неважно какой, во время вахты на палубе.

Часто меня, снабжая кувалдой, подвешивали вдоль борта на булине, чтобы сбить ржавчину с якоря: самое монотонное и, по мне, самое неподходящее и надоедливое занятие. Это была замечательная смерть для разных молотков, которыми я пользовался. Так или иначе, но они выпадали из моих рук в море. Но запас молотков казался неограниченным, кроме того, я получал проклятия и благословения от старшего помощника из-за моей неуклюжести.

В другой раз меня засаживали выщипывать паклю, как преступника, у которого пеньковый процесс вызывал неприятные мысли о верёвочной петле и виселице, или же строгать кофель-нагели, как жителя Новой Англии.

Однако я пытался переносить всё это как молодой философ и коротал утомительные часы, согнув руки и пристально смотря через иллюминатор, повторяя «Обращение лорда Байрона

к Океану», которое я часто зачитывал, учась у себя дома в средней школе.

Да, я привык ко всем этим работам и воспринимал по большей части прохладно, в духе Сенеки и стоиков.

Привык ко всему, кроме таких вот «оказий» или подъёма с моего места, когда вахту вызывали ночью — чего я никогда не предполагал. Это было особое знакомство, от которого, чем больше я познавал дело, тем больше уклонялся, действительно, неблагодарное, горькое занятие.

Положим, что после ходьбы по палубе в течение всех четырёх часов вы укладываетесь спать: и в то время, пока ваши утомлённые конечности просто отдыхают, вы встаёте — это кажется лишь следующим моментом после закрытия вами крышки люка — и поспешно идёте по палубе снова той же самой, страшно тёмной и, возможно, бурной ночью, во время которой вы спускались в бак.

Предыдущий тихий час был почти полностью потерян для меня, по крайней мере, эту прекрасную возможность нельзя было использовать: хоть обычно он и считается удобным для сна, всё же в это время никто сам сознательно сном не наслаждается. Поэтому я заключил маленький

договор с ланкаширцем, который был в другой вахте, иногда всего лишь сойти вниз, потрясти меня и прошептать мне на ухо: «Посмотри вниз, Пуговка, посмотри вниз», — что приятно напомнило бы мне о том, что я не сплю. Тогда я переворачивался на свою сторону и засыпал другим сном, и таким путём я, в отличие от других матросов, наслаждался несколькими полными часами на своей койке. Я рекомендую всем сухопутным жителям рассмотреть возможность морского путешествия.

Но, несмотря на все эти затеи, ужасного продолжения невозможно было избежать. Восемь склянок, наконец, пробивало, и матросы на палубе, подбодрённые перспективой меняться местами с нами, вызывали другую вахту в более провокационной, но в радостной и остроумной манере.

Вот, например: «Вахта правого борта, на палубу! Восемь склянок уже пробило! Выскакивайте, мои живые и сердечные, пароход рядом жаждет ваших тел: коснитесь руками, коснитесь руками ваших коленных пряжек, мои милые и прекрасные друзья! Здесь на палубе прекрасный душ. Ура, ура! Ваше мороженое уже на холоде!»

После чего некоторые старые ворчуны, которые

влезали в свои штаны, отвечали: «О, не остановить ли вам ваше бормотание? Не поспешить ли вам сейчас? Как это мило, не правда ли?» — и другие восклицания, часть из которых была полна ярости.

И немного любопытно было бы отметить, что по истечении следующих часов столы разворачивались, и мы на палубе становились остряками и шутниками, а те, что внизу, — медведями-гризли и ворчунами.

Глава XXVII
Ему удаётся взглянуть на Ирландию и, наконец, достичь Ливерпуля

«Горец» был не грейхаундом, а весьма медленным кораблём, и тот переход, который некоторые пакетботы совершают за пятнадцать или шестнадцать дней, занял у нас приблизительно тридцать.

Наконец, когда однажды утром я вышел на палубу, мне сказали, что по курсу у нас Ирландия.

Ирландия по курсу! Воочию видимая другая страна! Я с трудом всмотрелся, но увидел только синеватое, подобное облаку пятно на северо-востоке. Была ли это Ирландия? Да ведь не было ничего поразительного в этом, никакого потрясения. Если так выглядит чужая страна, то я мог бы увидеть то же самое и дома.

Точно сказать не могу, каким именно мне представлялся берег, но у меня было смутное представление, что он будет каким-то необычным и замечательным. Однако он был там, и так как становилось светлее, и судно подходило все

ближе и ближе, то земля начала увеличиваться, и я пристально смотрел на неё с возрастающим интересом.

Ирландия! Я думал о Роберте Эммете, и о его последней речи перед лордом Норбери, я думал о Томми Муре и его любовных стихах, я думал о Керрэне, Граттане, Планкете и О'Коннелле, я думал о моём дяде конюхе Патрике Флиннигане, и я думал о кораблекрушении величавого «Альбиона», разбитые части которого виднелись на самом берегу, и понял, что мне очень хочется оставить судно и посетить Дублин и Дорогу гигантов.

Тут как раз приблизилось рыболовное судно, и я помчался, чтобы увидеть его, но это была совсем обычная лодка, подпрыгивавшая, как и любая другая; тогда я полагал, что одинокий человек в ней был фактическим уроженцем увиденной земли и что, вероятней всего, он никогда не бывал в Америке и ничего не знал о моих домашних друзьях, и ещё я начал думать, что он выглядит несколько по-иному.

Он оказался очень шустрым малым и, как только мы оказались на расстоянии приветствия, крикнул: «Ах, мои прекрасные матросы, вы не с Америки ли, мои красивые?» И, в конце

концов, призвал нас остановиться и бросить верёвку. Думая, что он хочет при помощи верёвки передать что-то важное, помощник капитана, соответственно, пошёл на корму и бросил верёвку, которую незнакомец схватил, как волок, и начал наматывать её снизу, крича: «Платите! Платите, мои медовые, ах! Но вы — благородные ребята!» — пока, наконец, помощник капитана не спросил его, почему он не пристал рядом, добавив: «Не достаточно ли уже верёвки?»

«Уверен, что так оно и есть, — ответил рыбак, — и для Пэта настало время, чтобы обрезать и убежать!» — и после этих слов его нож разрезал верёвку, и с килкенской усмешкой он прыгнул к своему румпелю, развернул своё небольшое судно по ветру и уплыл подальше от нас с приблизительно пятнадцатью морскими саженями нашего каната.

«И может, кто-то догонит тебя и повесит на украденной тобой же пеньке, ирландский ты подлец!» — закричал помощник капитана, грозя кулаком удиравшей разбойничьей лодке, как только пришёл в себя от своего первого приступа изумления.

Вот здесь в тот момент и произошло красивое введение в восточное полушарие, любезное

ограбление под прикрытием высокопарных слов. Этот трюк с опытными путешественниками, конечно, побивает всё то, что я когда-либо слышал о деревянных мускатных орехах и семенах американской липовой тыквы в Коннектикуте. И я подумал, что коробейники-янки могли бы оказаться ещё большими мошенниками, превосходящими таких вот ирландцев, как наш друг Пэт.

Следующей землёй, которую мы увидели, был Уэльс. Это было на рассвете, и длинная линия фиолетовых гор лежала как гряда облаков на востоке.

Это действительно Уэльс? Уэльс? — и я подумал о принце Уэльском.

И здесь живет настоящая королева, увенчанная диадемой от той самой земли, на которую я глядел своими глазами своей же собственной головы? И затем я подумал про своего деда, который сражался против предка этой королевы на Банкер-Хилле.

Но, в конце концов, общее впечатление от этих гор было давящее, подобное общему впечатлению от Катскиллских гор на реке Гудзон.

На следующий день мы плыли при лёгком бризе, когда обошли Холихед и Англси. Затем на-

ступил почти штиль, и тот слабый ветер, что ещё оставался, дул навстречу, и так мы продолжали лавировать туда и сюда, просто скользя по воде и постоянно находясь на виду у дальней белоснежной башни, которая, возможно, была фортом или маяком. Я терялся в догадках относительно того, какие люди могли занимать столь уединённое здание, и знали ли они что-нибудь о нас.

На третий день при хорошем ветре по гакаборту мы настолько близко подошли к нашему месту назначения, что в сумраке взяли лоцмана.

Он и всё, что с ним было связано, очень отличались от нашего нью-йоркского лоцмана. Во-первых, катер, который привёз его, был настоящим шлюпом с хрипевшими в воде плоскими бортами, вполне отличавшимся от простой небольшой шхуны, что выходила к нам на прощанье с Сэнди Хука. На борту её было десять или двенадцать других лоцманов, мужчин с косматыми бровями, закутавшихся в ворсистые пальто, сидящих группой на палубе, подобно семейству медведей, зимующих в Арустуке. У них, должно быть, настал прекрасный момент для совместного общения при выполнении круиза по Ирландскому морю с целью поиска направлявшихся в Ливерпуль судов: покурить сигары, выпить бренди

с водой и насучить словесную пряжу, покуда все они, один за другим, не рассеялись по различным судам и пока не встретились снова возле сверкающего, горящего морского угля в некой ливерпульской пивной и не стали готовиться к новому плаванию. Теперь, когда этот английский лоцман пересел к нам, я уставился на него, как будто он оказался похож на некое дикое животное, запросто сбежавшее из зоологического сада: и всё из-за того, что он здесь был настоящим живым англичанином, только что из Англии. Тем не менее, как только он начал тут и там распоряжаться и громко ругаться на довольно знакомом мне языке, я понял, что в нём, в конце концов, нет ничего особенного и важного.

Приблизительно до полуночи мы плыли, пока не поднялись к устью Мерси, и следующим утром перед рассветом взяли первый прилив, с попутным ветром войдя в реку, которая в своём устье оказалась настоящим узким морским заливом. В это время в туманных сумерках мы прошли мимо огромных бакенов и заметили отдалённые бесформенные тёмные силуэты на берегу, похожие на призраков Оссиана.

Я как раз перегнулся над фальшбортом и пытался воссоздать некое изображение Ливерпуля,

чтобы увидеть, как ответит действительность на это моё желание; и в то время как мгла, туман и серый рассвет наделяли каждую вещь таинственной привлекательностью, я был поражён печальным, заунывным голосом большого колокола, медленный прерывающийся погребальный звон которого, казалось, звучал в унисон с торжественным бегом волн. Я решил, что никогда не слышал настолько предвещающего беду звука, звука, который, казалось, говорил об осуждении и воскрешении, как в случае с обращением святого Павла из Тарса.

Он шёл не с берега, а казалось, выходил из глубин моря, из мглы и тумана.

Кого ждёт смерть, и какой она будет?

Я скоро узнал от своих товарищей по плаванию, что это был так называемый Заупокойный бакен, который полностью оправдывал своё имя, и звонил он быстро или медленно, согласно поведению волн. Во время штиля он нем, при лёгком бризе он слабо звонит, но во время бури этот звуковой сигнал тревоги звучит как набат, призывающий всех моряков к бегству. Но мне этот звон больше казался панихидой по прошлому, чем предвестием будущего, и никто не мог, прислушавшись к нему, не подумать о матросах,

что спят глубоко на морском дне.

Так мы и шли вперёд по узкой реке. Наступил день, и вскоре, пройдя два высоких ориентира на Ланкаширском берегу, мы быстро приблизились к городу и, наконец, пристали, чтобы бросить якорь по течению.

Глядя на берег, я видел высокие ряды тёмных складов, которые очень контрастировали с чудесным окружением, и в большинстве своём неожиданно оказались подобием складов вдоль Южной улицы в Нью-Йорке. В них не было ничего странного, ничего необычного. Там они и стояли: ряды холодных и собранных складов, несомненно, очень хороших и солидных зданий, и, наконец, превосходно устроенных, с точки зрения строителей, но это были всего лишь простые, сухие склады, и это всё, что можно было сказать о них.

Безусловно, я не ждал, что каждый дом в Ливерпуле окажется Пизанской башней или Страсбургским собором, но эти здания, я должен признаться, печально и горько разочаровали меня.

Но китобой Ларри думал иначе. Он, к моему удивлению, с восхищением озираясь вокруг себя, воскликнул: «Да ведь это важное место,

я — пустышка, если это не так. Да ведь их дома — внушительные здания. Это круче побережья Африки, там всё пусто, ничего схожего с Мадагаске, я говорю вам; я — пустышка, парни, если Ливерпуль не город!»

На этот раз, действительно, Ларри целиком позабыл о своей враждебности к цивилизации. Будучи долго приучен связывать другие страны с дикими местами в Индийском океане, он пребывал в уверенности, что Ливерпуль должен быть городом из бамбука, расположенным на некоем болоте, чьи жители обращали своё внимание преимущественно на культивирование кампешевого дерева и на заготовки летучих рыб. О том, что какой-то великий торговый город мог существовать в трёх тысячах миль от дома, у Ларри прежде никогда не было «понимания смысла». Он был одновременно удивлён и восхищён и начинал ощущать своеобразное понимание страны, в которой имелся настолько обширный город. Королева Виктория заняла место наравне с королевой Мадагаскара, к которой он привык, и с тех пор он ссылался на первую леди с чувством уважения.

Что касается других моряков, то вид чужой страны, казалось, не разжигал в них вообще никакого

энтузиазма: никакой эмоции ни в малейшей степени. Они смотрели вокруг себя с большим воодушевлением и действовали точно так же, как если бы вы или я после утреннего отсутствия окружающих знакомых контуров самостоятельно нашли бы обратный путь домой. Почти все они часто путешествовали в Ливерпуль.

Но после постановки на якорь несколько лодок отошло от берега, и с одной из них взошла на борт аккуратно одетая и очень респектабельная с виду женщина в возрасте около тридцати лет, как мне думалось, несущая узелок. Оказавшись среди матросов, она спросила о голландце Максе, который немедленно предстал перед ней и поприветствовал её сладкозвучным именем Салли.

Тогда во время перехода Макс, рассуждая со мной о Ливерпуле, часто уверял меня, что в городе имеет честь жить его супруга, и, по всей вероятности, я испытаю удовольствие, увидев её. Но, услышав очень много историй о двубрачии моряков и о том, что они имели жён и возлюбленных в каждом порту по всему миру, и будучи очевидцем брачного союза между этим любвеобильным Максом и леди в Нью-Йорке, я подавил критическое отношение к нему, поскольку эта

мысль могла бы мне дорого стоить. Мне было удивительно, что эта действительно достойная, воспитанная женщина идёт с аккуратным пакетом береговой одежды для Макса, полностью выстиранной, выглаженной и увязанной, готовясь упреждающе её выложить.

В этом и проявляются некоторые моменты, дающие радость и удовольствие при такой транспортировке, которые всегда имеют место, как я полагаю, у мужа и жены после дол гой разлуки.

Наконец, после многих серьёзных вопросов относительно того, как он сам вёл себя в Нью-Йорке, и относительно состояния его гардероба, спустившись на бак и осмотрев его лично, Салли отбыла, обменяв свой узел из чистой одежды на узел из грязной, точно так же, как нью-йоркская жена сделала это для Макса не далее как тридцать дней назад.

Пока мы стояли в порту, Салли ежедневно посещала «Горец» и показала себя аккуратным и быстрым получателем парусиновых платьев и брюк; она была солидной портнихой и, насколько я могу судить, очень осторожной и уважаемой женщиной хорошего поведения.

Но из того, что я видел, я должен предположить, что и Мэг, нью-йоркская жена, была одинаково

хорошего поведения, осторожная и уважаемая и одинаково посвящённая в дело содержания гардероба Макса в хорошем состоянии.

И когда мы уезжали, наконец, из Англии, Салли прощалась с Максом словами «до свидания» точно так же, как это делала Мэг; и когда мы достигли Нью-Йорка, Мэг приветствовала Макса точно так же, как Салли приветствовала его в Ливерпуле. Действительно, пара весьма любезных жён никогда не принадлежала одновременно одному человеку, они никогда не ссорились, и у них не имелось каких-либо противоречий, вся широкая Атлантика пролегала между ними, и Макс был одинаково вежливым и общительным с обеими. Много лет он ходил в ливерпульские и нью-йоркские плавания, курсируя между женой и женой с завидной регулярностью, и был уверен в получении сердечного домашнего приёма на каждой из сторон океана.

Полагая, что такое его поведение, пожалуй, в целом неправильно и по-любому безнравственно, я как-то рискнул выразить ему своё мнение на этот счёт. Но больше так я никогда не поступал. Он повернулся ко мне в великом гневе и после обоснованного выговора за вмешательство в не мои собственные проблемы в конце

концов торжествующе спросил, не у старого ли царя Соломона, сына Давида, имелся целый фрегат с жёнами, и если так оно и было, то почему у него, бедного матроса, нет столь же веских прав иметь двоих? «Что не было неправедным тогда, праведно и сейчас, — сказал Макс, — поэтому считайся с увиденным, Пуговка, или я разобью твою перечницу ради твоей же пользы!»

Глава XXVIII
Он идёт ужинать под вывеской с изображением Балтиморского клипера

Днём наш лоцман продолжал отдавать множество приказов, мы с усилием подняли якорь и после растяжек, подтяжек и запирания других судов протиснулись через затвор в момент прилива и к темноте преуспели в том, чтобы дойти до места в Принцевом доке. Затем буксирные и остальные тросы смотали и членам команды приказали высадиться на берег, выбирать себе пансион и садиться ужинать.

Здесь стоит упомянуть, что вследствие строгой, но необходимой инструкции Ливерпульских доков никаких огней на судах, как и внутри судов разводить не позволяют, и, следовательно, если матросы планируют ночевать на баке, то они всё же должны будут получать свою еду на берегу или жить на холодном картофеле. К американским торговым судам применяется прежний план, судовладельцы, конечно, платят землевладельцам по счёту, который, при многочисленной

команде, остающейся в Ливерпуле больше чем на шесть недель, как наша команда с «Горца», не достигает значительной величины в расходах путешествия. Другие суда, однако, — экономные голландцы и датчане, например, а иногда и благоразумные шотландцы, — кормят своих просмолённых неудачников в доке той же самой едой, которую они дают им в море, доставляя свои просоленные отбросы на берег для приготовления, что, действительно, совсем не лечит цингу, а само по себе очень часто цингу и вызывает. Скупость, подобная этой, вызывает неизмеримое презрение у экипажей нью-йоркских судов, которые после подобного угощения несутся вскачь от своих капитанов.

Было довольно темно, когда все мы спрыгнули на берег, и я впервые почувствовал частицы пыли знаменитой британской почвы, проникшей в мои глаза и лёгкие. Что касается ходьбы по ней, то тут я разницы не почувствовал, поскольку мы шагали по хорошо проложенным и размеченным улицам, и у меня уже не было такой возможности некоторое время спустя, когда я уходил вглубь страны, а тогда я действительно увидел Англию и нюхнул её бессмертного суглинка — но только тогда.

Джексон привёл фургон и после остановки в таверне повёл нас вверх по улице и вниз, пока, наконец, не привёл к узкому переулку, заполненному пансионами, винными погребами и матросами. Здесь мы остановились перед изображением Балтиморского клипера, обрамлённого с одной стороны позолоченной гроздью винограда и бутылкой, а с другой — британским единорогом и американским орлом, лежащими рядом друг с другом, как лев и ягнёнок в «Декларации тысячелетия», — весьма благоразумный и изящный приём, тонко показывающий смысл умиротворения американских матросов в английским пансионе, никоим образом не умаляя честь и достоинство Англии, но ставя эти две страны воистину наравне.

Около единорога располагалось очень мелкое животное, которое сначала я принял за молодого единорога, но оно походило больше на годовалого льва. Оно держало на весу одну лапу, как будто в ней была заноза, а на его голове была своеобразная корзина с ручкой или низкая шляпа без полей. Я спросил стоящего матроса, что это за животное, когда, поглядев на меня с усмешкой, он ответил: «Да разве, мальчик, ты не знаешь, что это означает? Это — молодой осёл, ковыляющий

прочь из небольшой каюты с кружкой жаркого из риса и рыбы».

Хотя это был английский пансион, но его содержал увечный американский моряк, некий Денби, развратный, пустой малый, который женился на прекрасной английской женщине и теперь жил на её доходы, и леди, а не матрос, как рассказывали, была главой заведения.

Она была здоровой, красивой дамой приблизительно сорока лет от роду, и среди моряков была известна под именем «Красивая Мэри». Но хотя из-за распущенного характера своего супруга Мэри стала деловым персонажем дома, закупающим продукты, осматривающим столы и проводящим все наиболее важные работы, она ни в коем случае не была амазонкой для своего мужа, исполняя действительно мужскую роль в других делах. Но скажу более: жаль, что бедная Мэри, казалось, была слишком сильно привязана к Денби вместо того, чтобы стремиться управлять им как фурия. Она часто ходила по своему дому с горькими слезами на глазах, когда после пьяных припадков этот озверевший муж бил её. Матросы сочувствовали ей и много раз добровольно предлагали вздуть его у неё на виду, но Мэри просила их так не делать, поскольку

надеялась, что Денби, несомненно, в следующий раз будет хорошим мальчиком.

Но оказалось, что к этому нет никаких вероятных предпосылок, пока столь отвратительное препятствие стояло у нас на пути. Когда мы входили в проход, он смотрел на нас с боку, готовясь завлекать всех гостей.

Это был гротескная, старомодная, построенная в виде замка караульная будка, сделанная из дерева дымчатого цвета, с потёртым фасадом, который поднимался как опускная решётка. И здесь этот Денби сидел с утра до вечера, и когда клиентов становилось меньше, покровительствовал своему собственному пиву самостоятельно, заливая в себя кружку за кружкой, как будто взял на себя обязанность одной из собственных четвертных бочек.

Иногда, однако, приходил его старый близкий друг, некий Боб Стилл, и тогда оба они занимали караульную будку вместе со своим пивным пойлом. Этот собутыльник Денби был толст, как ломовая лошадь, и имел круглую, гладкую, жирную голову, мигающие глаза и влажные красные щеки. Он любил зычно горланить пивные песни и со своей кружкой, зажатой в руке, наклоняясь и высовывая большую часть своего тела из кара-

ульной будки, напевал:

Ни мороз, ни снег, ни ветер, я верю,
Не сможет боль мне причинить,
Если я пуст и весь погружён,
И весь окружён
Весёлым добрым старым элем.
И я наполняю
Мех до краю
Весёлым добрым старым элем.

Или это:

Терпеть я бренди не могу,
Как и вина четыре сорта.
А сок из ячменя
Как раз для меня!
Ведь он – суть солода,
И тем, кто пьёт его,
Совсем не нужно соли.
И вот теперь быстрей придите,
И пива этого хлебните,
И впредь вода вам будет не нужна!

Увы! Щедрая Мэри. Что поможет всем твоим

частым слезам и противостоянию неисправимому Денби, пока этот пивоваренный завод, пьяница Боб Стилл, ежедневно затмевает твой порог своим широким животом и возводит себя на престол в караульной будке, деля власть с вашим супругом?

Чем больше бездельник Боб пьёт, тем больше он толстеет, и столько же песен выливается из него, сколько вливается пива, согласно известному принципу, что воздух в сосуде перемещается и удаляется при повышении в нем уровня жидкости.

Но что касается Денби, то несчастный янки грустит от хорошего настроения и сохнет при каждом глотке живительного пива, которое он усваивает. Это просто и показательно, что много пива нехорошо для янки и действует на него иначе, чем на британца: пиво нужно пить в тумане и в дождь.

Войдя под вывеску с клипером, Джексон сопроводил нас в небольшую комнату по одной стороне, и вскоре Красивая Мэри любезно встречала нас и принимала комплименты от нескольких старых гостей из нашей команды. Потом она исчезла, чтобы приготовить наш ужин. Пока мои товарищи по плаванию были заняты пьянством

и разговорами со своими многочисленными старыми знакомыми из района, что скапливались у дверей, я остался один в небольшой комнате в глубоком размышлении насчёт того факта, что я теперь сижу на английской скамье под английской крышей в английской таверне, являясь неотъемлемой частью английской империи. Это был спорный факт, но тем не менее верный.

Я исследовал место повнимательней: это была длинная, узкая, маленькая комната с одним маленьким арочным окном с красными занавесками, выходящим на дымный, неопрятный двор, огороженный тёмной кирпичной стеной, верх которой был покрыт ужасными осколками старых разбитых бутылок, утопленных в растворе.

Унылая лампа качалась наверху, помещённая в деревянную посудину, привязанную к потолку. Стены были оклеены газетами, сообщавшими о бесконечной череде судов всех стран, всё время проплывающих мимо этой квартиры. В качестве иллюстрации, прилагаемой к одному из этих судов, на противоположной стене была повешена карта, представлявшая выцветшие флаги всех стран. С улицы доносился смешанный шум, состоящий из пения баллад, крика на женщин, младенцев и пьяных матросов.

И это — Англия?

Но где старые аббатства и йоркские церкви, и лорд-мэры, и коронации, и майские деревья, и охотники на лис, и Дерби, и герцоги и герцогини, и граф д'Орсэ, которого после всех моих чтений я привык связывать с Англией? Нет, не было заметно даже самого отдалённого их проблеска.

Увы! Веллингборо, подумал я, боюсь, что хоть ты и находишься здесь, но твой шанс посмотреть достопримечательности невелик. Ты всего лишь бедный юнга, и королева не собирается посылать депутацию дворян, чтобы пригласить тебя в собор Святого Иакова.

Тогда я начал понимать, что мои перспективы увидеть мир в качестве матроса оказались в конце концов очень сомнительными, ведь матросы только обходят кругом мир, не входя в него, и их воспоминания о путешествии — это только тусклое воспоминание о цепи пивных, окружающих земной шар параллельно экватору. Они всего лишь прикасаются к окружности, паря у края суши, и изучают землю лишь на причалах и на головных частях плавучих пирсов. Они так же мало мечтают о путешествии внутрь страны ради того, чтобы увидеть Кенилворт или

замок Бленема, как если бы, оказавшись в Неаполе, решили бы поехать к Папе Римскому.

Из этой мечтательности меня скоро вывела горничная, спешащая из комнаты в комнату, пронзительным тоном восклицая: «Ужин, готов ужин!»

Взойдя по хрупкой лестнице, мы оказались в комнате на втором этаже. Три высоких медных подсвечника проливали дымный свет на дымные стены, которые когда-то были синими, как море, покрытые матросскими каракулями из якорной брани, любовных сонетов и океанских частушек. На одной стороне, напротив деревянной обшивки было прибито четыре карточных валета подряд, каждый из которых пинал ногой впереди стоящего, как это обычно и бывает. Что они означали, я так никогда и не узнал.

Но такое изобильное приветствие! Стол трещал! Такое изобилие крепкого и питательного! Действительно ли возможно, чтобы матросы так жили? — матросы, которые живут в море на солёной говядине и булочке?

Прежде всего я увидел мощное оловянное блюдо, большое, как щит Ахиллеса, с пирамидой курящихся колбас. Оно стояло на одном конце стола, посередине стояло подобное блю-

до, по большей части заставленное головками деревенского сыра, а в противоположном конце — конгрегация бифштексов, уложенных один к одному. В промежутках между ними находились гарнир из варёного картофеля, множество яиц, хлеба и солёных огурцов, а на смежном столе лежал вполне достаточный запас тех же кушаний, что находились на столе обеденном.

Наши сердца упали вместе с нами, мы сами свернули в горячие жакеты бифштексы, с великой быстротой нарезали колбасы и уселись перед головкой сыра, вскоре снеся её до основания.

В завершении развлечения я предложил Пегги, одной из девушек, которые ждали нас, что хорошо бы было выпить чашку чая и что я благодарил бы её за это. Она ответила, что уже слишком поздно для чая, но она принесёт её мне чашку «залпового питья», если я так хочу.

Не зная, что означает «залповое питьё», я решил, что рискну и попробую его, но им оказался отвратительный напиток с заплесневелым, кислым ароматом, как будто это был отвар от испорченных солёных огурцов. Я никогда не относился свысока к «залповому питью», а предоставил ему просторное место, впрочем, на последующем ужине оно присутствовало в неограниченном

количестве и было выпито большинством моих товарищей по плаванию, которые хорошо о нём отзывались.

Но Боб Стилл не сказал бы так о нём, для людей его типа, как я понял, это была своего рода дешёвая замена пива или побочный отпрыск пива, или сливы и намои со старых пивных бочек. Но теперь я не помню точно, что именно и как они говорили. Я только знаю, что «залповое питьё» вызывало у меня отвращение. Что касается его вкуса, то я могу только описать его и добавить, что оно отвечает своему названию, которое обозначает, конечно же, что-то весьма мерзкое. Но оно, выпиваемое в больших количествах бедняками Ливерпуля, возможно, в какой-то степени предопределяет их бедность.

Глава XXIX
Редберн почтительно рассуждает относительно матросских перспектив

Судно оставалось в Принцевом доке больше шести недель, но поскольку у меня нет цели предоставить дневник моего тамошнего пребывания, то я просто записал здесь общий тон жизни нашей команды в этот период и буду далее продолжать описывать моё собственное блуждание наугад по городу и впечатления от пережитого, как оно вспоминается мне сейчас, но не без упущений, появившихся по прошествии лет.

Но сначала я должен упомянуть, что мы редко видели капитана во время нашей стоянки в доке. Иногда с тростью в руке он выходил на прогулку хорошим утром из отеля «Армс», — я полагаю, что отель был тем местом, где он расположился, — и после отдыха на судне, отдав приказы своему Первому министру и Великому визирю — старшему помощнику, шагал назад в свою гостиную.

Из фрагмента театральной афиши, которую я обнаружил, поглядев на его карман, я вывел, что

он покровительствовал театрам, а из пламени его щёк — что он покровительствовал прекрасному старому портвейну, которым известен Ливерпуль. Иногда, однако, он проводил ночь на борту и безумно бесчинствовал ночами, как старый драматург Бен Джонсон, которым он восхищался. Компанию за столом в каюте ему составляли четверо или пятеро морских капитанов-вискоглотателей, которым прислуживал стюард, вытягивавший пробки и постоянно наполнявший стаканы. И однажды вся эта компания в четыре часа утра обнаружилась под столом и была отправлена спать, и прикрыта обоими помощниками. В этом случае я бы согласился с нашим курчавым доктором богословия, темнокожим поваром, что они должны были стыдиться самих себя, но некоторые морские капитаны не чувствуют никакого стыда, а только краснеют после третьей бутылки.

Во время частых визитов на судно капитан Риг всегда говорил какие-то любезности одному благородному таможенному чиновнику, который оставался у нас на борту почти все время, пока мы стояли в доке.

И томительные же дни, должно быть, были у этого лишённого друзей одинокого таможенни-

ка, пытавшегося убить время в каюте с газетой и постукивавшего суставами по фрамуге. Он оставался на борту, чтобы пресечь контрабанду, но раньше очень часто сам он тайком проносил контрабанду на берег, когда, согласно закону, он был обязан оставаться на своём посту на борту судна. Но на удивление он оказался задушевным человеком, вполне выше своего положения, воистину, самого бесславного, хуже, чем у гуся, принесённого к воде.

А теперь продолжим рассказ о команде.

Днём свистали всех, и палубы оказывались вымыты, затем у нас был час на то, чтобы причалить и позавтракать, после чего мы занимались оснасткой, или выбирали паклю, или бывали заняты тем или иным без перерыва, как обычно, до двенадцати часов, когда мы уходили на обед. Мы начинали работу в половине десятого, пока, наконец, не пробивало четыре часа пополудни, если не было ещё чего-либо особенного. И после четырёх часов мы могли пойти туда, куда хотели и не были обязаны оставаться на борту до утра следующего дня.

Когда мы совсем не занимались к грузом, то наши обязанности были довольно лёгкими, и старший помощник часто прилагал опреде-

лённые усилия для того, чтобы создать для нас некоторую занятость.

У нас не было вахт, сторож для судна, нанятый с берега, избавлял нас от этой обязанности, и всё это время матросская заработная плата начислялась в том же объёме, что и в море. Воскресенья были нашими свободными днями.

Поэтому стоит отметить, что жизнь матросов американских судов в Ливерпуле чрезвычайно легка и изобилует свободным временем. Они живут на берегу на плодородной суше, и после небольших полезных занятий утром, оставшаяся часть дня принадлежит им.

Однако эти ливерпульские путешествия, так же как в Лондон и Гавр, являются наименее прибыльными, и в них может пуститься только непредусмотрительный моряк. Ведь в НьюЙорке он получает аванс за месяц, в Ливерпуле — другой, оба из которых в большинстве случаев быстро исчезают, поэтому к тому моменту, когда его путешествие заканчивается, он обычно мало что привозит с собой, иногда ни цента. Примите во внимание, что после долгого путешествия, скажем, в Индию или Китай, его заработная плата накапливается, и у него появляется больше стимулов экономить и гораздо меньше побужде-

ний к расточительству; и когда, наконец, с ним расплачиваются, он уходит, звеня квартой, наполненной долларами. Кроме того, как и среди всех морских портов мира, в Ливерпуле, возможно, присутствуют разнообразные сухопутные акулы, сухопутные крысы и другие паразиты, которые делают несчастного моряка своей добычей. Представая в виде судовладельцев, содержателей баров, портных, агентов и дешёвых гостиниц, сухопутные акулы пожирают его конечность за конечностью, в то время как земляные крысы и мыши постоянно прогрызают его кошелёк.

С большим трудом он также избегает других опасностей, начиная с печально известных коринфян, преследующих его в окрестностях доков, развращённость которых не согласуется ни с одной из сторон безграничной ямы.

И всё же матросы любят этот Ливерпуль и после долгих путешествий в дальние уголки земного шара будут долго распространяться про его очарование и достопримечательности и будут расхваливать его, превознося над другими морскими портами всего мира. В Ливерпуле они находят свой рай, и это не только довольно известная улица с таким названием — один из них сказал мне, что будет доволен лживостью Прин-

цева дока, пока он не поднял якорь, отправляясь в плаванье.

Многое хочется сказать относительно улучшения условий жизни матросов, но тут стоит приложить весьма большое усилие, как в случае, когда противоядие следует давать прежде, чем яд удалён.

Посмотрите, в большинстве своём самим фактом своего существования матросы осуждают определённое безрассудство и сластолюбие, невежество и развращённость, полагая, что они в мире вообще одни и одиноки; и если у них есть друзья и родственники, то они почти постоянно находятся вне досягаемости их доброго тепла; посмотрите, как после дисциплинарных строгостей, трудностей, опасностей и лишений в путешествиях они вплывают по течению в иностранный порт и оказываются предоставленными тысячам искушений, которым при данных обстоятельствах со всеми их достоинствами одинаково трудно противостоять, если их достоинство не имеет поддержки; и ещё они полагают, что самого их призвания высшие классы людей избегают и закрывают им какой-либо доступ к респектабельному и совершенному обществу; взгляните на всё это, и очень скоро разум

должен почувствовать, что участь матросов как класса не столь многообещающая.

Действительно, плохие дела происходят под покровом хронического зла, которое необходимо извести, что, как кажется, улучшит моральную организацию всей цивилизации.

Пусть ветхие и старые фрегаты с семьюдесятью четырьмя пушками переделаны в часовни и поставлены в доки, пусть

«Помощник боцмана» и другие умные религиозные трактаты на морском жаргоне разложены там, пусть священнослужители увещевают их с края пирса и военно-морские капелланы читают им проповеди на оружейной палубе, пусть им предоставлены евангелистские пансионы, пусть бережливые судовладельцы действительно искренне и богобоязненно поддерживают усилия Общества трезвости, чтобы отнять у моряков их старые порции грога, пока те находятся в плавании, — несмотря на всё это и многое другое, отношение к матросам со стороны остальной части человечества по большому счёту, кажется, остаётся в значительной степени там, где и столетие назад.

Возможно, существует слишком всеохватывающее мнение, где при рассмотрении неизбежного

социального прогресса его участников относят к разным классам, создающим совокупное движение человеческого сообщества. Ведь матрос, который сегодня ведёт пароходы «Хиберния» или «Единорог» через Атлантику, несколько отличается от раздутых образов матросов Смоллетта и моряков, которые сражались вместе с Нельсоном в Копенгагене и сами же отчаянно взбунтовались в дальнем Северном Углу в Плимуте, но всё это потому, что современная смола не совсем та, что была прежде, и избавилась от части своих лохматых жакетов и присоединила к себе лорда Родни, поэтому, по оценке некоторых наблюдателей, он сначала увидел плохие стороны и сознательно изменил их к лучшему. Но после более пристального взгляда становится видно, что он не двинулся с этим большим потоком, который, возможно, состоит из двух потоков одного и того же течения, и он не стремился к изменениям в отношении себя самого.

В мире есть классы людей, которые относятся к обществу в целом так же, как к колёсам на повозке, считая это совершенно необходимым. Но пусть легки и притягательны рессоры, на которых приятно покачиваются посвящённые: хоть и роскошны чехол на козлах и глянцевые

дверцы, всё же ради них колеса должны катиться в пыли или грязи революций. Никакое приспособление, никакая проницательность не может поднять их из болота, ведь что-то у повозки должно быть снизу, на чём-то же должны ехать посвящённые.

Пока матросы и образуют одно из этих колёс: они идут вперёд и прокатываются по земному шару, они — истинные импортёры и экспортёры специй и шелков, фруктов, вина и мрамора, они перевозят миссионеров, послов, оперных певцов, армии, торговцев, туристов и учёных к местам их назначения, они — понтонный мост через Атлантику, они — главная движущая сила всей торговли, и, короче говоря, не отдай они свои тела на формирование за месяц морских флотов, то здесь, на Земле, остановилось бы почти всё, кроме её осевого вращения и ораторов в Американском конгрессе.

И всё же, кто такие эти матросы? Что думает ваше сердце об этом парне, слоняющемся вдоль дока? Вы дадите ему широкую койку, не избегните его и не сочтёте его немного выше скота, который гибнет? Вы броситесь открывать для него ваши комнаты, пригласите его на ужин? Или дадите ему абонемент на вашу скамью

в церкви? Нет. Вы не сделаете этого, но на расстоянии вы, возможно, отпишете доллар или два на создание больницы, чтобы разместить там уже покалеченных матросов, или на распространение превосходных книг среди чумазых людей, не умеющих читать. И сама форма и способ создания таких благотворительных учреждений больше, чем слова, характеризуют то пренебрежение, с которым относятся к матросам. Бесполезно противостоять ему, их считают почти мусором и земными отбросами, и романтичное представление о них берётся преимущественно из романов.

Но можно ли матросов, как одно из колёс этого мира, полностью вытащить из болота? Кажется, что для этого нет хороших возможностей в старых системах и программах на будущее, за исключением благих намерений и искренности, из-за чего при таких системах мысль о подъёме кажется почти столь же безнадёжной, как выращивание винограда на Новой Земле.

Но в целом мы не должны отчаиваться из-за участи моряков, в этом не нуждаются те, чей тяжёлый труд ради их достатка в основе своей приводит к унынию, и со временем, в конце концов, появятся их друзья; и хотя моряки ино-

гда смотрятся почти брошенными пасынками небес, разрешая и дальше денно обуздывать свои руки, чтобы сдерживать самих себя, — в то время как за другими руками следят и нежно заботятся, — всё же мы чувствуем и знаем, что Бог — истинный Всеотец, и ни один из его детей не ограждён от его заботы.

Глава XXX
Редберну кажутся невыносимо тупыми и глупыми некоторые старые диковинные путеводители

Среди необычных книг в библиотеке моего отца была коллекция старых европейских и английских путеводителей, которые он купил во время своих путешествий очень много лет назад. В своём детстве я много раз изучал их, и никогда не уставал рассматривать необычные многочисленные орнаменты и экслибрисы и вглядываться в удивительные титульные листы, некоторые из которых, как мне казалось, напоминали иностранные лица с усами. Среди них была парижского типа, потускневшая, розового цвета брошюра, тут и там помеченная уже стёртыми тонкими и маленькими линиями, под названием «Описательная и философская поездка по прежнему и новому Парижу: Фидель Мирор», и ещё потемневшая от времени взлохмаченная старая книга в мраморном переплёте с множеством известных похожих друг на друга

древностей, как, например, «Ознакомительный маршрут по Риму, или Описания основных монументов античности и современности и наиболее значительных живописных, скульптурных и архитектурных работ этого знаменитого города»; на красновато-коричневом титульном листе — виньетка, представляющая бесплодную скалу, частично закрываемую дубовой порослью (заброшенная часть пейзажа), где под прикрытием скалы в тени дерева по-матерински улеглась бездомная кормилица Ромула и Рема, подающая сосцы прославленным близнецам; пара обнажённых маленьких херувимов, разлёгшихся на земле со сжатыми

ручками, нетерпеливо занятых поглощением пищи; большой лист кактуса или подгузник, свисающий с ветви, и волчица, смотрящая совсем как одна из безрогих коров со скотного двора; работа была издана «Привилегией суверенного понтифика». Был также оправленный в бархат старинный том в медных зажимах, называемый «Проводник по Голландии» с пластиной с изображением здания Парламента, а также почтенная «Картина Лондона», изобилующая картинками собора Святого Павла, Монумента, Темпл-Бара, района Гайд-парка, конной гвардии, адмирал-

тейства, Чаринг-Кросса и моста Воксхолл. Кроме того, была большая книга в пыльном жёлтом переплёте, напоминающем одну из обшитых панелями дверей почтовой кареты, и прилагаемый к ней тщательно продуманный титульный лист, полностью расцвеченный в стиле щёлкающего кнута для четвёрки лошадей, названная, в частности, «Большие дороги, прямые и пересекающиеся, по всей Англии и Уэльсу от границ, установленных по приказу министра почт Его Величества». Эта работа описывала города, рынки, городки и городские агломерации и те места, в которых проводятся выездные сессии суда присяжных, и сообщала о времени прибытия туда почты и отъезда из каждого из них; описывала гостиницы в столице, от которых отсчитываются расстояния, и гостиницы в стране, на которых меняют почтовых лошадей и экипажи; описывала дворянские и господские поместья, расположенные возле дорог, карты окрестностей Лондона, Бата, Брайтона и Маргита». Она была посвящена «Благородного происхождения графам Честерфилду и Лестеру премного обязанным их Светлостям послушным и подобострастным слугой Джоном Гэри, 1798». Ещё одна зелёная брошюра с девизом от Вёрджила и витиеватым

гербом на обложке, похожая на план Критского лабиринта под названием «Описание Йорка с памятниками его старины и общественными зданиями, особенно собором, выбранными с большим трудом из большинства подлинных отчётов». Ещё один маленький схоластического вида том в классическом пергаментном креплении с фронтисписом, одновременно представляющим башни и башенки Королевского колледжа и великолепный собор Святой Троицы в Эли, пусть и на географической протяжённости в шестнадцать миль под названием «Кембриджский гид: колледжи, залы, библиотеки и музеи с городскими и университетскими церемониями и небольшое описание собора Святой Троицы». Ещё имелась брошюра с японской обложкой, где была напечатана беспорядочная группа похожих на пагоды строений, в точности представлявшая «Северную, или Великую границу Бленема» под названием «Описание Бленема, резиденции Его Светлости герцога Мальборо, содержащая полный отчёт о картинах, гобеленах и мебели: живописный тур по садам и паркам, и основное описание известной китайской галереи, в шести частях, эссе о пейзажном озеленении, украшенное видом на дворец, и новый и изящ-

ный план Большого парка». И, наконец, был том, названный «КАРТИНА ЛИВЕРПУЛЯ». Это была любопытная и замечательная книга, и из-за множества нежных воспоминаний, связанных с ней, я хотел бы увековечить её, если бы мог.

Но позвольте мне отойти от её святости и нарисовать её, если можно, по-живому.

Поскольку теперь я задерживаюсь на томе, туда и сюда переворачивая страницы, столь дорогие моему детству, — это те самые страницы, изображающие места, где годы и годы назад находился мой отец и был среди тех самых сцен, что здесь описаны, — то какая же мягкая, приятная печаль крадётся по мне, и как я таю в прошлом и забываюсь!

Дорогие книги! Я продам своего Шекспира и даже пожертвую своей старой картиной Хогарта в четверть листа, прежде чем расстанусь с вами. Да я сам устрою аукцион, прежде чем пошлю вас на аукционную бойню. Я буду, мои возлюбленные — старые семейные реликвии, каковыми вы и являетесь, медленно пропускать вас лист за листом и букву за буквой, и для вас где-нибудь найдётся аккуратная полка, в то время как для меня не сыщется даже скамьи.

По размеру это то, что продавцы книг назы-

вают «в восемнадцатую долю листа», в зелёном сафьяновом переплёте, который с самого раннего моего воспоминания был просмотрен и со временем запятнан, углы помечены красным, как небольшие треуголки, и некий неизвестный варвар-гот оставил неизлечимую рану на спине. Снаружи нет никакой надписи, поэтому тому, кто лениво бродит вокруг моих скромных полок, редко взбредёт в голову открыть неизвестную маленькую зелёную книжку. Там она и стоит день за днём, неделя за неделей, год за годом, и никто, кроме меня, не смотрит её. Но я восполняю такое пренебрежение своей большой личной любовью к ней.

Но давайте откроем книгу.

Что это за каракули на форзацах? Кто этот неисправимый ученик учителя чистописания, побывавший здесь? Что это за рисовальщик диких животных и осыпающихся воздушных замков? Ах, нет! Это всё неотъемлемая часть драгоценной книги, которая пришла для того, чтобы стать для меня сокровищем.

Некоторые каракули — мои собственные, и как поэты пишут свои подростковые сонеты, так и я смог написать под этой лошадью: «Написана в возрасте трёх лет», — и под этим автографом:

«Выполнено в возрасте восьми лет».

Другие — собственноручная работа моих братьев, сестёр и кузенов, и руки, которые делали некоторые из этих набросков, теперь рассыпались в прах.

Но что за якорь здесь? что за судно? и эта морская частушка Дибдина? Книга, должно быть, попала в руки некоего покрытого дёгтем капитана с носового кубрика. Нет, этот якорь, судно и частушка Дибдина мои: эта рука начертала их как раз в этом самом путешествии в Ливерпуль. Но не так скоро, я не хотел это всё говорить.

Полностью окружены этими карандашными заметками, действительно, полностью окружены несмываемые, хотя и увядшие, следующее записи чернилами, сделанные почерком моего отца:

«УОЛТЕР РЕДБЕРН

Королевский отель «Риддо», Ливерпуль, 20 марта 1808».

Переворачивая этот лист, я наталкивался на некие разные наполовину вычеркнутые карандашные пометки методического характера, несомненно, сделанные моим отцом, должно быть, во время его неоднократных визитов в Ливерпуль. Они полны странного, приглушённого,

старого, чисто безумного интереса для меня, и хотя из-за многочисленных стираний это во многом почти перекрёстное прочтение — иначе не разобрать, я всё же должен здесь воспроизвести некоторые из них в случайном порядке:

£ s. d
Путеводитель 3 6
Ужин в «Звезде и Подвязке» 1 0
Поездка в Престон (расстояние 31 миля) 2 6/3
Пособия 4
Наёмный экипаж 4 6
Сезоны Томпсона 5
Библиотека 1
Лодка на реке 6
Портвейн и сигара 4

И на противоположной странице я могу просто расшифровать следующее:

Обед с г-ном Роскоу в понедельник. Позвать г-на Морилла в тот же день.

Оставленная карта полковника Дигби во вторник. Театр в пятницу ночью — Ричард III и новый фарс.

Настоящее письмо от мисс Л. во вторник. Сделать запрос у Сэмпсона & Уилта в пятницу.

Передать мой эскизный проект и получить

деньги в Лондоне. Написать домой Принцессе.

Мешок с письмами в Сэмпсоне и Уилте.

Переворачивая следующий лист, я разворачиваю карту, которая располагается посреди Британского герба и в одном углу чётким текстом сообщает, что это «План города Ливерпуля». Но он кажется небольшим планом в выглядящих сжатыми и изогнутыми из-за улиц и доков отметках, беспорядочно рассеянных вдоль берега Мерси, которая течёт вдаль, а само мирное течение состоит из заштрихованных гравюрных линий.

В северо-восточном углу карты находится подобие Сахары желтовато-белого цвета: пустыня, которая всё ещё сохранила отметки моего рвения в стремлении населить её всеми видами неотёсанных монстров из мела. Пространство в Ливерпуле, определяемое этим пятном, теперь, несомненно, полностью застроено.

Идя далее с пером в руке, я обнаруживаю много пунктиров, расходящихся по всем направлениям от ноги Лорд-стрит, где стоят отметки отеля «Риддо», в котором останавливался мой отец.

Эти отметки очерчивают его разнообразные экскурсии по городу, и я следую за линией по улице и переулку, и по широким площадям и проникаю с ними в самые узкие дворы.

По этим заметкам я чувствую, что мой отец забыл про чужую религию в чужой стране, но уделил внимание церкви Святого Иоанна около Хаймаркета и другим местам общественных богослужений. Я вижу, что он посетил отдел новостей на Дьюк-стрит, лицей на Болд-стрит и Королевский театр и сообщал, что готов был выразить своё уважение выдающемуся мистеру Роскоу, историку, поэту и банкиру.

Почтительно сворачивая эту карту, я сдвигаю пластину с Ратушей и наталкиваюсь на титульный лист, середина которого украшена частью пейзажа, изображающего свободно одетую леди в сандалиях, задумчиво сидящую на холодной скале на морском берегу, поддерживающую одной рукой свою голову, а другой показывающую незнакомцу овальный поднос с имеющейся на нём фигурой странной птицы со следующим девизом, протянувшимся вдоль края: «Бог дал нам всё это».

Птица является частью городского герба и является воображаемым образом уже вымершей птицы (пулярки), называемой «Ливером», которая, как говорится, населяла «бассейн[6]», который,

---

6 Примечания: 6
Pool (*англ.*) — бассейн. — *Примеч. пер.*

как утверждают антиквары когда-то покрывал добрую часть земли, где стоит теперь Ливерпуль, и из-за этой птицы, и из-за этого бассейна Ливерпуль получил свое имя.

Вдали от задумчивой леди в сандалиях — судно под полными парусами, а на пляже — фигура маленького человека, безуспешно пытающегося разобрать огромную кипу товаров. Горизонтально и поровну этот рисунок разделило следующее полное название, но я боюсь, что печатный станок будет не в состоянии передать его доподлинно:

Картина Ливерпуля,
или Гид для неосведомлённых
и карманный спутник джентльмена
по городу.
Украшенный гравюрами
самых опытных и выдающихся художников.
Ливерпуля.
Напечатан во дворе Свифта
и продаётся Вудвортом и Олдерсоном, Кастл-стрит, 1803.

Краткое и почтительное предисловие, как будто писатель всё время откланивается, сообщает читателю о лестном приёме предыдущих выпусков издания и — цитирую: «свидетельствует

уважение, которое в последнее время появилось в различной печати — британской критике, обзорах и седьмом томе красот Англии и Уэльса» — и завершается выражением надежды, что этот новый, пересмотренный и иллюстрированный выпуск «не менее достоин официального уведомления и также не менее достоин объектов, которые ему суждено было проиллюстрировать».

Очень хорошее, щеголеватое, почтительное небольшое предисловие, время и место написания которого торжественно зарегистрировано в конце Хоуп-плейс 1 сентября 1803 года.

Но насколько полнее будет моё удовлетворение, когда я с нежностью задержусь на этом обстоятельном параграфе, если писатель записал точный час дня и место и если мог, то упомянул свой возраст, занятие и имя.

Но всё теперь потеряно, я не знаю, кем он был, и этот почтенный автор должен разделить забытую судьбу всех неизвестных литераторов.

Он, должно быть, обладал самыми великими и самыми высокими идеями, как истинные знаменитости, поскольку презирал идею стать увековеченным отдельной начальной буквой. Если б я мог узнать теперь, кто он, забытый и спя-

щий на некоем кладбище, то купил бы для него надгробный камень и воспроизвёл бы на нём его титульный лист, считая его самой благородной эпитафией.

После предисловия книга открывается выпиской из вводной части, превосходно написанной доктором Эйкеном, братом г-жи Барбо, к открытию Королевского театра в Ливерпуле в 1772:

«Там, где лежит длинная продуваемая равнина и течёт Мерси, отдающая сполна свою дань окружающему океану, несколько рыбаков нашли себе укромное местечко, плодотворный труд был осчастливлен неплохим пристанищем, приучив их к трудностям, терпению, смелости и простоте. Они противостояли волнам ради сомнительной еды, их ветхие хижины расположились вдоль берега, их сети и небольшие лодки оставались их единственным имуществом».

Действительно, повсюду работа изобилует странными поэтическими цитатами и старомодными классическими намёками на «Энеиду» и «Кораблекрушение» Фолкнера.

И анонимный автор, должно быть, был не только учёным и джентльменом, но и бескорыстным джентльменом, обладающим истинным городским патриотизмом, поскольку в его «Обзоре

города» было девять плотно напечатанных страниц забытого стихотворения забытого ливерпульского поэта.

Посредством извинения за то, что могло бы показаться навязыванием общественности такого долгого фрагмента, он вежливо и прочувственно презентует его, говоря, что это «стихотворение несколько лет не было востребовано и хоть и было представлено, но мало известно, и следовательно, очень небольшая часть его будет, без сомнения, весьма приемлемой для культурного читателя, тем более что это благородная эпопея написана с большим выражением счастья и самым сладостным из чувств».

Однажды, но только однажды, жестокая мысль пришла в мою голову, что автор Путеводителя, возможно, и был автором эпопеи. Но это было несколько лет назад, и я с тех пор никогда не разрешал таким жестоким мыслям проникать в моё сознание.

Эта эпопея, экземпляр которой лежал предо мной, была построена в старом величественном стиле, и катится, как четвёрка лошадей по команде кучера. Она воспевает Ливерпуль и Мерси, его доки и суда, и склады, и товары, и якоря, и после, распространившись на презренные времена,

когда «его благородные волны бесславно по Мерси катились», поэт разражается словно целый Парнас следующим: «Мир удивлённый именем его наполнился сегодня, От стран от северных до Индии границ далёких. И где-то берега его омыты широкой атлантической волной, Зимою где-то Балтика раскатывает волны, Там воды благородные поток свой ширят, Который, как любимую невесту, обвил Сицилию. Гренландия ему — большой громоздкий кит, а Галлия — щедра и вспыльчива — растит ему свой виноград; В тепле Иберии цветут сады цитронов, Под зрелым плодом гнётся натруженная ветвь; В любой стране его великий флот известен, Как самого себя он делает богатым всякий край».

Здесь также содержится изящно затушёванный намёк на г-на Роско: «Не здесь ли гениальный Р*с*о исследует всё новые следы, что прежде были неизвестны?»

Действительно, оба они — и анонимный автор Путеводителя, и одарённый бард Мерси — кажется, раздули бледненький факт того, кто именно их любимому городу Роско принёс репутацию, изящно приукрасившую его славу простого торгового местечка. Его называют современным Джиссардини современной Флоренции и об его

историях, переводах и «Итальянских жизнях» говорят с классическим восхищением.

Первая Глава в методичной деловой манере начинает информировать нетерпеливого читателя о точной широте и долготе Ливерпуля, да так, чтобы в его голове сразу не смогло появиться никакого недопонимания. Затем продолжается отчёт об истории и старинных городских достопримечательностях, начиная с отчёта в Книге Судного дня Вильгельма Завоевателя.

Здесь нужно искренне признаться, однако, что, несмотря на его другие многочисленные достоинства, моего любимого автора покидает жажда беспредельной античности и пытливый дух, который не отказался бы прекратить свои исследования господства нормандского монарха, но решительно поспешил бы в тёмные века, к Моисею, Измаилу и Адаму, и, наконец, без сомнения, установил бы, что почва Ливерпуля появилась с момента мироздания.

Но, возможно, что один из самых любопытных отрывков из главы античного исследования — это нравоучительное размышление набожного автора об интересном факте, говорящем, что в 1571 году от Р. Х. жители послали письмо королеве Елизавете, прося послабление от выплат,

в котором они называют себя «бедный угасающий город Её Величества Ливерпуль».

Поскольку я теперь фиксирую свой пристальный взгляд на этом, исчезнувшем и обветшалом старом путеводителе, соотнося каждый символ с разрушительным воздействием ближайшей половины века, и читаю, как эта часть старины вырастает в наше время на предыдущей старине, то мне жёстко напоминают, что мир действительно стареет. И когда я обращаюсь ко второй главе «О расширении города и увеличении числа его жителей», а затем скольжу от страницы к странице через весь том, где всё заполнено намёками на огромное великолепное место, которое с тех пор увеличилось более чем в четыре раза в населении, богатстве и блеске и чьи нынешние жители должны оглянуться назад на времена, о которых здесь говорят с раздутым чувством безмерного превосходства и гордости, то я переполняюсь ироничной печалью о тщетности всего человеческого возвеличивания. Карнизный камень сегодня — это угловой камень для завтра, и поскольку собор Святого Петра был построен по большой части из руин старого Рима, то ради всех наших башен, весьма величественных, мы не открываем карьеры, а поставляем неказистые

материалы для более великих куполов последующих поколений.

И как пятьдесят лет назад этот старый путеводитель хвастался нам малозначительностью Ливерпуля, так и как современные нью-йоркские путеводители теперь хвастаются размерами города, чьи будущие жители, многочисленные, как галька на пляже, и опоясанные высокими стенами и башнями, обрамляющими бесконечные проспекты богатства и вкуса, сочтут все наши бродвеи и боувери несерьёзным зёрнышком в их Ниневии. Далеко от Гудзона, за рекой Гарлем теперь растут молодые деревья, которые закрывают свои барские столетние особняки широкими ветвями; они могут направить исследователей дальше, чтобы те проникли в тогдашние тёмные и дымные переулки Пятой авеню и четырнадцатой улицы и, идя ещё дальше на юг, смогли бы выкопать существующую дорическую Таможню и сделать её доказательством того, что их высочайшая и могущественная столица обладала греческой античностью.

Поскольку я чрезвычайно не склонен опустить предложенный образец достойного стиля из этой «Картины Ливерпуля», столь отличающийся от краткого, дерзкого и грамотного руководства

по Ниагаре и Буффало, то открою теперь главу античных исследований, тем более что это развлечение само по себе предоставляет большую ценность и, возможно, редкую информацию касательно известного города, в которой читатель, возможно, нуждается и куда я совершил своё первое путешествие. Думаю, что в отношении вопроса, в котором я сам совершенно не осведомлён, намного лучше сослаться на моего старого друга, нежели отрубить от него весьма толстый филей информации, кинуть в моё собственное неубедительное рагу и потом выдать его за нечто оригинальное. Да, я отдам должное своему славному путеводителю.

И поэтому искусная печать, столь тусклая и рыхлая в низу страницы, в мягком жёлтом закате может излить на мой читательский глаз все типы приятных ассоциаций, которые даёт мне оригинал!

Нет! Во имя священной памяти моего отца и священной частной жизни всех любителей семейных воспоминаний я не сделаю этого! Я не буду цитировать тебя, старый сафьян, перед холодным лицом бесчувственного мира, из-за своей античности ты будешь всего лишь пропущен и опозорен читателями с мелочным

характером; что же касается меня, то я должен быть обвинён в том, что раздуваю объём своей книги, занявшись плагиатом от «путеводителя», этой самой вульгарной и позорной из краж!

Глава XXX I
Со своим старым банальным путеводителем он совершает банальную прогулку по городу

Когда я уезжал из дома, то взял с собой зелёный сафьяновый путеводитель, предположив, что из-за большого количества судов, идущих в Ливерпуль, я, вероятнее всего, окажусь на борту одного из них, что и случилось впоследствии.

Моё ребяческое восхищение выросло из-за перспективы держать в руке надежнейшую путеводную нить для посещаемого места и всех его закоулков.

Во время плавания я внимательно изучил его страницы. Во-первых, я основательно разобрался в истории и памятниках города, как будет указано в главе, о которой я сообщу. Затем я справился со статистическими колонками, касавшимися роста населения, и поразмышлял над ними, как раньше проделывал это с таблицей умножения. Ведь я был полон решимости самостоятельно изучить весь предмет, а не удовольствоваться простым поверхностным знанием предмета,

что слишком часто случается с большинством людей, изучающих путеводители. Затем я просмотрел одно за другим весьма продуманные описания общественных зданий и тщательно сравнил текст с соответствующими гравюрами, чтобы увидеть, подтверждают ли они друг друга. Да будет известно, что, включая карту, гравюр было сделано не менее семнадцати. И от частого их исследования в моём сознании настолько отпечаталась каждая колонка и ссылка, что я не сомневался в способности через мгновение признать оригинал.

Короче говоря, тогда я полагал, что мой собственный отец использовал его просто как путеводитель, и потому он был полностью проверен и его подлинность оказывалась за гранью возможного, и я не мог не думать, что достиг высот в безошибочном познании Ливерпуля, тем более что ознакомился с картой и мог обойти её острые углы с фантастической уверенностью и быстротой.

Пока я лежал на своей койке на борту судна, то в воображении выбирал погожий день, чтобы побродить по городу: вниз по улице Святого Джеймса и вверх по улице Георга Великого, останавливаясь у различных достопримечатель-

ностей и привлекательностей. Я начал думать, что родился в Ливерпуле, настолько знакомыми казались мне все подробности карты. И хотя некоторые улицы, там изображённые, были весьма запутаны, с бесконечными поворотами и изгибами, как на картах Бостона в Массачусетсе, я всё же решил, что, несомненно, смогу пройти по ним самой тёмной ночью и даже прибежать в самый отдалённый док при возникновении неотложной чрезвычайной ситуации.

Дорогостоящее заблуждение!

И никогда не пришло бы в мою ребяческую голову, что путеводитель, пусть и пятидесятилетней давности и, возможно, хорошо послуживший в своё время, окажется всё-таки негодным гидом для моего современника. Я совсем не предполагал, что тот Ливерпуль, который видел мой отец, будет другим Ливерпулем, отличным от того, к которому приплыл я, его сын Веллингборо. Нет, эти мысли никогда не появлялись сами, я так свыкся связывать мой старый сафьяновый путеводитель с городом, им описываемым, что голая мысль о появлении какого-либо несоответствия никогда не приходила ко мне.

В то время пока мы стояли на Мерси и, прежде чем войти в док, я вынул мой путеводитель,

чтобы увидеть, насколько карта соответствует самому́ отображаемому месту. Но не обнаружилось ни малейшего сходства. Однако, подумал я, это всё вследствие моего осмотра горизонта вместо обзора с птичьего полёта. Поэтому не стоит брать в голову старый путеводитель, и с вами, по крайней мере, будет всё в порядке.

Но от того, что я оказался столь опрометчив, моя вера испытала тяжёлый шок в тот самый вечер, когда команда пришла на ужин.

Матросы остановились в любопытной старой таверне около стен Принцева дока, и, вынув свой путеводитель из кармана, чтобы обменяться мнениями, я нашёл, что как раз на том месте, где оказались я и мои товарищи по плаванию, находилась буфетчица с вишнёвыми щеками и наполняла свои стаканы, а мой безошибочный старый Сафьян указывал на это самое место как на местонахождение форта, добавляя, что хорошо бы умному незнакомцу посетить его и увидеть вечером, когда снимают охрану.

Это было сильным ударом, ну как таверна могла быть принята за замок? И что там упомянуто в отношении охраны о часе, в который стоит оказаться, пока красных шинелей не видно? Но лишь из-за одного маленького несоответ-

ствия я не мог осудить старого семейного слугу, который так искренне служил до меня моему собственному отцу; и когда я узнал, что эта таверна носила название «Таверна „Старый форт“», и когда мне сказали, что многие старые камни всё же остались в стенах, я почти полностью реабилитировал мой путеводитель от половинчатых обвинений в том, что он ввёл меня в заблуждение.

Следующий день был воскресеньем, и он весь был предоставлен мне, и теперь, решил я, у моего путеводителя и меня должна состояться известная прогулка вверх по улице и вниз по переулку, к самым дальним пределам Ливерпуля.

Я поднялся рано и весело, с головы до пят исполнил свои омовения «с восточной щепетильностью», надел свою красную рубашку, охотничью куртку и охотничьи панталоны и увенчал верх моего тела брезентом, да так, что из-за этой любопытной комбинации одежды и особенно из-за моей красной рубашки я, должно быть, и вправду был очень похож на странное сооружение: на три части охотник, на две — солдат и на одну часть — матрос.

Моих товарищей по плаванию, конечно, развеселила моя внешность, но я не принял их шутки

всерьёз и после завтрака соскочил на берег, исполненный драгоценного ожидания.

Моя походка была прямая, и я был довольно высок для своего возраста, и это, возможно, стало причиной, почему, когда я быстро шёл по доку, пьяный матрос, проходящий мимо, воскликнул: «Равнение направо! Ускорить шаг!»

Другой прохожий остановил меня, чтобы узнать, не иду ли я охотиться на лис, и один из полисменов дока, размещавшийся в воротах, после выглядывания из своей караульной будки — небольшого аккуратного логова, снабжённого скамьями и газетами и кругом обвешанного штормовыми жакетами и промасленными плащами, — выскочил оттуда в великой спешке, как только я появился на улице, загородил мне дорогу и приказал остановиться! Я повиновался. Неуступчиво рассматривая мою внешность, он желал знать, где я получил такую брезентовую шляпу, не способную служить головным убором отставному охотнику на лис. Но я указал на своё судно, которое стояло не очень далеко, и показал своим акцентом, что я — янки, отчего верный исполнитель разрешил мне проходить.

Стоит сказать, что полиция, размещённая в воротах доков, чрезвычайно внимательно сле-

дит за выходящими незнакомцами, поскольку на борту судов совершается много краж, и если им представляется шанс увидеть что-либо подозрительное, то исследуют его немилосердно. Поэтому старики, которые покупают «сброшенное» и мусор с судов, должны вывернуть перед полицией свои сумки наизнанку, прежде чем им позволят выйти за пределы ограды. И часто они готовы обыскать одежду подозрительного с виду субъекта, даже если он будет очень худым человеком с ушитыми и почти незаметными карманами.

Но куда же я пошёл?

Я расскажу. Моим намерением было, во-первых, посетить отель «Риддо», где более тридцати лет назад останавливался мой отец, и затем с картой в руке проследовать по ней через весь город, согласно пунктирам в диаграмме. Таким образом, я бы исполнил сыновнее паломничество в места, на мой взгляд, священные.

Наконец, когда я шёл по Олд Холл-стрит к Лорд-стрит, где согласно моим данным был расположен отель, и когда, вынув мою карту, обнаружил, что Олд Холл-стрит была отмечена там же, где и целое поколение назад пером моего отца, то тысяча любящих, нежных чувств закружилась

вокруг моего сердца.

Да, по этой самой улице, подумал я, нет, по этому мощёному тротуару ходил мой отец. И когда я почти заплакал, окинув взглядом свою жалкую одежду, то заметил, что люди обратили на меня внимание: мужчины с удивлением взирали на гротескного молодого иностранца, а пожилые леди в шляпах из бобра и оборок немного замедляли шаг, чтобы держаться от меня подальше.

Мой отец, должно быть, появлялся как-то по-другому, возможно, в синем пальто, блестящем жилете и парусиновых ботинках. И он никак не думал, что сын его когда-нибудь посетит Ливерпуль как бедный одинокий юнга. Но в ту пору я ещё не родился, нет: когда он ходил по этому тротуару, меня не было и в помине, я не был включён в летопись Вселенной. Мой собственный отец тогда не знал обо мне и никогда меня не видел и не слышал или же только мечтал. И эта мысль ставила передо мной маленький вопрос: ведь если у моего собственного родителя ни разу не промелькнула мысль о моём посещении города в прошлом, то как она потом смогла появиться у меня? «Бедный, бедный Веллингборо! — подумал я. — Несчастный мальчик! Ты действительно одинок и несчастен. Ты блужда-

ешь здесь, как странник в чужом городе, и много думаешь о том, что твой отец был здесь до тебя, но переживаешь от того, что он тогда не знал тебя и не заботился о тебе».

Но, рассеяв эти мрачные размышления, насколько это оказалось возможным, я поспешил своей дорогой, пока я не добрался до Чепел-стрит, которую и пересёк, и затем, пройдя под монастырского вида каменной аркой, чей мрак и узость восхитили меня и наполнили мою американскую душу романтичными мыслями о старом аббатстве и церкви, оказался на прекрасной Площади Менял.

Там, прислонясь к колоннаде, я вынул свою карту и проследил путь моего отца прямо через Чепел-стрит и фактически через саму арку за моей спиной, к мощёному квадрату, где я и стоял.

Настолько ярким было теперь впечатление от того, что он был здесь, и настолько узким проход, из которого я появился, что я испытал желание продолжать путь, наверстав упущенное обходом прилегающей Ратуши в начале Крепостной улицы. Но вскоре я остыл, вспомнив, что он прибыл к назначенному месту, не ища никакого сына в тогдашнем мире. И затем я подумал обо всём, что, должно быть, происходило с ним, когда

он шагал через эту арку. С какими испытаниями и проблемами он столкнулся, как его трепало множество штормов и бедствий, и как, наконец, он умер банкротом. Я осмотрел свою собственную жалкую одежду и приложил множество усилий, чтобы удержаться от слёз.

Но я собрался с духом, пристально оглядел рельефную каменную кладку, обратился к моему путеводителю и взглянул на напечатанное пятнышко. Это был правильный столбик, но только как обязательное центральное украшение четырёхугольника. Однако это было всего лишь небольшое позднее сооружение, которое не имело разногласий со столь разносторонним характером моего гида.

Привлекающим взгляд украшением площади была скульптурная группа из бронзы, стоящая на мраморной опоре и пьедестале, представляющая лорда Нельсона, испускающего дух на руках у Богини победы. Одна нога его попирала врага, другая покоилась на орудии. Богиня водружала венок на лоб умирающего адмирала, в то время как Смерть в образе отвратительного скелета просовывала свою костлявую руку под одежду героя и нащупывала его сердце. Очень впечатляющее исполнение и верный образ, я никогда

не мог смотреть на Смерть без дрожи.

На одинаковых расстояниях вокруг основной опоры сидели четыре обнажённые фигуры в цепях, едва живые, в различных позах унижения и отчаяния. Все в безысходности склонили свои головы на колени, как будто они оставили все надежды на какую-либо перемену участи. Один и персонажей уныло закрыл свою голову и, несомненно, кидал мрачные взгляды, но поскольку его лицо было повёрнуто, то я не смог уловить выражение его лица. Эти удручённые фигуры пленников символизировали основные победы Нельсона, но я никогда не мог смотреть на их смуглые конечности и кандалы без того, чтобы невольно не вспомнить о четырёх африканских рабах на рынке.

И мои мысли вернулись в Вирджинию и Каролину, а также к тому историческому факту, что африканская работорговля когда-то составляла основу ливерпульской торговли и что процветание города случилось только после того, как город оказался неразрывно связан с её проведением. И я вспомнил, что мой отец часто говорил с господами, посещающими наш дом в Нью-Йорке, о таком несчастье, как то, что обсуждение отмены этой торговли проводилось в Ливерпу-

ле, о том, что борьба между алчным интересом и гуманностью создало скорбное опустошение в домах торговцев, раздельное проживание сыновей от родителей и даже разлучение мужа с женой. И мои мысли вернулись к другу моего отца, славному и великому Роскоу, бесстрашному врагу работорговли, кто всяческим путём приложил свои прекрасные таланты к его подавлению: стихотворное письмо («Заблуждения насчёт Африки»), несколько памфлетов и о том, что, будучи членом Парламента, он произнёс речь против этого, которая, как пришедшая от представителя Ливерпуля, как и предполагалось, привлекла множество голосов и сыграла немалую роль в триумфе рациональной политики и гуманизма, которые затем последовали.

То, как эта скульптурная группа тронула меня, может быть выведено из того факта, что я никогда не проходил Чепел-стрит через малую арку, не посмотрев на неё снова. И там ночью или днём я неизменно находил лорда Нельсона, продолжающего покидать этот мир, венок Победы, всё ещё нависающий над его военной мощью, и Смерть, мрачную и как всегда цепкую, а четырёх бронзовых пленников — оплакивающих свой плен.

Теперь, когда я задержался у скульптурной

ограды в упомянутое мной воскресенье, я заметил несколько человек, входящих и выходящих из апартаментов, открытых в подвале под колоннадой, и, приблизившись, я понял, что это был отдел новостей, наполненный стопками бумаг. Моя любовь к литературе побудила меня открывать дверь и войти, но взгляды на мою грязную охотничью куртку вызвали у соответствующего персонажа желание подойти и закрыть дверь прямо передо мной. Я подумал минуту, как надлежит ответить, и, наконец, исполненный решимости, позволил себе остаться в одиночестве и пройти мимо, что я и сделал, спустившись по Кастл-стрит (названной так из-за замка, который, как было сказано в моем путеводителе, когда-то стоял там) и вернувшись понизу на Лорд-стрит.

Достигнув начала последней улицы, я напрасно огляделся в поисках отеля. Невозможно было вообразить, насколько серьёзным было разочарование, когда я счёл, что снедаем рвением узреть тот самый дом, в котором останавливался мой отец, там, где он спал и обедал, курил свою сигару, вскрывал свои письма и читал газеты. Я спросил некоторых господ и леди, где стоял отсутствующий отель, но они только молча посмотрели

на меня и прошли дальше, пока я не встретил ремесленника, который, по всей видимости, очень вежливо остановился, чтобы выслушать мои вопросы и дать мне ответ.

«Отель „Риддо“? — сказал он. — Честное слово, я думаю, что слышал о таком месте, позволь мне вспомнить: да, да — это был отель, где мой отец сломал себе руку, помогая снести его стены. Мой мальчик, ты сам, конечно, не сможешь навести справки об отеле „Риддо“! Что ты хочешь найти там?»

«О! Ничего, — ответил я. — Я очень признателен вам за ваши сведения», — и пошёл дальше.

Тогда действительно, новый свет разрушил высоты моего путеводителя, и все мои предыдущие тусклые подозрения были почти подтверждены. Он появился на свет почти полвека назад! И был пригоден для меня в этом городе не более чем карта Помпей.

Это было печальное, торжественное и по большей части меланхолическое озарение. Книга, на которую я так полагался, книга в старом сафьяновом переплёте, книга с уголками-треуголками, книга, полная прекрасных старых семейных ассоциаций, книга с семнадцатью гравюрами, выполненными в самом высоком искусном сти-

ле, эта драгоценная книга оказалась очередной безделицей. Да, вещь, которая вела отца, не могла вести сына. И я присел на ступеньку магазина и предался свободному размышлению.

Здесь и сейчас, о Веллингборо, подумал я, извлеки урок и никогда не позабудь его. Этот мир, мой мальчик, изменчив, его отели «Риддо» рушатся навсегда, он никогда не стоит на месте, и его пески всегда движутся. Сама эта ливерпульская гавань, как говорится, постепенно заполняется, и кто знает, не твой ли сын (если у тебя когда-нибудь он будет) сможет увидеть её, когда он навестит Ливерпуль через какое-то время после тебя, точно так же, как и ты, приехав сюда после своего деда. И, Веллингборо, поскольку путеводитель твоего отца не провожатый для тебя, то ни один из твоих новых путеводителей (сегодня ты мог бы позволить себе купить современное издание) не будет точным справочником для тех, кто придёт после тебя. Путеводители, Веллингборо, — наименее надёжные книги во всей литературе, и почти вся литература в едином смысле составлена из путеводителей. Старики говорят нам о путях, которыми прошли наши отцы через старые проходы и дворы, но как немногие жители этих бывших мест смогут оставить свой

след для потомства среди современных строений, так и немногие старые путеводители остались клубками Ариадны! Каждая эпоха создаёт свои собственные путеводители, а старые становятся макулатурой. Но есть один Святой Путеводитель, Веллингборо, который никогда не введёт тебя в заблуждение, если только ты следуешь его правилам, и немного благородных памятников остаётся, когда пирамиды рушатся.

Но хотя я поднялся с порога более печальным и более мудрым мальчиком, и хотя мой путеводитель был лишён своей непогрешимой репутации, я не отнёсся с оскорблением или презрением к священным страницам, которые когда-то были маяком моему родителю.

Нет. Бедный старый путеводитель, подумал я, нежно поглаживая его спину и с почтением разглаживая загнутые углы, я не откажусь от тебя из-за презрения, старый Сафьян! Ты пока останешься испытанным проводником по многим старым улицам в старых частях этого города, даже если ты был виноват, тогда и сейчас, относительно отеля «Риддо» или чего-то другого в прошлом. Тогда я нежно посмотрел на страницы, как на того, кого любят больше, чем бранят, и взгляд мой упал на пассаж, касающийся «Старого дока»,

который сильно разбудил моё любопытство. Я решил увидеть место без промедления и пошёл дальше, предположив, что выбрал правильное направление, и, как и в прошлый раз, обнаружил себя перед широкой и великолепной скульптурой из коричневых камней, и, войдя в подъезд, догадался по неопровержимым символам, что здесь должна была быть таможня. После некоторого кратковременного восхищения я снова вынул свой путеводитель, и меня изумило открытие, что согласно его авторитетному суждению я полностью заблуждался относительно этой таможни, как раз там, где я стоял, должен был стоять «Старый док», и, продолжая читать о нём, я встретился с таким очень уместным пассажем: «Первое, что поражает иностранца по прибытии в этот док, состоит в необычайном множестве больших судов на плаву прямо в сердце города, без какой-либо видимой связи с морем».

Здесь и сейчас сразу же встал вопрос! Старый Сафьян признавался, что в этом состояло чудесное «своеобразие» места, и при этом он не пытался отрицать, что удивительным было то, что этот невероятный док, казалось, не имел никакой связи с морем! Однако тот же самый автор продолжал говорить, что «удивлённый незнако-

мец должен придержать на некоторое время своё удивление и повернуть налево». Но ни справа, ни слева места, отвечающего этому описанию, заметно не было.

Это тоже в целом озадачивало и нелегко сопоставлялось, даже если делать обычные скидки на рост и существенные улучшения в городе с течением времени. Поэтому с путеводителем в руке я обратился к полицейскому, стоявшему в стороне, и попросил рассказать, знаком ли он с каким-либо местом в этом районе, называемом «Старый док». Он сначала посмотрел на меня с любопытством и после, заметив, что я был, очевидно, нормален и, кроме того, довольно цивилизован, ударил по своему хорошо полированному ботинку своей ротанговой палкой, поднял воротник своего пальто с серебряным кружевом и приобщил меня к знанию следующих фактов.

Оказалось, в этом месте первоначально находился бассейн, у которого город одолжил часть своего имени и который первоначально был окружён большей частью старых поселений, и этот бассейн оставался внутри «Старого дока» для стоянки торговых судов, но несколько лет назад был засыпан и предоставил место для сто-

явшей передо мной таможни.

Теперь я рассматривал пятно, чувствуя себя немного сродни восточному путешественнику, стоящему на краю Мёртвого моря. Казалось, что гибели Гоморры не случилось, и озеро превратилось в существующий камень и раствор.

Ну, хорошо, Веллингборо, решил я, ты должен положить книгу в свой карман и, оказавшись дома, отнести её Обществу антикваров, а это отсюда в нескольких тысячах с лишним лиг и фарлонгов в лучшем случае. Чувствуешь запах этого старого сафьянового переплёта, Веллингборо? Не запах ли это мумий? Не напоминает ли он тебе о Хеопсе и катакомбах? Я говорю тебе, что книга была написана до утерянных книг «Жития» и является кузиной той безвозвратно ушедшей книге, называемой «Войны Господа», как сказано Моисеем в «Пятикнижии». Подними её, Веллингборо, подними её, мой дорогой друг, и после этого суй свой нос по всему Ливерпулю — она будет держать тебя, несмотря ни на что, и да будут грот-мачта твоего судна и шпиль святого Георгия твоими ориентирами.

Нет! И я снова нежно потёр его обложку и аккуратно приложил свободный лист: нет, нет, я пока не брошу тебя. Вперёд, старый Сафьян! И направь

мой взгляд, привязав его к почтенному аббатству Беркенхед, и позволь этим нетерпеливым глазам созерцать особняк, когда-то занятый старыми графами Дерби!

Ведь книга рассуждала об обоих местах и говорила, что аббатство находится на Чеширском берегу, полностью видимо с Ланкаширской стороны и покрыто плющом и великолепным мхом! И о том, что дом благородных Дерби стал теперь общегородской тюрьмой и что это обстоятельство было полно предложений и исполнено мудростью!

Но увы! Я так никогда и не увидел аббатства, по крайней мере, оно ни разу не оказалось в поле зрения с воды, а что касается графского дома, то я его тоже так не увидел.

Ах-ах и десять раз увы! Я должен был посетить Старую Англию напрасно? В стране Томаса Беккета и отважного Джона Гентского не заметить ни малейшего фрагмента монастыря или замка? Неужели во всей Британской империи нет ничего, кроме этих закопчённых рядов старых магазинов и складов? Разве Ливерпуль — это печь для обжига? Да ведь ни одно здание здесь не выглядит столь же древним, как старый особняк с фронтоном моего дедушки по материнской линии,

чьи кирпичи были привезены из Голландии задолго до войны за независимость! Это обман, одурачивание, мошенничество, мистификация! Это хвастовство, Англия не более старая, чем штат Нью-Йорк: если это не так, то покажите мне доказательства — предоставьте оправдания.

Где башня Юлия Цезаря? Где римская стена? Покажите мне Стоунхендж!

Но, Веллингборо, я выразил протест самому себе, ты находишься всего лишь в Ливерпуле, античные памятники лежат на севере, юге, востоке и к западу от тебя, а ты всего лишь юнга, и ты не можешь быть великим путешественником и посещать памятники старины в такой нелепой охотничьей куртке, как твоя. Действительно, не можешь, мой мальчик.

Правда, правда — так оно и есть. Я не путешественник, которым был мой отец. Я всего лишь перевозчик через Атлантику.

После утомительной дневной прогулки я, наконец, достиг к ужину ориентиров «Балтиморского клипера», и Красивая Мэри налила мне полную чашку чая, в которой со временем я утопил всю свою меланхолию.

Глава XXX II
Доки

Больше шести недель стоял «Горец» в Принцевом доке, и в течение всего этого времени, помимо наблюдений за всем, что непосредственно меня окружало, я устроил себе множество экскурсий в соседние доки, поскольку никогда не уставал ими восхищаться.

Раньше я видел только несчастные деревянные причалы и грубые, неуклюжие пирсы Нью-Йорка, но вид здешних мощных доков наполнил мой молодой ум удивлением и восхищением. В Нью-Йорке, что и говорить, я не мог не остаться поражённым длиной погрузочной линии и смешанной чащей мачт вдоль Ист-Ривер, хотя моё восхищение весьма резко осадили кривые, неприглядные причалы, которые, я уверен, стали упрёком и позором для города, который их терпит.

Принимая во внимание, что в Ливерпуле я созерцал великие китайские каменные стены, широкие пирсы из камня и непрерывный ряд полностью оборудованных доков с гранитной

каймой, многие из которых были связаны между собой, то они почти напомнили великую американскую цепь озёр: Онтарио, Эри, Сент-Клер, Гурон, Мичиган и Верхнее. Уровень и основательность этих построек казались сравнимыми с тем, что я читал о старых пирамидах Египта.

Ливерпуль может справедливо утверждать, что в наши дни он породил принцип так называемого «мокрого дока» и всего, что связано с его обликом, строительством, обслуживанием и усовершенствованием. Даже Лондон был вынужден копировать Ливерпуль, и Гавр последовал его примеру. Размеры, стоимость и возраст ливерпульских доков даже в настоящее время превосходят все другие доки мира.

Первый док, построенный городом, это «Старый Док», на который я ссылался в моей воскресной прогулке с моим путеводителем. Он был построен в 1710 году, начиная с которого периодически и постепенно возникала эта длинная каменная линия дока, теперь обрамляющая ливерпульскую сторону Мерси.

Миля за милей вы можете идти по этой прибрежной полосе, проходя док за доком, как мимо цепи из огромных крепостей: принца, Георга, Солёного дома, Кларенса, Брансуика, Трафальгара,

короля, королевы и многих других.

В духе патриотической благодарности тем военным героям-морякам, чья доблесть сделала так много для защиты британской торговли, в которой Ливерпуль владел большой долей, город издавна нарекал большие современные улицы такими особо прославленными именами, что Бродвей мог бы ими гордиться: Дункана, Нельсона, Родни, святого Винсента, Нейла.

Мне кажется, жаль, что они не даровали эти же благородные имена своим благородным докам так, чтобы те смогли войти в ряд памятников, пригодных для увековечивания имён героев, защищавших торговлю, неразделимо связанную с этими самыми доками.

И насколько лучше, если б такие действующие памятники существовали, наполненные жизнью и суетой, это было бы лучше, чем обелиски Луксора в пустыне и пустующие каменные башни, сами по себе бесполезные для мира, безуспешно надеявшиеся увековечить имена, одиноко и отдельно вырезанные на их граните. Это действительно памятники — кенотафии, стоящие вдалеке от истинной известности героя, который, — если он действительно был героем, — должен продолжать связь с живыми интересами

своего народа, ведь истинная известность — свободная, лёгкая, обобщающая и всеобъемлющая. Эти же — всего лишь надгробные плиты, обозначившие его смерть, но не прославляющие для меня его имя. Это довольно хорошо ощущается по бесславной и трижды несчастной могиле денежного мешка, некой огромной мраморной колонне, что должна быть воздвигнута и отмечать тот факт, что он жил и умер; ведь такие отчёты обязательны для сохранения слабеющей памяти о нём среди людей, хотя эта память вскоре должна будет рухнуть вместе с мрамором и соединиться с тупым забвением толпы. Но постройка такого воплощения напыщенного тщеславия на останках героя становится пятном на его известности и оскорблением его духа. И выстроенные ряды шкафов с буквами алфавита это более стойкие памятники, нежели основанные даже самим Хеопсом при участии всех карьеров Египта и Нубии.

Несколько упомянутых выше доков носили имена короля и королевы. В то время они часто напоминали мне о двух главных улицах в деревне в Америке, откуда я пришёл, которые когда-то имели радость носить те же самые королевские названия. Но их окрестили до появления

Декларация независимости, и спустя несколько лет после этого в лихорадке свободы они были отменены на торжественном городском митинге, где король Георг и его супруга были торжественно объявлены не достойными увековечения в деревне Л. Деревенский антиквар однажды сказал мне, что комитету из двух парикмахеров поручили написать и сообщить пришедшему в смятение упомянутому старому джентльмену об этом факте.

Поскольку описание любого из этих ливерпульских доков будет в значительной степени ответом за все остальные, я попытаюсь изложить некий отчёт о Принцевом доке, где отдыхал «Горец» после своего прохождения через Атлантику.

Этот док, сравнительно недавней постройки, является, возможно, самым большим из всех и самым известным американским матросам из-за того, что он наиболее часто посещаем американскими судами — бейте в колокол! Здесь стоят благородные нью-йоркские пакетботы, стоянки которых находятся в конце Уолл-стрит, здесь же швартуются хлопковые суда из Моубила и Саванны и торговые суда.

Этот док, как и другие, был построен, главным образом, по дну реки из окружающего грунта

и скал, старательно выкопанных и уложенных снова в качестве материалов для причалов и пирсов. Со стороны реки Принцев док защищён длинным каменным пирсом, преграждаемым внушительной стеной, и затем со стороны города упирается в подобные же стены, одна из которых идёт вдоль проезда. Всё пространство, таким образом, имеет продолговатую форму и, предполагаю, что по приблизительным подсчётам включает около пятнадцати или двадцати акров, но поскольку у меня не было инспекторской рейки, когда я принялся за расчёт, то не уверен в этом.

Площадь самого дока, исключая окружение причалов, может быть оценена, скажем, в десять акров. Для доступа внутрь с улицы имеются несколько ворот, да так, что если их закрыть, то весь док оказывается закрыт, словно дом. Со стороны реки вход через затвор и вход для судов доступны только тогда, когда уровень воды в доке совпадает с таким же уровнем реки, а во время высокого прилива уровень дока находится всегда на этой отметке. Поэтому, когда происходит отлив в реке, кили судов, подошедших к причалам, оказываются поднятыми более чем на двадцать футов выше килей тех судов, что

находятся по течению реки. Это, конечно, производит эффект на незнакомца, увидавшего сотни огромных кораблей, стоящих на воде высоко наверху в сердце массивной каменной кладки. Принцев док обычно так заполнен погрузкой, что вход вновь прибывшего судна обычно вызывает всеобщее движение среди всех более старых обитателей. Распорядители дока, чьи полномочия отмечены оловянными знаками, носимыми на их шляпах, расставляют кормы и баки разных судов и осыпают окружающих гостей градом всяческих указаний: «Эй, „Горец“! Сбросьте свой булинь и встаньте рядом с „Нептуном“!» — «Эй, „Нептун“! Отдайте кормовой швартов и отойдите на сторону „Трайдента“!» — «Эй, „Трайдент“! Уберите булинь и зайдите по корме „Неустрашимого“!» И так всё это пробегает по кругу как электрическая искра, троньте одного — и вы заденете всех. Такой вид работы злит и раздражает матросов до последней степени, но это только одно из неизбежных неудобств, имеющихся в доке, которые перевешиваются неисчислимыми достоинствами.

Если затвор поднят, то бассейн всегда соединён с открытой рекой через узкий вход между головными частями плавучего пирса. Этот бассейн

создаёт нечто вроде вестибюля в самом доке, где стоят суда, ожидающие своего момента для входа. Во время шторма необходимость этого бассейна очевидна, поскольку невозможно сходу поставить судно в док после путешествия через океан. С бурных волн оно сначала проскальзывает в вестибюль между головными частями плавучего пирса, а уже отсюда в доки.

Относительно стоимости доков я могу только заявить, что Королевский док, вместительный, но сравнительно небольшой по площади, был закончен с расходами приблизительно в £20,000.

Наш старый корабельный сторож, ливерпульский уроженец, который долго бороздил моря, поведал любопытную историю об этом доке. Одно из судов, которое перевозило войска из Англии в Ирландию во время войны короля Уильяма в 1688 году, вошло в Королевский док в первый день после того, как тот был открыт в 1788, с интервалом в один век. Это был тёмный небольшой бриг под названием «Порт-а-Ферри». И вероятно, что его дерево, должно быть, так часто восстанавливали в течение ста лет, что одно только название, возможно, было единственным, что изначально оставалось у него в то время. Участки мостовой, если они очень ши-

рокие, вдаются в стены, и вдоль края причалов стоят ряды железных сараев, предназначенных для временного приюта разгруженных товаров. Ничто не в состоянии превзойти суматоху и активность, происходящую вдоль этих причалов в течение всего дня: товары, ящики, коробки и чемоданы выбрасываются тысячами рабочих, грузовые телеги засыпаются зерном и отъезжают, владельцы дока кричат, матросы всех стран орут в своих снастях, и эхо, отражаемое высокими окружающими стенами, ещё больше усиливает весь этот шум.

Глава XXXIII
Малые суда и корабли с немецкими эмигрантами

Каждый окружённый своим широким каменным поясом ливерпульский док — это окружённый стеной город, наполненный жизнью и волнением, или, лучше сказать, это — небольшой архипелаг, воплощение мира, где представлены все страны мира христианского и даже языческого. Ведь само по себе любое судно есть остров, плавучая колония народа, которому оно принадлежит.

Здесь собираются вместе самые дальние земные пределы, и в коллективе штанг и древесины этих судов присутствуют леса всего земного шара, подобно великому парламенту мачт. Канада и Новая Зеландия шлют свои сосны, Америка — свой живой дуб, Индия — свой тик, Норвегия — свою ель, благородное красное дерево предоставляет Гондурас, и кампешевое дерево стоит рулевым колесом на своём посту. Здесь, под благотворным влиянием Гения торговли обнимаются все страны и края, и нок-рея по-братски касается

нок-реи.

Ливерпульский док — великий караван-сарай гостиниц и отелей, построенный по просторному и либеральному плану Астор-Хауса. Суда здесь заселяются на временный пансион, и с них не требуют оплаты до момента отъезда. Здесь они удобно размещены и обеспечены всем необходимым, защищены от всех непогод и оберегаемы от всех бедствий. Едва ли я могу верить историям, которые слышал, но иногда при сильной буре суда, лежащие в самой середине доков, теряют свои главные галантные мачты. Безотносительно к тяжёлому труду и тяготам, с которыми они столкнулись в путешествии — идут ли они из Исландии или с побережья Новой Гвинеи, — здесь их страдания заканчиваются, и они начинают чувствовать облегчение в своей водной гостинице.

Я не знаю, сколько времени я потратил, глядя на отгрузку в Принцевом доке и размышляя относительно их прошлых путешествий и будущих жизненных перспектив. Некоторые только что прибыли из самых дальних портов, потёртые, побитые и недееспособные, а другие, словно в насмешку, нарядные, весёлые и блестящие, готовые выйти в море.

Каждый день у «Горца» появлялся новый сосед. Чёрный бриг из Глазго со своей командой трезвых шотландских колпаков и своим степенным, цветущим по виду шкипером, мог смениться весёлым французским двуполым цветком, его баком, отзывающимся эхом песен и квартердеком, пружинящим под буйным танцем.

С другой стороны, возможно, что великолепный нью-йоркский лайнер, огромный, как семидесятичетырёхпушечный корабль, предвосхищая идеи Миварта и Делмонико в отношении кораблей, уступил бы путь сиднейскому судну для эмигрантов, берущему на борт живой груз, состоящий из пастухов с Грампианских гор с тем, чтобы вскоре высадить их толпы на холмах и низинах Нью-Холланда.

Мне были особенно рады и всячески угождали на многих малых каботажных корабликах, построенных как шлюпы и по размеру ненамного больше катера, но с широкими бортами, окрашенными в чёрный цвет и несущими красные паруса, которые смотрелись так, как будто они были протравлены и покрашены на кожевенном заводе. Эти малыши со своими грузами всё время пересекались с судами, курсирующими в Америку и обратно, и, расположившись по пять или

шесть рядом с высокими корпусами американцев, напоминали стайку красных муравьёв возле туши чёрного буйвола.

Когда они находятся в загруженном состоянии, то выглядят смешными маленькими корабликами, чья палуба стоит вровень с водой, а груз плотно расположен под люками, и часто, когда на реке дул свежий ветер, я видел, что они, летя по волнам, становятся почти невидимы, если бы не мачта с парусом и человек за румпелем.

Было занимательно наблюдать за самомнением шкипера какого-нибудь из этих крошечных судов. Он воплощал собой весь дух адмирала, стоящего на корме трёхпалубного судна и, несомненно, таким сам себя и мнил. А почему нет? Мог Цезарь ли хотеть большего? Хотя его судно было не самое большое, оно подчинялось ему, пусть даже его команда состоит лишь из него одного; уж если он хорошо с ним управлялся, то он достиг триумфа, который моралисты всех возрастов поставили бы выше побед Александра.

Этот обман присутствует в каждой из небольших кают, самых симпатичных, очаровательных и восхитительных маленьких конур в мире, ненамного больших, чем старомодный альков для кровати. Они освещаются через неболь-

шие круглые окошки, врезанные в палубу так, что для человека посвящённого потолок походит на маленький небесный свод, мерцающий от звёздного сияния. Для высоких мужчин, тем не менее место было слишком плохо приспособлено, сидячее или лежащее положение здесь обязательно при нахождении в каюте. Пусть маленькая, низкая и узкая, но эта каюта так или иначе представляет собой помещение, предназначенное для шкипера и его семьи. В то время я часто наблюдал за опрятной, милой женой, сидевшей в открытом небольшом люке, словно в двери коттеджа, занятой вязанием носков для своего мужа, или, возможно, подстриганием его волос, если он стоял перед нею на коленях. И однажды, интересуясь, как такая чета, как эта, размещается в комнате, я зашёл мимоходом вниз и был поражён шумным выходом наружу юных смолёных созданий с вишнёвыми от беготни щеками, похожих на множество кудрявых спаниелей, выскочивших из конуры.

Однажды мне стало любопытно попасть на судёнышко и вступить в разговор с его шкипером, холостяком, который содержал дом в полном одиночестве. Я нашёл его очень общительным, приятным малым, который со вкусом создал уют

вокруг себя. Это было вечером, и он пригласил меня вниз в своё святилище на ужин, и там мы уселись вместе, как в подвале, словно пара устриц в коробке.

«Хе-хе, — хихикнул он, встав на колени перед толстой, сырой маленькой бочкой с пивом и поднеся треугольный кувшин к кранику. — Ты видишь, Джек, я держу все вещи здесь, и мне одному хорошо. Как раз перед тем как ложиться спать, неплохо бы принять чашечку на ночь, ты знаешь, а, Джек? Здесь и сейчас почмокай это, мой мальчик, хочешь покурить трубку? Но остановись, позволь нам сначала поужинать».

И затем он подошёл к небольшому шкафчику, висевшему напротив, что-то недолго поискал в нем и обратился к нему с фразой: «Что хорошего здесь, чем поприветствуешь?» — после чего появились хлеб, маленький кусочек сыра, немного ветчины и фляга с маслом. И затем на своих коленях уложил доску, организовав стол с пивным кувшином в центре. «Почему у стола всего лишь две ножки? — сказал я. — Позвольте нам сделать четыре».

Так мы разделили тяжесть от стола и вместе весело поужинали на коленях.

Он покрылся старческим румянцем, его загоре-

лые щёки покраснели, и моей душе стало хорошо от вида пивной пены, пузырящейся у него во рту и искрящейся на его каштановой бороде. Он так походил на большую кружку пива, что я почти испытывал желание взять его за шею и опрокинуть.

«Теперь, Джек, — сказал он, когда ужин был закончен, — теперь, Джек, мой мальчик, не покурить ли? Хорошо, тогда набивай». И он вручил мне кисет с табаком из тюленьей кожи и трубку. Мы сидели вместе, курили в его маленьком морском кабинете, пока он не начал сильно напоминать место временного пребывания душ в Тофете, и, несмотря на румяный нос моего хозяина, я едва мог разглядеть его за дымом.

«Хе-хе, мой мальчик, — затем сказал он. — Я никогда здесь не ошибаюсь, говорю тебе: я выкуриваю их всегда каждую ночь перед тем, как лечь спать».

«И где вы будете спать?» — сказал я, оглянувшись и не видя признака кровати.

«Сон? — сказал он. — Я потому сплю в своём жакете, что это лучшее покрывало, и я использую свою голову в качестве подушки. Хе-хе, забавно, не так ли?»

«Очень забавно», — согласился я.

«У нас есть ещё немного пива? — сказал он. — Ещё много». — «Хватит, спасибо, — сказал я. — Я полагаю, что пойду», — из-за табачного дыма и пива у меня появилось желание вдохнуть свежего воздуха. Кроме того, моя совесть укорила меня за то, что таким способом я бесплатно насладился едой.

«Сейчас не ходи, — сказал он, — не ходи, мой мальчик, не выходи на сырость, послушай совет старого христианина, — кладя свою руку на моё плечо, — не делай этого. Видишь ли, выйдя сейчас, ты избавишься от действия пива и снова станешь бодрым, но если ты останешься здесь, то скоро тобой овладеет небольшая дремота».

Но, несмотря на эти посулы, я пожал руку хозяина и отбыл. Из засвидетельствованного мною в доках не было ничего более интересного, чем немецкие эмигранты, попадающие на борт больших нью-йоркских судов за несколько дней до своего отплытия, чтобы заранее уютно устроиться перед путешествием. Выделялись старики, шатающиеся от старости, и маленькие грудные дети, смешные девочки в ярких застёгнутых корсажах и проницательные мужчины средних лет с расписными трубками во рту, все вперемешку, толпами по пять, шесть, семь или восемь сотен

человек на одно судно.

Каждый вечер эти соотечественники Лютера и Меленктона собирались на баке, чтобы петь и молиться. И их звонкие гимны, отражающиеся эхом среди переполненной погрузки от высоких стен доков, возвеличивали и вдохновляли каждого из слушателей. Закрыв глаза, можно было решить, что находишься в соборе.

В море они соблюдали этот обычай неукоснительно и каждую ночь в собачью вахту пели песни Сиона под аккомпанемент большого океанского органа: религиозный обычай религиозного народа, который таким способом шлёт свою аллилуйю впереди себя как приветствие незнакомой земле. И в этих трезвых немцах моя страна видит самую организованную и ценную часть своего иностранного населения. Именно они увеличили население её северо-западных штатов и перенесли свои плуги с холмов Трансильвании на прерии Висконсина, и засеяли пшеницей с Рейна берега Огайо, вырастили зерно, которое, в сотни раз возросшее, даст им возможность вернуться к своим родственникам в Европе.

Если есть какое-то положение, в котором Америка должна определиться, так это то, что в благородной груди должны навсегда погаснуть

предубеждения национальной неприязни. Согласно принципам людей всех наций, все нации могут потребовать для себя своё. Вы не можете пролить американскую кровь, не пролив крови целого мира. Пусть это англичанин, француз, немец, датчанин или шотландец, европеец, который насмехается над американцем, называя своего собственного брата «народец», пребывает в опасном заблуждении. Мы не маленькое племя людей с иудейским фанатизмом, чья кровь была пролита в попытке облагородить и сохранить среди нас исключительное престолонаследие. Нет: наша кровь как разлив Амазонки, состоящий из тысячи благородных потоков, слившихся в один. Мы не нация, потому что велики, как мир, и не можем притязать на весь мир как на нашего прародителя, как на нашего Мелхиседека, у нас нет отца и матери.

Ведь кем были наш отец и наша мать? Или мы можем указать любому человеку на Ромула и Рема как на основателей нашего рода? Наша родословная потерялась во вселенском отцовстве: и Цезарь, и Альфред, святой Павел, и Лютер, и Гомер, и Шекспир такие же наши, как Вашингтон, который настолько же велик для мира, насколько он велик для нас. Мы — наследники

всех времён, и со всеми странами мы делимся нашим наследием. В этом Западном полушарии все племена и люди собрались в одно единое целое, и Грядущее увидит раздельно живущих детей Адама вновь собравшимися вокруг старой каменной плиты под очагом в раю.

Другой мир вне этого, который ждали благочестивые в доколумбовую эпоху, был обретён в Новом Свете, и глубина, поначалу поражавшая своим гулом, поднялась сушей Земного рая. Не рай потом или сейчас, а создаваемый богоугодным, изобильным и зрелым. Семя посеяно, и урожай должен созреть, и дети наших детей всемирным юбилейным утром вместе пойдут со своими серпами на жатву. Тогда будет отменено проклятие Столпотворения, придёт новая Пятидесятница, и язык, на котором они должны будут говорить, будет языком Великобритании. Французы, и датчане, и шотландцы, и обитатели берегов Средиземноморья, и в окружающих землях, итальянцы, индийцы и мавры — пусть же сольются их расколотые языки, как сливаются языки пламени.

Глава XXXIV
«Иравади»

Среди различных судов, стоящих в Принцевом доке, ни одно не заинтересовало меня больше, чем «Иравади» из Бомбея, «туземное судно», носящее одно из тех имён, которыми европейцы нарекают большие местные индийские суда. Где-то сорок лет назад эти торговые суда были почти самыми большими в мире, и они в своём большинстве всё ещё остаются такими же. Они построены из знаменитого тика, восточного дуба, или, по восточному выражению, «Короля Дубов». «Иравади» только что прибыла из Индостана с грузом хлопка. Она была укомплектован сорока или пятьюдесятью моряками, индусами по рождению, которыми, как оказалось, непосредственно командовал их же соотечественник, но более высокой касты. В то время как его подчинённые ходили в полосах белого полотна, этот сановник облачался в красный армейский камзол с великолепным золотым кружевом, треуголку и доставал меч. Но общее впечатление портили его босые ноги.

Во время разгрузки его занятие, казалось, состояло в бичевании команды плоскостью его сабли, и в этом деле из-за долгой практики он стал чрезвычайно опытным. Бедняги на канат полиспаста вскакивали высоко и упруго, словно кошки. Когда однажды в воскресенье я взошёл по трапу на борт «Иравади», этот восточный швейцарец обратился ко мне, приставив свой меч к моему горлу. Я вежливо отступил в сторону, выразительно подав знак, свидетельствующий о мирном характере моего намерения посетить судно. После чего он весьма учтиво позволил мне пройти.

Я думал, что оказался в бирманском Пегу, настолько странен был запах тёмного дерева, аромат которого усиливался оснасткой из кайяра, или кокосового волокна.

Индийцы сидели на баке. Среди них были малайцы, маратхи, бирманцы, сиамы и сингалы. Они рассаживались вокруг «люльки», полной риса, который, согласно их неизменному обычаю, они зачерпывали для себя одной рукой, оставляя другую для совсем противоположной цели. Они как сороки болтали на хинди, но я обнаружил, что некоторые из них могли также говорить на очень хорошем английском. Руки у них были

короткие, желтовато-коричневые, жилистые, и мне сообщили, что они стали превосходными моряками, хотя и плохо приспособленными к трудностям северного путешествия. Они сказали мне, что семеро из их числа умерли при выходе из Бомбея, двое или трое — после пересечения тропика Рака, а остальных судьба повстречала в Канале (Ла-Манше), где судно прошло испытание бурными морями, посещаемыми холодными дождями, обычными для этих мест. И ещё двое пропали за бортом при падении с рангоута.

Я, будучи молодым английским юнгой на борту, посочувствовал было потере этих бедняг, когда их предводитель сказал, что это была их собственная ошибка, они никогда не носили коротких курток, а придерживались своих тонких индийских одежд даже в самую плохую погоду. Он говорил о них так же, как сказал бы фермер о потере такого же количества овец при падеже.

Капитан судна был англичанином, так же как и три помощника, владелец и боцман. Эти начальники жили на корме в каюте, где каждое воскресенье читали англиканские молитвы, в то время как язычники на другом конце судна воздавали хвалу ложным богам и идолам. И вот так, с христианством на квартердеке и языче-

ством на баке, «Иравади» бороздила море. Словно символизируя такое положение дел, «необычная часть» кормы несла, помимо многих других резных украшений, крест и митру, в то время как впереди на носу корабля в качестве номинальной главы стоял своего рода дьявол — существо в форме дракона с пламенным красным ртом и похожим на хлыст хвостом.

После того как её груз был выгружен, что было сделано «под звуки флейт и ласковые слова» — подобно работе, выполняемой в военно-морском флоте под музыку боцманской дудки — индийцы были поставлены на «демонтаж судна», то есть к снятию всех её штанг и снастей.

В это время она встала борт о борт с нашим судном, и из-за шума и столпотворения на её борту почти утонули наши собственные голоса. Одетые только в свои набедренные повязки, индийцы скакали поверху, болтая, как стая обезьян, но тем не менее показывая великую ловкость и морскую сноровку своей манерой выполнения работы.

Каждое воскресенье толпы хорошо одетых людей сходились к доку, чтобы увидеть это необыкновенное судно, многие из них залезали на паруса и снасти соседних судов к сильному гневу капитана Рига, который отдал строгий при-

каз нашим старым судовым сторожам сгонять всех чужаков с оснастки «Горца». В тот момент было забавно смотреть на старух с зонтиками, которые стояли на причале, уставившись на индийцев, даже когда те желали уединиться. Эти любознательные старые леди, казалось, считали необычных матросов разновидностью диких животных, которых они могли рассматривать так же безнаказанно и пристально, как и леопардов в зоологическом саду.

Однажды ночью я возвращался к судну и, проходя через ворота дока, заметил белую фигуру, сидящую на корточках напротив наружной стены. Как оказалось, это был один из индийцев, который курил, поскольку инструкции доков запрещают потворствовать этой роскоши на борту его судна. Поражённый любопытной конструкцией его трубки и её ароматом, я спросил, что он курил, он ответил: «Джоггерри», — что оказалось разновидностью сорняка, используемого вместо табака.

Обнаружив, что он говорил на хорошем английском языке и был довольно общителен, как большинство курильщиков, я присел возле Даттабдула-человека, как он назвал себя, и мы приступили к беседе. Эта беседа оказалась на-

столько поучительной, что когда мы разошлись, запас моих знаний значительно вырос. Действительно, это была большая удача, познакомиться с таким человеком. Он знал о вещах, о которых вы никогда и не помышляли, приключения, им пережитые, походили на приключения человека с Луны — абсолютно необычные, заново открытые. Если вы хотите изучить роман или извлечь пользу из понимания вещей, странных, любопытных и чудесных, то отложите свои книги о путешествиях и совершите прогулку вдоль доков большого торгового порта.

Десять к одному, что вы столкнётесь с самим Крузо среди толп моряков со всех концов земного шара.

Но здесь не место для упоминания всех материй, о которых в основном рассуждали я и мой индийский друг, я только попытаюсь передать его мнение о тике и кайяровой верёвке, которое меня интересовало.

Сагун, как он называл дерево, которое производит тик, отлично растёт среди Малабарских гор, откуда его в большом количестве отправляют в Бомбей для строительства судов. Он также сказал о другом виде древесины, сиссоре, которая даёт большую часть «голеней», или «колен»,

и изогнутых деревянных деталей в туземных судах. Сагун вырастает до огромных размеров, иногда до пятидесяти футов в обхвате, и его одинокие ветви отстоят друг от друга на три фута. Его листья очень большие, и, передавая их суть, мой индус уподобил их слоновьим ушам. Он сказал, что из них извлекается фиолетовая краска для окрашивания хлопка и шёлка. Дерево определённо намного тяжелее воды, оно легко обрабатывается, чрезвычайно крепкое и долговечное. Но его главная заслуга состоит в устойчивости к воздействию солёной воды и насекомых, что объясняется содержанием смолистых масел, называемых «пунья».

К моему удивлению он сообщил мне, что «Иравади» была полностью построена урождёнными индийцами, которые, как скромно утверждал он, превосходят европейских мастеров.

Оснастка также была местного изготовления. Поскольку кайяр, из которого она состояла, теперь используется в Англии и в Америке как хорошая верёвка и основа для циновок и ковриков, мой индийский друг счёл, что это, учитывая мои собственные наблюдения, не может меня не заинтересовать. В Индии она изготавливается точно таким же способом, что и в Полинезии. Ко-

косовый орех собирают, пока его корка остаётся зелёной, но уже частично созрела, и эту корку удаляют, держа орех обеими руками и сильно ударяя об остроконечный колышек, поставленный вертикально в землю. Таким способом мальчик разделывает почти полторы тысячи орехов за день. Но кайяр сделан не из шелухи, как можно предположить, а из корки ореха, которую долго вымачивают в воде, а затем разбивают молотком и растирают в волокна. После просушивания на солнце его можно прясть точно так же, как коноплю и любой подобный материал. Волокно, таким способом произведённое, делает верёвку очень крепкой и долговечной, чрезвычайно хорошо приспособленной из-за её лёгкости и прочности для бегучего такелажа, в то время как по тем же самым причинам вкупе с её хорошей крепостью и плавучестью она очень подходит для больших тросов и канатов.

Но эластичность кайяра мало пригодна для парусов и стоячего такелажа, которые требуют соответствующей устойчивости. И поскольку снасти «Иравади» полностью состояли из этого материала, индийцы сказали мне, что они всё время настраивали или изменяли положение её оснастки, смотря по тому, какая была погода,

холодная или тёплая. И потерю фор-стеньги при шквале в тропиках он приписал этому обстоятельству.

После приблизительно двух недель пребывания тяжёлые индийские рангоуты на «Иравади» были заменены на канадскую сосну, а её кайяровые паруса на конопляные. Затем она собрала своих язычников и подняла паруса на Лондон.

Глава XXXV
Галиоты, люди с побережья Гвинеи и плавучая часовня

Другое очень любопытное судно, часто замечаемое в Ливерпульских доках, — голландский галиот, старомодный с виду джентльмен с впадиной посередине, высокими носом и кормой, который, стоя среди скоплений компактных американских торговых кораблей и дерзких французских бригантин, всегда напоминал мне о треуголке среди модных бобровых шапок.

Строительство галиотов не менялось в течение многих веков, и северные европейцы, датчане и голландцы всё ещё ходят по солёным морям в этих плоскодонных судах-солонках, хотя у них имеются суда более современные.

Они редко красят галиоты, но так чистят и лакируют все его доски и штанги, что всей поверхностью они напоминают «яркую сторону» или полированную полосу, обычно опоясывающую американские суда.

Некоторые из них тщательно поддерживаются в порядке и чистоте и напоминают хорошо

вычищенные деревянные блюда или старые дубовые столы, на которые уходит много воска и локтевых усилий. При попутном ветре они плывут хорошо, но при крутом, вследствие их широких корпусов и плоских днищ, к великому прискорбию, дрейфуют.

Каждый день какой-нибудь необычный корабль входил в Принцев док, и едва мой пристальный взгляд всецело застывал на некоем диковинном судне из Сурата или Леванта, как ещё более диковинный корабль поглощал моё внимание.

Среди прочего я вспоминаю небольшой бриг с побережья Гвинеи. По своему виду, он был идеальным кораблём для работорговцев: низкий, чёрный, построенный в виде клипера, а его палубы пребывали в состоянии большого пиратского беспорядка.

У него имелось длинное, ржавое орудие на вертлюге посередине судна, и это орудие было любопытно само по себе. Это, видимо, был некий старый ветеран, конфискованный правительством, и проданный почти задаром, старинная вещица, покрытая наполовину стёршимися надписями, коронами, якорями, орлами, и у неё было две рукоятки около цапф, как у супницы.

Крышка на запальном отверстии была вылеплена в виде голове дельфина, а из-за комичного тщеславия запальное отверстие располагалось в ушном проходе, только крепкая барабанная перепонка, вероятно, смогла бы противостоять услышанному сотрясению.

Бриг, плотно гружёный, стоял между двумя большими судами под балластом, да так, что его палуба была по крайней мере на двадцать футов ниже таких же палуб у его соседей. Будучи закрыты, его люки были похожи на вход в глубокие хранилища или шахты, тем более что его матросы вывозили оттуда некую горную породу, которая, возможно, была золотой рудой, и скрупулёзно меряли её бушелями, в которых и передавали её на причал; и очень внимателен был капитан, темнокожий индеец в мальтийской кепке с кисточкой, стоящий сверху над матросами с карандашом и записной книжкой в руке.

Члены команды выглядели как совершенные пираты: с волосатыми грудями, в фиолетовых рубашках и с дико татуированными руками. У помощника капитана была деревянная нога, и он опирался на изогнутую как винтовая лестница трость. На борту этого судна царила ругань, которой было бы больше, если б рядом

не пришвартовалась плавучая часовня. Она была сделана из корпуса старого военного шлюпа, который был перестроен в морскую церковь. На нем был по ставлен дом, и место шпиля занимала мачта. Возле основания шпиля находился небольшой балкон, приблизительно в двадцати футах от воды, где в рабочие дни я привык видеть старого просмолённого ветерана, сидящего на складной табуретке и читавшего свою Библию. По воскресеньям он поднимал флаг сектантской молельни и, как муэдзин или молитвенный чтец на вершине турецкой мечети, взывал прогуливающихся матросов к преданности их вере, неофициально, но от себя лично заклиная их не становиться глупцами, а прилежно собраться вокруг кафедры проповедника, как вокруг кабестана на военном корабле. Это был старый достопочтенный пономарь. Я несколько раз посещал часовню и находил там очень организованную, но малочисленную конгрегацию. Когда я пришёл туда первый раз, священник рассуждал о будущих наказаниях и намекал на Адское озеро, что вкупе с пахучим просмолённым старым корпусом вызывало самые яркие ассоциации, которые у меня когда-либо возникали.

Плавучие часовни, что стоят в некоторых доках, по своей форме представляют собой одно из средств, которыми пытаются побудить моряков, посещающих Ливерпуль, обратить свои мысли на серьёзные материи. Но поскольку очень немногие из них когда-нибудь решаются войти в эти часовни, пусть даже пройдя мимо них двадцать раз в день, то по воскресеньям часть клириков обращается к ним под открытым небом с причальных углов или везде, где только можно собрать аудиторию.

Каждый раз, когда в моих воскресных прогулках я замечал кого-либо из их конгрегации, то всегда считал обязательным для себя присоединиться к ним и сам оказывался окружённым разноцветной толпой моряков со всех частей земного шара, и женщин, и портовых грузчиков, и докеров всех специальностей. Зачастую священнослужитель стоял на старой бочке, одетый в полное церковное облачение, как богослов англиканской церкви. Я никогда не слышал религиозных бесед, наилучшим образом подогнанных для такой человеческой аудитории, как матросы, почти в основном продвигающих за поведи, убедительные и бесспорные, как в геометрии Евклида, и показывающих на примерах страдания

из-за совершённых грехов. Никакая простая риторика тут не помогает, её прекрасные обороты суть тщеславие. Вы не можете воздействовать на матросов силой. На них нужно напирать простыми фактами. И обычно таким и был способ, при помощи которого общалось упоминаемое духовенство: те, кто выбирает для своих бесед знакомые темы, что находятся на одном уровне с тем, что хочет их аудитория, всегда преуспевают в привлечении её внимания. В частности, дело касается двух больших пороков, которые больше всего свойственны матросам и которые приводят их к совместному крушению души и тела, такие явления наиболее распространены. И я несколько раз видел в доках, что облачённый священнослужитель обращается к широкой аудитории, состоящей из женщин, пришедших с печально известных соседних переулков и аллей.

Разве не так должно быть? Начиная с поиска истины преподобное духовенство походит на своего божественного Господина не принести несправедливости, но привести грешников к раскаянию. Разве некоторые из них не оставляют перестроенные и комфортные конгрегации, в которых они служили год за годом, и сразу же

погружаются, как святой Павел, в очаги заразы и порочных сердец: тогда действительно, они обнаруживают, что справляются с сильным врагом, и победа, одержанная над ним, даёт им право на венок завоевателя. Лучше спасти одного грешника от очевидного греха, который способен его погубить, чем ознакомить с десятью тысячами святых. И подобно тому, как с каждого угла в католических городах святые Дева Мария и младенец Иисус постоянно напоминают каждому прохожему о его Небесах, так и кафедры протестантских проповедников воздвигаются на рынках и на перекрёстках, где божьих людей могут услышать все Его дети.

Глава XXXVI
Старая церковь Святого Николая и морг

Плавучая часовня навевает воспоминания о «Старой церкви», известной многим поколениям моряков, посещавших Ливерпуль. Она стоит очень близко к докам в виде почтенной массы из коричневого камня и именуется горожанами церковью Святого Николая. Я полагаю, что из всех старинных зданий во всем Ливерпуле она сохранилась лучше всего.

Прежде чем город приобрёл современную важность, она была единственным храмом на той стороне Мерси и, находясь на территории смежного округа Уолтон, представляла собой простую часовню, хотя прямые спинки церковных скамей обеспечивали посетителям неплохой комфорт.

В прежние времена перед церковью стояла статуя святого Николая, покровителя моряков, которому, как к святому одного с ними ранга, все набожные матросы адресовали просьбы ниспослать им быстрое и удачное путешествие. Красиво звонили колокола в её башне, и я хорошо

помню моё восхищение, когда я впервые услышал их в первое воскресное утро после нашего прибытия в док. Они, казалось, несли с собой напоминание, что-то вроде предупреждения, передаваемого молодому Уиттингтону колоколами церкви Святой Марии в Лондоне: «Веллингборо! Веллингборо! Ты не должен забывать пойти в церковь, Веллингборо! Не забывай, Веллингборо! Веллингборо! Не забывай».

Тридцать или сорок лет назад в эти колокола звонили по возвращению каждого ливерпульского судна из иностранного путешествия. До чего же сильно это иллюстрировало рост городской торговли! Наблюдая тогда тот же самый обычай, скажу, что у колоколов редко выпадала возможность помолчать.

Что показалось самым поразительным в этой почтенной старой церкви и что показалось самым варварским и повлияло на почитание, с которым я относился к этой освящённой временем постройке, так это окружающее её кладбище. Его из-за близкого соседства с прибежищем толп докеров вдоль и поперёк пересекали проходы во всех направлениях, и по надгробным плитам, которые не стояли вертикально, а лежали (действительно, своим положением способствуя

шлифовке собственной поверхности), постоянно ходило множество людей, и их пятки стирали черепа и скрещённые кости как последнее напоминание о покойном. Когда рабочие, использовавшиеся при погрузке и разгрузке, в полдень уходили на час, чтобы пообедать, многие из них удалялись на кладбище и располагались на надгробных плитах, используя смежные плиты в качестве стола. Я часто видел мужчин, разлёгшихся в пьяном сне на эти плитах, и однажды, отодвинув руку одного из спящих, прочитал следующую надпись, которая, пожалуй, больше подходила живому человеку, нежели мёртвому:

УЛЕГШИСЬ ЗДЕСЬ, ВЫ ФОРМОЙ УПОДОБИТЕСЬ ПЬЯНИЦЕ ТОБИАСУ.

Из-за двух незабываемых обстоятельств, связанных с этой церковью, я обязан моему прекрасному другу Сафьяну, который сообщил мне, что в 1588 году граф Дерби, направляясь к своей резиденции и ожидая возможности прохода к острову Мэн, совместными усилиями установил и украсил роскошную конюшню в церкви для своего приёма. И, кроме того, во время кромвелевских войн эта местность была занята безумным племянником короля Карла, принцем Рупертом,

который переделал старую церковь в армейскую тюрьму и конюшню, тогда же, несомненно, другая «роскошная конюшня» была устроена для коня некоего благородного кавалерийского офицера.

В подвале церкви находится Дом мёртвых, подобно Моргу в Париже, где выставляют тела утопленников, пока их не востребуют друзья или пока их не похоронят на общественные средства.

Из-за множества занятых на погрузке людей этот морг всегда более или менее заполнен. Каждый раз, когда я проходил по Чепел-стрит, то, пользуясь моментом, видел, как толпа пристально смотрит через мрачную железную решётку двери на лица утопленников, находящихся внутри помещения. И однажды, когда дверь была открыта, я увидел матроса, вытянувшегося, неподвижного и окоченевшего, с завёрнутым рукавом на костюме, открывающем на руке татуировку с его именем и датой рождения. У него был настолько внушительный вид, что выглядел он как свой собственный надгробный камень.

Мне сказали, что за извлечение упавших в доках людей в случае, если человек вернулся к жизни, предлагается приличное вознаграждение и суммы поменьше, если он безвозвратно

утонул. Соблазнённые этим, несколько неприятных стариков и женщин постоянно рыскают в доках, выискивая тела. Я замечал их преимущественно ранним утром, когда они выходили из своих логовищ, действуя по тому же самому принципу, что и мусорные сборщики, собирающие тряпки на улицах и выходящие пораньше при первых же лучах света, то есть когда ночной урожай уже созрел.

Кажется, нет такого человеческого бедствия, которое не приносило бы кому-то доход. Предприниматели, дьячки, могильщики и возничие катафалков живут за счёт мёртвых и более всего процветают во время чумы. И эти несчастные старики и женщины охотятся за трупами, чтобы удержать самих себя от попадания на кладбище, поскольку сами по себе они самые несчастные из всех голодных.

Глава XXXVII
Что увидел Редберн на улице Ланселот-хэй

Морг напомнил мне о других печальных вещах, поскольку рядом с ним располагалось и без того много мест, связанных с весьма болезненными событиями.

Идя к нашему пансиону под вывеской с балтиморским клипером, я обычно проходил по узкой улице под названием

«Ланселот-хэй», обставленной тёмными, подобными тюрьмам, хлопковыми складами. На этой улице или, скорее, переулке вы редко встретите кого-либо, кроме грузчика или некоего старого одинокого складского сторожа, обитающего как призрак в своём прокопчённом логове.

Однажды, проходя через это место, я услышал слабый крик, который, как показалось, выходил из-под земли. Тут была всего лишь полоска изогнутого тротуара, тёмные стены стояли по обеим сторонам дороги, превращая полдень в сумерки, и в поле зрения не было ни души. Я привстал и уже почти побежал, когда услышал

этот заунывный звук. Он показался низким, безнадёжным и каким-то навсегда потерянным. Наконец, я подошёл к отверстию, которое сообщалось с находящимися внизу глубокими рядами подвалов старого разрушенного склада, и там, приблизительно на пятнадцать футов ниже дорожки в невыразимом запустении разглядел сидящую со склонённой головой какую-то женщину. Её синие руки были сложены на её мертвенно-бледной груди, в то время как двое сидевших рядом детей прислонились к ней с обеих сторон. Сначала я не понял, были они живы или нет. Они не подавали никаких признаков жизни, они не двигались и не шевелились, но именно из этого хранилища только что исходил отвратительный душевный вопль.

Я топнул ногой, в тишине топот далёким эхом отразился повсюду, но не было никакого ответа. Я топнул ещё сильней, тогда кто-то из детей поднял свою голову и бросил наверх слабый взгляд, потом закрыл свои глаза и остался неподвижным. Женщина тоже пристально посмотрела и почувствовала моё присутствие, но позволила себе также опустить глаза. Они были немыми и горели желанием умереть. Как они оказались в этом логове, сказать не могу, но они залезли

туда, чтобы умереть. В тот момент я никак не думал об их вызволении, поскольку смерть и так отпечаталась в их остекленевших и неумолимых взглядах, в котором я почти прочитал их готовность к ней и ничего больше. Я оказался выше их по положению, в то время как вся моя душа возвысилась внутри меня, и я спросил самого себя, есть ли у кого-либо в необъятном мире право улыбаться и радоваться, когда замечаешь такие достопримечательности, как только что представшие перед глазами? Достаточно было повернуть сердце к злобе и стать человеконенавистником. Ведь кем были эти призраки, которых я видел? Были ли они человеческими существами? Женщина и две девочки? С глазами, губами и ушами, как у любой другой королевы? с сердцами, пусть и не наполненными кровью, но ещё бьющимися вместе с тупой, мёртвой болью, из которой состояла их жизнь. Наконец я вышел на открытую часть переулка, надеясь встретить там какую-нибудь из оборванных старух, которых я ежедневно замечал копающимися в вонючем мусоре в поисках небольших кусочков грязного хлопка, которые они выстирывали и продавали за гроши.

Я нашёл их и, обратившись к одной, спросил,

знает ли она о людях, от которых я только что пришёл. Она ответила, что нет и знать не хочет. Тогда я спросил другую, несчастную беззубую старуху в тряпичных полосах из грубой материи, обмотанных вокруг её тела. Недолго посмотрев на меня, она возобновила сгребание своего мусора и сказала, что знает, что случилось с теми, о ком я только что говорил, но у неё нет времени проявлять внимание к нищим и их отродью. Обратившись к следующей, которая, как казалось, знала о моём деле, я спросил, нет ли какого-либо места, куда можно будет отправить эту женщину. «Да, знаю, — ответила она, — это кладбище». Я сказал, что она живая, а не мёртвая.

«Тогда она никогда не умрёт, — последовало возражение. — Она там внизу уже три дня абсолютно без еды — вот что я знаю».

«Она этого заслуживает, — сказала старая ведьма, положив на своё кривое плечо набитый мешок, и повернулась, чтобы заковылять прочь, — Бетси Дженнингс этого заслуживает — разве она была когда-нибудь замужем, скажите мне?»

Покинув Ланселот-хэй, я свернул на более людную улицу и скоро, встретив полицейского, сказал ему о состоянии женщины и девочек.

«Это совсем не моё дело, Джек, — сказал он. — Я не занимаюсь этой улицей».

«Чья тогда она?»

«Я не знаю. Но вам-то что до этого? Разве вы не янки?»

«Да, янки, — сказал я. — Но придите, я помогу вам вытащить эту женщину, если вы скажете, как это сделать».

«А теперь идите, Джек, садитесь на ваш корабль и оставайтесь на нём, а эти вопросы предоставьте решать городу».

Я обратился к ещё двум полицейским, но не добился успеха, они даже не захотели пойти со мной к указанному месту. Правда, оно находилось вне дороги, в тихом, удалённом месте, а страдания этих трёх изгоев, скрывавшихся глубоко в земле, напоказ не выставлялись.

Вернувшись к ним, я снова потопал, чтобы привлечь их внимание, но уже ни одна из этих троих не поглядела вверх и даже не пошевелилась. Пока я всё ещё стоял в нерешительности, чей-то голос позвал меня из высокого, с железными ставнями окна в строении на дороге и спросил, что меня беспокоит. Я попросил человека, с виду швейцара, сойти вниз, что он и сделал, и затем указал вниз на хранилище.

«Хорошо, — сказал он, — что с того?»

«Разве мы не можем вывести их? — сказал я. — Нет ли у вас какого-нибудь места на вашем складе, где вы сможете их разместить? Есть у вас для них какая-нибудь еда?»

«Вы сумасшедший, юноша, — сказал он, — вы полагаете, что склад Паркинса и Вуда хочет превратиться в больницу?»

Затем я пошёл в свой пансион и сказал Красивой Мэри о том, что я обнаружил, выяснив у неё, может ли она что-то сделать, чтобы вытащить женщину и девочек, или, в крайнем случае, позволить мне взять для них немного еды. Но, будучи по своей основе добрым человеком, Мэри всё же ответила, что довольно много еды отдаёт нищим на её собственной улице (что было абсолютной правдой) и не может заботиться обо всем районе.

Войдя в кухню, я обратился к поварихе, маленькой старой тощей валлийке с дерзким языком, которую матросы называли Бренди-Нэн, и попросил её дать мне немного холодной провизии, если нет ничего лучше, чтобы отнести её в подвал. Но она зашлась в шторме ругани в адрес несчастных обитателей хранилища и отказала. Тогда я вошёл в комнату, где нам сервировали

ужин, и, подождав, пока оттуда не вышла девочка, схватил с полки немного хлеба и сыра и, сунув всё это за пазуху, оставил дом. Прибежав в переулок, я скинул еду в хранилище. Одна из девочек судорожно схватила её, но отпустила, очевидно, ослабев; сестра протянула руку с другой стороны и взяла хлеб, но слабо и неуверенно, как младенец. Она положила его в рот, но снова позволила ему выпасть, слабо бормоча что-то вроде слова «вода». Женщина не шевелилась, её голова была наклонена точно так же, как в первый раз, когда я её увидел.

Поняв, в чём дело, я побежал по направлению к докам в скверную маленькую матросскую таверну и попросил кувшин, но, столкнувшись со стариком, который содержал её, получил отказ, поскольку не был готов заплатить за него. Ведь у меня не было денег. Поскольку мой пансион находился в стороне от дороги, и я бы потерял время на беготню к судну за моим большим железным чайником, то я импульсивно поспешил к одному из общественных гидрантов, который приметил, пробегая мимо всё ещё тлеющего пожара в старом ветошном доме, и, схватив новую брезентовую шляпу, которую мне в тот день дали взаймы, наполнил её водой. С нею я

вернулся на Ланселот-хэй и с большим трудом, сильно согнувшись, умудрился спуститься в это хранилище, где едва хватало оставшегося пространства, позволяющего мне стоять. Обе девочки попили воды из шляпы, поглядывая на меня с неизменным идиотическим выражением, которое едва не заставило меня упасть в обморок. Женщина не произнесла ни слова и не пошевелилась. В то время пока девочки ломали и ели хлеб, я попытался приподнять голову женщины, но поскольку она была слаба, то, видимо, решила держать её склонённой. Когда я разглядел её руки, всё ещё сложенные на её груди, мне показалось, что там под тряпками было скрыто ещё что-то, и мне в голову пришла мысль, побудившая меня на мгновение самовольно отодвинуть её руки — тогда я мельком увидел худенького крошечного младенца, нижней частью тела уложенного в старую шляпу. Его лицо было ослепительно белым, даже при его нищете, но закрытые глаза походили на плоды индиго. Он, должно быть, был мёртв уже несколько часов. Поскольку женщина отказывалась говорить, есть и пить, то я спросил одну из девочек, кто они такие и где они жили, но она только рассеянно смотрела, бормоча что-то, недоступное моему пониманию.

Атмосфера этого места для меня уже стала слишком тяжёлой, но я стоял, оценивая ситуацию, смогу ли я вытащить их из хранилища. Но если бы и вытащил, то что тогда? Они бы только погибли на улице, а здесь они были по крайней мере защищены от дождя и более того — смогли бы умереть в уединении. Я выполз на улицу и снова посмотрел вниз на них, почти раскаиваясь, что принёс им какую-то еду, поскольку это привело бы лишь к продлению их страданий без какой-либо надежды на дальнейшее облегчение существования: умереть они должны были очень скоро, они слишком далеко отстояли от медицины, способной им помочь. Я едва осознавал, стоило ли признаться самому себе в другой мысли, что пришла мне в голову, но она присутствовала — я чувствовал почти непреодолимый импульс оказать им последнее милосердие, в некотором роде положить конец их ужасной жизни; я думаю, что почти поступил бы так, если б меня не остановили мысли о законе. Поскольку я хорошо знал, что закон, который позволял им погибнуть самостоятельно, не давая ни чашки воды, при необходимости использовал бы тысячу фунтов на обвинение того, кто всего лишь решил бы прервать их бедствен-

ное существование.

На следующий день и последующий я трижды проходил мимо хранилища и видел одну и ту же сцену. Девочки, прислонившиеся к женщине по обеим сторонам, и сама склонившая голову женщина со всё ещё сложенными на младенце руками. В первый вечер я не увидел хлеба, который я сбросил с утра, но на второй вечер брошенный утром хлеб остался нетронутым. Третьим утром запах, исходящий из хранилища, был таким, что я обратился к тому же самому полицейскому, к которому обращался прежде, патрулировавшему ту же самую улицу, и сказал ему, что люди, о которых я говорил с ним, уже мертвы, и их нужно увезти. Он посмотрел так, как будто не поверил мне, и повторил, что это не его улица.

Когда я на своём пути к судну достиг доков, то вошёл в помещение охраны, расположенное в его стенах, и попросил встречи с одним из капитанов, которому и рассказал эту историю. На это он ответил, что полиция в доках и в городе была разной, и у него нет права принимать мои сведения.

Этим утром я уже не мог сделать ничего больше, будучи обязанным отправиться на судно,

но в двенадцать часов, когда нужно было идти на обед, поспешил в Ланселот-хэй и там обнаружил, что хранилище опустело. Вместо женщины и детей блестела куча негашёной извести.

Я не мог знать, кто забрал их или куда их отправили, но моей молитве вняли — они были мертвы, увезены и упокоены с миром.

Но я снова изучил пол хранилища и в воображении созерцал бледные съёжившиеся фигуры, всё ещё сидевшие там. Ах! Что есть наше кредо, и как мы надеемся спастись? Расскажи мне, о Библия, снова историю Лазаря, чтобы я смог найти силу в своём сердце для поддержки бедных и несчастных. Ведь если мы окружены нашими собственными желаниями и несчастиями наших ближних, но предрасположены потакать нашими собственным страстям, не внемля чужим страданиям, то разве мы не те люди, что сидят рядом с трупами и веселятся в доме мёртвых?

Глава XXXVIII
Попрошайки у стен доков

Я мог бы рассказать о чём-нибудь другом, что случилось со мной в течение этих шести недель и более, пока я оставался в Ливерпуле, часто посещая подвалы, сливы и лачуги в нищенских переулках и дворах около реки. Но говорить о них — это пересказывать историю по-новому, поэтому я возвращаюсь в доки.

Упомянутые старухи, выбирающие грязные кусочки хлопка из связки, остающейся от опустошённой партии, принадлежали к тому же самому классу существ, которые во все дневные часы присутствует в стенах дока, ещё и ещё раз сгребая кучи мусора, выносимого на берег в процессе разгрузки.

Поскольку было запрещено что-либо бросать за борт, даже верёвочную нить, и поскольку этот закон очень отличается от подобных законов в Нью-Йорке, то это правило твёрдо проводится в жизнь владельцами дока; и, кроме того, сразу после разгрузки судна остаётся большое количество грязи и кучки бесполезной связки

и упаковки, и доля мусора, скапливающегося в предназначенных для этого местах внутри стен, чрезвычайно велика и постоянно растёт из-за новых поступлений с каждого судна, разгружающегося на причалах.

Вы сможете увидеть на этих зловонных кучах множество изодранных бедолаг, вооружённых старыми граблями и железными щипцами, копающихся в грязи и сматывающих такое количество верёвочной пряжи, как будто это моток шёлковой пряжи. Их добыча тем не менее оказывается совсем невелика, поскольку одна из незапамятных льгот второго помощника торгового судна — это сбор и продажа с выгодой для себя всего признанного негодным «старого барахла» с судна, которое ему уже принадлежит, и он обычно уделяет много внимания выносимым на берег мусорным вёдрам, в которых должно оказаться как можно меньше верёвочной пряжи.

Точно так же повар хранит все ненужные кусочки свиной кожи и говяжьего жира, которые он продаёт со значительной выгодой, за шесть месяцев путешествия часто выручая тридцать или сорок долларов от продажи, а на больших судах и того больше. Можно легко предположить,

до какого отчаяния были доведены эти мусорные сборщики, чтобы рыться в кучах заранее отсортированного мусора.

И при этом нельзя не упомнить исключительную нищету, царящую на улицах, часто посещаемых матросами и отдельно написать о примечательной армии нищих, которые окружают доки в особые дневные часы.

В двенадцать часов из ворот дока на обед в город толпами выходят команды сотен и сотен судов. Этот час используется множеством нищих для того, чтобы выстроиться напротив выходов за пределы стен, в то время как другие встают на бордюрный камень, чтобы вызвать жалость у моряков. В первый раз, когда я прошёл через этот длинный переулок из нищих, мне трудно было представить, что такое множество страданий может показать какой-нибудь ещё город в мире.

Любое желаемое разнообразие страданий предстаёт здесь перед глазами, и все бедствия представлены здесь своими жертвами. Но по своей природе секреты и хитрости профессиональных нищих, желающих завершить эту картину всем, что постыдно для цивилизации и человечества, чудесны и почти невероятны.

Старухи, почти мумии, высыхающие от мед-

ленного голодания и прожитых лет, молодые девочки, неизлечимо больные, место которым в больнице, крепкие мужчины с тоской висельника в глазах и скулящей ложью в устах, маленькие мальчики с ввалившимися глазами и немощные и юные матери, держащие маленьких младенцев под ярким светом солнца, создавали основные особенности сцены.

Но это были разносторонне развитые случаи определённого страдания, увечья или искусства в привлечении милосердия, которые для меня, по крайней мере, кто никогда не видел таких вещей прежде, казались степенью последней, необычайной и чудовищной.

Я помню одного калеку, молодого человека, вполне прилично одетого, который сидел, съёжившись, напротив стены, держа раскрашенную дощечку на коленях. Это картинка изображала его самого, попавшего в механизмы на некой фабрике и провёрнутого через шпиндели и винтики со своими его конечностями, теперь искорёженными и кровавыми. Этот человек ничего не говорил, а тихо сидел, показывая свою табличку. За ним, прислоняясь к вертикальной стене, стоял высокий, бледный человек, с белой повязкой на лбу и бледным, как у трупа, лицом.

Он тоже ничего не говорил, но одним пальцем молчаливо указывал вниз на облезлую квадратную табличку у своих ног, аккуратно ими поддерживаемую, на синем фоне которой мелом было выведено:

Я не ел три дня,
моя жена и дети умирают.

Далее лежал человек с одним рукавом на своём рваном снятом пальто, показывая неприглядную рану, над которой находилась этикетка с некой надписью.

В некоторых местах в промежутках между множеством трапов вся линия, выложенная плитами непосредственно у подножия стены, была полностью покрыта табличками, и перед ними в молчании стояли нищие.

Но поскольку вы проходите мимо этих ужасных описаний в час, предназначенный для прохода тысяч и тысяч путешественников, то вас не оставляют без настоятельных прошений более проворные и беззастенчивые претенденты на благотворительность. Они окружают вас по бокам, хватают вас за пальто, держат и следуют за вами дальше, и ради небес, и ради Бога, и ради Христа выпрашивают хотя бы полпен-

ни. Если вы дольше, чем нужно, задержите ваш взгляд на одном из них, даже на мгновение, это воспринимается молниеносно, и человек никогда не оставит вас, пока вы не свернёте на другую улицу или не удовлетворите его просьбу. Так, по крайней мере, дело обстояло с матросами, хотя я замечал, что нищие обращались к горожанам по-другому.

Я не могу сказать, что моряки делали многое, чтобы уменьшить нищету, которая по три раза в день представала их взору. Возможно, привычка сделала их чёрствыми, но, возможно, правда состояла в том, что у очень немногих из них было достаточно денег на милостыню. Несмотря на это у нищих, должно быть, был некий стимул заполнять стены дока, что они и делали.

В качестве примера капризности матросов в их симпатии и сострадании, находящих отзыв в их среде, стоит упомянуть о случае со стариком, каждый день и целый день, и в жару, и в дождь занимавшем особый угол, где всегда проходили толпы моряков. Он был необыкновенно крупным, напыщенным человеком с деревянной ногой, одетым в морскую одежду, его лицо было красным и круглым, он был всё время весел и своей торчащей деревянной ногой почти сбивал с ног

незадачливого странника, сидя на большой груде бушлатов с небольшой впадиной в ней, находящейся между его коленями, куда складывались бросаемые ему медные монеты. И много пенсов было брошено в его нищенскую кружку матросами, которые всегда обменивались добрым словом со стариком и проходили рядом, обычно невзирая на соседних нищих.

В первое утро, когда я причалил со своими товарищами по плаванию, некоторые из них приветствовали его как старого знакомого: он занимал этот угол много долгих лет. Он был старым военным моряком, потерявшим свою ногу в Трафальгарском сражении, и, чтобы подчеркнуть свою исключительность, показывал свою деревяшку, как подлинный экземпляр дубовой доски с «Виктории», корабля Нельсона.

Среди нищих было несколько человек, носивших старые матросские шляпы и жакеты и утверждавших, что они были лишены матросских званий, на основании этого они требовали помощи от своих собратьев, но Джек мгновенно раскусывал их маскарад и отворачивался без благословения.

Когда я ежедневно проходил через этот переулок нищих, которые заполняли доки, как

древнееврейские калеки заполняли Овечью купель, и когда я думал о своей чрезвычайной неспособности хоть как-то помочь им, то не мог не произнести молитву, внемля которой, спустился бы некий ангел и превратил бы воды доков в эликсир, исцеливший все их несчастья и сделавший мужчин и женщин здоровыми и целыми, как и их предков Адама и Еву в райском саду.

Адам и Ева! Если вы действительно всё ещё живете на небесах, то уделите часть вашего бессмертия на то, чтобы взглянуть с высоты на тот мир, который вы покинули. Ведь все эти страдальцы и калеки — такая же ваша семья, как молодой Авель, а потому вид всемирного горя для вас стал бы воистину родительским мучением.

Глава XXXIX
Безразмерные городские переулки

Те же самые достопримечательности, что встречаются вдоль стен дока в полдень, в меньшей степени, хотя и в большем разнообразии, соседствуют с другими сценами, с которыми все время сталкиваешься на узких улицах, где стоят матросские пансионы.

В особенности по вечерам, когда матросы собираются в великом количестве на этих улицах, они представляют самое удивительное зрелище, и всё окрестное население, по-видимому, участвует в нём. Звуки ручных органов, скрипок и цимбал гуляющих музыкантов сливаются в едином хоре с песнями моряков, лепетом женщин и детей, стонами и скулежом нищих. Из разных пансионов, каждый из которых отмечен снаружи позолоченными эмблемами — якорями, коронами, судами, брашпилями или дельфинами, доносится шум кутежа и танцев, а из открытых окон высовываются молодые девушки и старухи, болтая и смеясь вместе с толпами посреди улицы.

Старые матросы, которым случилось столкнуться с товарищами по плаванию, в последний раз виденными в Калькутте или Саванне, поминутно обмениваются друг с другом необычными поздравлениями, и обязательная любезность, которая проявляется в эти моменты, впоследствии переходит в душевность и питие за здоровье друг друга.

Существуют особые нищие, которые часто посещают особые места на «своих улицах» и, как мне говорили, негодуют при вторжении нищих из других частей города.

Их предводителем тогда был слепой старик с белыми волосами, которого водила вверх и вниз через большую суматошную толпу женщина, державшая небольшое блюдце для подаяния. Этот старик пел или, скорее, декламировал нараспев определённые слова странным растянутым, гортанным голосом, отбрасывая назад свою голову и поднимая свои слепые глазницы к небу. Его скандирование было жалобой на его немощь, и в то время оно произвело на меня такое же впечатление, как и моё первое прочтение «Обращения к Солнцу» Мильтона, но уже годы спустя. Я не могу припомнить всего, но это был некий протяжный бесконечный стон: «Вот идёт слепой

старик, слепой, слепой, слепой. И ничего не видит он — ни солнце, ни луну, и ничего не видит он — ни солнце, ни луну!» И так он шёл посреди улицы, женщина шла впереди, держа его за руку, и проводила через все преграды, время от времени оставляя его стоять, пока ей приходилось идти в толпу, выпрашивая медяки.

Но одна из самых любопытных особенностей — это количество исполнителей матросских баллад, которые после исполнения своих произведений вручают вам свои печатные копии и просят их купить. Одного из этих людей, одетого по-военному, я наблюдал каждый день, стоя в углу посреди улицы. У него был густой, благородный голос, как церковный орган, и его ноты поднимались высоко над окружающим шумом. Но самым примечательным у этого исполнителя баллад была одна из его рук, которой во время пения он почему-то качал вертикально во все стороны в воздухе, как будто она вращалась на шарообразном шарнире. Противоестественная подвижность была необъяснима, и он выставлял её напоказ для привлечения сочувствия, как-то он рассказал, что упал с топа мачты фрегата на палубу и получил травму, которая привела к нынешнему появлению его удивительной руки.

Я завёл знакомство с этим человеком и счёл его личностью необычайной. Он был наполнен рассказами о чудесных приключениях и изобиловал потрясающими историями о пиратах, морских убийствах и всяких разных плаваниях. Он был помешан на этих темах, был ежедневным Ньюгейтским календарём грабежей и убийств, происходящих в матросской части города, и большинство его баллад сочинялись на аналогичные темы. Он сочинил множество своих стихов и печатал их для продажи ради своей собственной прибыли. Чтобы показать, насколько скор он был в этом деле, упомяну, что однажды вечером, выйдя из дока и идя на ужин, я заметил толпу, собравшуюся вокруг таверны Старого форта и, смешавшись с зеваками, узнал, что просто-напросто одна городская жительница была убита в баре пьяным испанским матросом из Кадиса. Убийца был задержан полицией на моих глазах, и уже следующим утром певец с удивительной рукой пел о трагедии перед пансионами и продавал печатные копии песни, которые, конечно же, были раскуплены нетерпеливыми моряками.

Этот мимолётный намёк на убийство относит нас к некой общности событий, которые имеют место в самых глухих и самых заброшенных

районах, часто посещаемых матросами в Ливерпуле. Неприятные переулки и переулки, которые в местной топонимике проходят под названиями Гнилого ряда, Гибралтарского местечка и Надутого переулка, гниют от пороков и преступлений, аналоги которых, возможно, не предоставлены нигде на земном шаре. У закопчённых и почерневших кирпичей самих зданий имеется сильный запах, подобный содомскому, и убийственный облик; и, может быть, хорошо, что пелена угольного дыма, которая нависает над этой частью города, больше, чем кто-либо ещё, пытается скрыть масштаб того, что здесь практикуется. Это вертепы, в которых матросы иногда исчезают навсегда или выходят утром из поломанных дверей, обобранные донага. Это вертепы, в которых проклятия, игры на деньги, карманные кражи и всеобщая несправедливость являются слишком достойными, слишком высокими для зловредных горгон и гидр, чтобы те их практиковали. Мне, право, не стоит вдаваться в детали, но похитители, душители и трупоотрыватели — почти святые и ангелы в сравнении с ними. Мне кажется, что они объединились в группы, компании мизантропических злодеев, и в их власти подготовить и осуществить все свои злобные за-

мыслы в отношении человечества. При помощи серы и серных камней их нужно выжечь из своих нор, как паразитов.

Глава XL
Агитационные плакаты, псевдо-ювелиры, лошади-тяжеловозы и пароходы

Поскольку я хочу сгруппировать всё, что попало в поле моего зрения в ливерпульских доках и происходило вокруг них, то ради этого в данной главе попытаюсь бросить взгляд на всякие мелочи, воспоминаниям о которых я эту главу и по свящаю.

Объявления нищих, написанные мелом с наружной стороны по периметру стены дока, соседствуют с многоликой компанией очень разных объявлений, размещённых на самих стенах. Преимущественно это уведомления о приближающемся отплытии «превосходного, быстроходного, обитого и проклёпанного медью судна» в Соединённые Штаты, Канаду, Новый Южный Уэльс и другие места. Посреди них вкрапления рекламных объявлений еврейских старьёвщиков сообщают благоразумным морякам, где они могут обеспечить себя самыми лучшими и самыми дешёвыми вещами, вкупе

с неоднозначными медицинскими объявлениями от племени шарлатанов и эмпирическом подходе, который распространяется на всех мореходов. Не удовлетворяясь подобным уведомлением общества о своём местонахождении, эти неутомимые кровопускатели, претендующие называться самаритянами, нанимают отряд потёртых с виду, взятых словно из работных домов плутов, чьё занятие состоит в том, чтобы следовать вдоль стен дока в обеденное время и тихо всовывать небольшие таинственные приглашения на постой — размером в двенадцатую часть от листа с большим рекламным объявлением — в руки удивлённых моряков.

Они делают это с каким-то таинственным виноватым подмигиванием, как-то косо, с каким-то отвратительным предположением о ваших потребностях, да так, что поначалу вы почти испытываете желание избить их до боли.

Бросающийся в глаза среди настенных объявлений на стенах огромный курсив приманивает всех моряков, испытывающих отвращение к торговому флоту, предлагая им принять щедрое предложение и отправиться на службу в военно-морской флот Её Величества.

В британском военно-морском флоте матросов

в мирное время не отправляют на обычную службу, как во флоте американском, а берут на особые суда, отправляющиеся в особые круизы. В такой манере о фрегате «Тетис» можно сообщить, что славный старый моряк и благородный отец для своей команды лорд Джордж Флегстефф набирает команду под паруса. Подобные же объявления можно заметить на стенах и относительно вербовки в армию. И ни один аукционист с таким восторгом не рассказывает так о некоем очаровательном имении, выставленном на продажу, как возвещают авторы этих плакатов о красоте и пользе климата дальних стран, куда собираются пойти под парусом полки, ищущие новобранцев. Пейзаж составляется из ярких лужаек, одетых в виноградные лозы холмов и бесконечных зелёных лугов, и предприимчивым молодым господам, любящим путешествие, сообщают, что здесь им представится возможность увидеть на досуге мир и, кроме того, получить плату за такое наслаждение. Полки для Индии обещают плантации среди долин с пальмами, в то время как для Новой Голландии — открытие новых сфер жизни и деятельности, компании, связанные с Канадой и Новой Шотландией, соблазняют рассказами о летнем солнце, под которым в декабре

созревает виноград. Ни единого слова про войны не говорится, лязг оружия в этих объявлениях беззвучен, и жизнерадостного рекрута почти заставляют ждать замены мечей, которыми его вооружают, на садовые ножницы.

Увы! Не заключена ли тут жестокая хитрость, как в битве при Бэннокберне, где противника заманили к волчьим ямам, прикрывая их зелёными ветвями? И вместо фермы с синим цоколем в Гималаях индийский рекрут сталкивается с острой саблей сикха, а вместо того чтобы греться под солнечными лучами, канадский солдат дрожит в карауле на холодных крепостных валах Квебека, на высшей точке жестоких порывов ветра из Баффинова залива и Лабрадора. Именно там его глаз устремляется вниз на реку Святого Лаврентия, чьи сливающиеся волны направляются в океан, что омывает берег Старой Англии; там он думает о своём долгосрочном контракте, согласно которому он продал себя армии точно так же, как доктор Фауст продал себя дьяволу, и потому бедняга, должно быть, стонет от своего горя и вспоминает кладбище и свою Мэри.

Эти армейские объявления в Ливерпуле хорошо приспособлены для привлечения новобранцев. Среди широкого числа эмигрантов,

которые ежедневно прибывают со всех частей Великобритания, чтобы отплыть в Соединённые Штаты или колонии, есть много молодых людей, которые, достигнув Ливерпуля, сталкиваются с бедностью или, по крайней мере, лишь с таким количеством средств, которых достаточно только для того, чтобы отплыть в море, не думая о будущих непредвиденных тратах. Тогда для таких молодых людей легко и естественно стать призванными и войти в военную жизнь, которая обещает им бесплатный проезд к самым отдалённым и процветающим колониям и определённой плате за то, что ничего не надо делать, не упоминая про оставшуюся надежду на виноградники и фермы, в реальности которой можно будет убедиться в период достатка. Ведь в безденежной юности решение уехать из дома вообще и предпринять долгое путешествие ради жизни в далёкой стране — это отчасти проявление смелого характера, которое побуждает новичка поступить на армейскую службу.

Я никогда не подходил к этим рекламным объявлениям, окружённым толпами изумлённых эмигрантов, не подозревающих о крысоловке.

Помимо таинственных агентов шарлатанов, которые тайком всовывают свои небольшие,

сложенные, как порошки, приглашения в ваши руки, существует другая компания мошенников, бродящих возле доков, в основном в сумраке, и подающих вам странные знаки и кивки с одной стороны, как будто они хотят раскрыть вам некую государственную тайну, глубоко связанную с всеобщим благосостоянием. Они подталкивают вас локтем, преисполненные неопределённых намёков и указаний, при взгляде на вас их глаза блестят, как у ювелира или ростовщика, они преследуют вас как итальянские убийцы. Но как только приближается полицейский в синем пальто, так они сразу же стремятся выглядеть абсолютно нейтрально относительно окружающей вселенной и бредут прочь, как будто лениво направляясь к нежной супруге и семье.

В первый раз, когда один из этих таинственных персонажей обратился ко мне, я счёл его сумасшедшим и поспешно прошёл дальше, чтобы избегнуть его. Но рука об руку, словно тень, он следовал за мной до тех пор, пока не удивившись его поведению, я не обернулся и не застыл.

Это был маленький потёртый старик в прохудившемся на вид пальто и шляпе, его рука возилась в кармане жилета, как будто он вынимал карточку со своим адресом. Заметив, что я оста-

новился, он указал на тёмный угол стены, рядом с которым мы оказались, приняв его за хитрого разбойника, я опять обошёл его и быстро пошёл дальше. Но хотя я не оборачивался, я чувствовал, что он всё ещё следует за мной, поэтому я опять остановился. Тогда человек принял столь мистический и предостерегающий вид, что я поначалу вообразил, что он пришёл ко мне с некой целью о чём-то предупредить, это, возможно, был заговор, ставящий целью взорвать ливерпульские доки, и он был неким горным орлом, влияющем на мой полёт. Я был полон решимости узнать, кто он такой. Глядя во все глаза, я проследовал за ним в складскую арку, где он украдкой пристально огляделся и тихо показал мне кольцо, прошептав: «Вы может получить его за шиллинг, это чистое золото, я нашёл его в тиши сточной канавы! Ничего не говорите! Дайте мне деньги, и оно ваше».

«Друг мой, — сказал я, — я не торгую такими вещами, мне ваше кольцо не нужно».

«Да ну? Тогда получай», — прошептал он со скрытым возбуждением, и я едва не свалился от удара в грудь в тот момент, пока этот пакостный ювелир исчезал с глаз долой. Эта торговая сделка была проведена с удивительной контор-

ской быстротой.

После этого я избегал таких негодяев, как проказы, и в следующий раз, когда они неотступно сопровождали меня, я остановился и громким голосом указал на человека прохожим, отчего он скрылся, торопливо стуча парой косо изношенных и разбитых каблуков. Я не мог не отметить, что подобный сорт людей, дающих такого дёру в чрезвычайной ситуации, должен обеспечивать много работы сапожникам, равно как и производителям конопли для верёвок и строителям виселиц.

К братству таких раздражительных продавцов медных драгоценностей отчасти принадлежат и коробейники с шеффилдскими бритвами, главным образом мальчики, которые ежечасно изгоняются из ворот дока полицией, тем не менее они умудряются возвращаться назад и проникать на суда, проходя среди матросов и тайно показывать своё оборудование. Подстрекаемый чрезвычайной дешевизной одной из бритв и золочением футляра, её содержащим, мой товарищ по плаванию купил её на месте, обменяв на табак. В следующее воскресенье он использовал ту бритву, результатом чего стала пара замученных и изрубленных щёк, которые почти требовали,

чтобы их приодел хирург. В прежние времена, между прочим, это была неплохая идея — иметь парикмахерскую приёмную из-за зова истерзанного подбородка. Другой класс плутов, практикующихся на матросах в Ливерпуле, — это ростовщики, населяющие небольшие грачовники среди узких переулков, примыкающих к доку. Я был удивлён убийственным множеством позолоченных шаров на этих улицах, обозначающих их конторы. Они с позолоченными виноградинами вообще располагаются по соседству над душевными погребками, и, несомненно, ради взаимного упрощения деловых операций некоторые из этих учреждений имеют смежные внутренние двери для того, чтобы было удобно передавать своих клиентов с рук на руки. Я часто видел матросов в состоянии опьянения, мчащихся из душевных погребков к ростовщикам, из-за финансовых трудностей снимающих свои ботинки, шляпы, жакеты и косынки и иногда даже свои панталоны и предлагающих заложить их за бесценок. Конечно же, такие просьбы никогда не отклоняются. Но хотя на берегу в Ливерпуле бедный Джек находит больше акул, чем в море, сам он ни в коем случае не свободен от методов, которые мало соответствуют строгой морали,

по крайней мере закону. В контрабанде табака он знаток: и когда становится хладнокровен и собран, то часто умеет полностью обойти таможню и сбыть добрые пакеты табака, который вследствие огромных налогов на него в Англии имеет очень высокую цену.

Как только мы подошли, чтобы бросить якорь в реку, то прежде чем достигнуть дока, трое таможенников взошли на наш корабль и спустились в бак, приказав матросам достать весь имеющийся у них табак.

Соответственно, несколько фунтов были предъявлены.

«Это всё?» — спросили чиновники.

«Это всё», — сказали матросы.

«Посмотрим», — ответили те.

И они без дальнейших церемоний освободили правую и левую сторону от багажа, бросились шарить по койкам и провели полный обыск помещения, не обнаружив ничего. Матросам тогда дали понять, что в то время, пока судно стоит в доке, табак должен оставаться в каюте, под надзором старшего помощника, который каждое утро должен скупо выдавать им одну порцию на душу из-за опасения его выноса на берег.

«Очень хорошо», — сказали матросы.

Но у нескольких из них были секретные места в судне, откуда они ежедневно вытягивали табак фунт за фунтом и контрабандой которого они занимались на берегу описанным ниже способом.

Когда команда шла на обед, каждый человек нёс по крайней мере одну порцию в своём кармане, на что он имел право, и много больше было скрыто на самом человеке, насколько у него хватало на это смелости. Среди великих толп, выливающихся из ворот дока в такие часы, вероятность обнаружить этих контрабандистов, конечно же, была невелика, хотя бдительные с виду полицейские всегда стояли по сторонам. И хотя эти «Чарли» могли предположить, что табачные контрабандисты проходят мимо, всё же выявить нужного человека среди такой толпы было так же трудно, как достать гарпуном пёструю морскую свинью, которая десятками тысяч мечется под судовым корпусом.

Наш бак часто посещали иностранные матросы, которые, зная, что мы пришли из Америки, стремились купить табак по низкой цене, поскольку в Ливерпуле его цена — американский пенс за полную трубку. Вдоль доков они продавали английскую «пенни», поднимая её в небольшом свёртке как вывеску кондитеров с поэтически-

ми линиями или с небольшим нравоучением, напечатанным красными буквами на обороте. Среди всех достопримечательностей доков иностранца сильно поражают благородные лошади тяжеловозы. Это крупная и сильная скотина в настолько гладких и глянцевых одеяниях, что те выглядят почти что ежедневно почищенными и каждое утро доставленными камердинером. Они ходят медленным и величественным шагом, поднимая свои тяжёлые копыта как королевские сиамские слоны. Вам не надо полосовать плетью этих римских граждан, поскольку их послушание таково, что ими управляют без узды или ударов плетью, они идут или подходят, останавливаются или идут тихо. Серьёзность, достоинство, благородство и учтивость тяжеловозов сделали их взгляды прекрасными — настолько исполненными спокойного интеллекта и проницательности, что я часто пытался вступить с ними в разговор, пока они стояли под погрузкой. Но всё, чего я смог добиться от них, оказалось простым признательным дружеским ржанием, хотя я многое поставил бы на то, что, умея говорить на их языке, я получил бы от них много ценных сведений относительно доков, где они прошагали всю свою достойную жизнь.

Нам неизвестны животные миры, и каждый раз, когда вы замечаете лошадь или собаку с необычайно мягкими, спокойными, глубоко посаженными глазами, то будьте уверены, что перед вами Аристотель или Кант, спокойно размышляющий о тайнах человека. Никакие философы так полностью не постигают нас, как собаки и лошади. Они сразу же видят нас насквозь. И, в конце концов, разве лошадь не разновидность четвероногого немого человека, полностью одетого в кожу, кто живёт на овсе и тяжко трудится на своих хозяев, наполовину вознаграждая их или наполовину служа обузой, как и двуногие дровосеки и водокачки? Но лёгкая божественность есть даже в скотине и в особенной ауре лошади, которую стоит навсегда освободить от неуважения. Что же касается величественных, авторитетных тяжеловозов в доках, то я скорее решусь ударить сидящего судью, чем применить силу к их сакральной святости.

Это замечательно, что загрузка их величеств достойна описания. Телега — большая квадратная платформа на четырёх низких колёсах, и на эти телеги укладывают хлопок, кипу за кипой, как будто заполняют большой склад, и тем не менее процессия из трёх этих лошадей всё это спокойно

увозит.

Сами вожатые — почти столь же исключительное племя, как и их животные. Как и судьи в Англии, они носят платье, но не того же самого покроя и расцветки — хотя есть и закрывающее колени, и из-за шума, создаваемого на тротуарах их грубыми башмаками с набойками, вы решили бы, что они со своими лошадьми покровительствуют ранее упомянутым сапожникам. Я никогда не мог подобраться ни к одному из них. Они — занятой, невозмутимый народ, который со всей возможной торжественностью шествует впереди своих животных, время от времени мягко советуя им отклониться вправо или влево с целью избежать столкновения с каким-нибудь проезжающим мимо экипажем. Кроме того, проведение большей части своей жизни в высокородной компании лошадей, кажется, привела их к исправлению манер и утончению вкуса, наряду с передачей им подобия достоинства от своих же животных, но оно же передало им своеобразное изысканное и молчаливое отвращение к человеческому обществу.

Есть много необычных историй о ломовых лошадях. Среди них есть и такая: один попугай, который от того, что долго жил в своей клетке,

стоящей в низком окне, выходящем на док, научился довольно бегло разговаривать на языке стивидоров и возничих. Однажды возница оставил свой транспорт стоящим на причале телегой к воде. Как раз был полдень, когда в доке на время воцарилась тишина, и Полл (попугай), встретившись лицом к лицу с лошадью и получив тему для беседы, крикнул ему: «Назад! назад! назад!»

Лошадь пошла назад, сбросив себя и экипаж в воду.

Док Брансуик на западной части доков является одним из самых интересных. Здесь стоят различные чёрные пароходы (так не похожие на американские, поскольку они должны проходить через неистовые Узкие моря[7]), курсирующие ко всем берегам этих трёх королевств. Здесь вы увидите огромное количество продуктов, привозимых из голодающей Ирландии, здесь вы увидите палубы, превращённые в загоны для волов и овец, и часто бок о бок с этими загонами — ирландских палубных пассажиров, толстых, тупо стоящих, с виду почти точно таких же загнанных, как и рогатый скот. «Горец» прибыл в порт в начале июля, и ирландские рабочие ежедневно прибывали ты-

7 Примечания: 7
Между Англией, Ирландией и континентом. — *Примеч. пер.*

сячами, чтобы помочь собрать английское зерно.

Однажды утром, входя в город, я услыхал тяжкий топот, как от стада быков, позади себя и, развернувшись, узрел всю середину улицы заполненной огромной толпой этих мужчин, только что вышедших из ворот дока Брансуик, облачённых в длиннополые пальто с серыми капюшонами, вельветовые бриджи до колена, и обутых в ботинки, поднимающих густую пыль. Со своими блестящими дубинками из Доннибрука они были похожи на нашествие варваров. Они шли прямо из города в деревню и, возможно, из уважения к корпорации заняли середину улицы, чтобы не задевать тротуары.

«Спойте „Ланголи“ и „Озера Килларни“», — прокричал один малый, подбрасывая свою палку в воздух, пританцовывая в своих грубых башмаках во главе толпы. Вот так они и шли! Скача весело, как волынщики.

Когда я думал о множестве ирландцев, которые ежегодно высаживаются на берега Соединённых Штатов и Канады, то, к своему удивлению, дополнительно засвидетельствовал их толпы, загружающиеся от Ливерпуля до Нью-Холланда; и тогда, сложив всё это и ежедневно видя орды рабочих, спускающихся плотно, как саранча,

на английские кукурузные поля, не смог не поразиться изобилию острова, который даже при неурожае картофеля ещё ни разу не подвёл человечество в обеспечении своим ежегодным урожаем.

Глава XLI
Редберн бродит во всех направлениях

Я не знаю, счёл бы разумным любой другой путешественник упомянуть об этом, но факт состоит в том, что в летние месяцы дни в Ливерпуле чрезвычайно длинные, и в первый вечер, обнаружив себя идущим в сумерках после девяти часов, я попытался припомнить свои астрономические познания, чтобы осознать столь любопытное явление. Ведь летние дни и зимние ночи так же длинны в Ливерпуле, как и на мысе Горн, и всё из-за того, что они находятся почти на одинаковых широтах.

Об этих ливерпульских днях, однако, мне было известно, и потому после рабочего дня на борту «Горца» было позволительно околачиваться в городе в течение нескольких часов.

После посещения всех отмеченных мест на карте моего отца, которые только удалось обнаружить, я как-то неопределённо начал расширять свои странствия, обязав комитет в своём составе исследовать все доступные части города,

хотя прошло много лет, прежде чем я решился написать свой отчёт об этом. У меня это вызывало большое восхищение, поскольку везде, где я побывал, меня всегда принимали за одинокого исполнителя этого обязательства, бродящего вверх и вниз среди дальних улиц и переулков и размышляющего о незнакомцах, которых я повстречал. Вот так в Ливерпуле я шагал чередой бесконечных улиц с жилыми домами, разглядывая имена на дверях, восхищаясь симпатичными лицами в окнах и благословляя пухлых детей на порогах. И меня самого разглядывали, уверяю вас: но что с того? Мы должны быть готовы и к таким случаям. По правде говоря, я и моя охотничья куртка произвели настоящую сенсацию в Ливерпуле: я не сомневаюсь, что много отцов семейств приходили домой к своим детям с любопытной историей о блуждающем феномене, с которым они столкнулись, идя в тот день по тротуарам. Как поётся в старой песне, «ни о ком я не забочусь, даже о себе, и никто не позаботится обо мне». Я безнаказанно смотрел во все глаза и относил все пристальные взгляды на свой счёт.

Однажды я стоял на большой площади, взирая широко раскрытыми глазами на великолепную колесницу, стоявшую в портике. Глянцевые

лошади подрагивали от благополучной жизни, а также от роскошной одежды из телячьей кожи, зашнурованной золотом, у извозчика и присутствующих лакеев. Я был особенно поражён красными щеками этих людей: она указывала на их замечательную привычку наслаждаться едой.

Так вот стоя, я внезапно почувствовал, что объекты моего любопытства превратили меня самого в такой же объект, и они рассматривали меня так, как будто я кому-то на британской земле помешал. Действительно, у них была для этого причина: поскольку теперь, когда я думаю о фигурах, выписанных моими ногами в те дни, то только благодаря чуду мой паспорт не был потребован тысячу раз во время множества моих прогулок.

Тем не менее я был всего лишь несчастным с виду смертным среди десятков тысяч тряпок и лохмотьев. Ведь в некоторых частях города, обычно населённых рабочими и бедняками, я раньше торопливо проходил через толпы неряшливых мужчин, женщин и детей, которые в этот вечерний час в этих кварталах Ливерпуля, как казалось, высыпали на улицу и жили там какое-то время. Подобного я никогда не видел в Нью-

Йорке. Частенько я был свидетелем нескольких любопытных и множества очень печальных сцен и особенно не смогу забыть, как увидал бледного, оборванного человека, отчаянно мчавшегося вперёд в стремлении отбросить свою жену и детей, которые вцепились в него руками и ногами и заклинали его во имя Бога не оставлять их. Как оказалось, он хотел броситься в воду и утопиться от отчаяния и потери разума из-за нищеты. Во время этих хождений нищета появлялась передо мной везде, куда бы я ни шёл, и преследовала меня, нескончаемо наступая на пятки. Бедность, бедность, бедность в почти бесконечной перспективе: и нужда, и скорбь сплелись рука об руку на всем протяжении этих несчастных улиц.

И здесь не стоит упускать одну деталь, которая поразила меня в то время. Это было отсутствие негров, которые в больших городах в «свободной» Америке почти всегда представляли собой значительную часть лишенцев. Но на этих улицах негров не замечалось. Все были белыми и, за исключением ирландцев, местными уроженцами: даже англичане были такими же англичанами, как герцоги в Палате лордов. Это придавало странное чувство: и больше, чем что-либо ещё,

напоминало мне, что я находился не в своей собственной стране. Там такие лишенцы по рождению почти неизвестны, быть урождённым американским гражданином считается гарантией от нищеты, что, возможно, возникает из-за ценности избирательных прав.

Говоря о неграх, я вспоминаю любопытствующие взгляды, которыми встречают матросов-негров, когда они идут по ливерпульским улицам. В Ливерпуле, действительно, негр шагает более гордой поступью и высоко по-человечески держит голову, здесь относительно него не существует никакого непомерного чувства превосходства, как в Америке. Три или четыре раза я столкнулся с нашим чёрным стюардом, одетым очень красиво и идущим рука об руку с красивой английской дамой. В Нью-Йорке на такую пару через три минуты напала бы толпа, и стюард был бы рад убежать, оставшись с целыми конечностями. Вследствие дружественного обращения, распространяемого на них, наслаждаясь непривычной неприкосновенностью во время пребывания в Ливерпуле, темнокожие повара и стюарды американских судов очень привязаны к этому месту и любят сюда путешествовать.

Будучи тогда несколько молодым и неопытным

и подсознательно подверженным, в некоторой степени, местным и социальным предубеждениям, которые портят большинство людей, и от которых, в большинстве случаев, кажется, нет никакого спасения; я сначала удивлялся, что к цветному челове ку нужно относиться так, как это делается в этом городе, но взгляд со стороны показывает, что это, в конце концов, всего лишь признание требований гуманности и норма равноправия; то есть мы, американцы, передаём другим странам некоторые принципы, лежащие в основе нашей Декларации независимости.

Во время своих вечерних прогулок в более богатых районах я подвергался непрерывному унижению. Это был оскорбительный факт, совершенно не предусмотренный мной, в общем и целом, за исключением бедности и нищеты. Ливерпуль в удалении от доков выглядел в значительной степени так же, как и Нью-Йорк. В большинстве своём те же самые улицы, те же самые ряды зданий с каменными ступенями, те же самые тротуары и ограды, те же самые удары локтями и, как всегда, бессердечно глядящая толпа.

Однажды днём я прошёл через Лидский канал, но, честное слово, никто, возможно, не мог

сравнить его с каналом Эри в Олбани. Я пришёл на рынок Святого Иоанна в субботу ночью, и хотя было довольно странно видеть эту большую крышу, поддержанную таким количеством столбов, всё же самый внимательный наблюдатель был бы не в состоянии обнаружить какое-либо различие между здешними артиклями и артиклями на Фултонском рынке в Нью-Йорке.

Я шёл вниз по Лорд-стрит, всматриваясь в ювелирные магазины, но мысленно спускался по бродвейскому кварталу. Я начинал думать, что весь этот разговор о путешествии был вздором, и тот, кто живёт в ореховой скорлупе, тот живёт в воплощении Вселенной, но мало что видит за её пределами.

Бывало, я часто думал о том, что Лондон находился лишь в семи или восьми часах езды по железной дороге от того места, где я находился, и что там, конечно, должен был оказаться мир чудес, которого и жаждали мои глаза, но скоро я расскажу о Лондоне больше.

В воскресные дни я проводил свои самые долгие исследования. Я поднимался рано и живо, с целым планом действий в моей голове. Сначала прогулка в какой-нибудь док, до настоящего времени неисследованный, и затем завтрак. Да-

лее — прогулка по более модным улицам, чтобы увидеть людей идущих в церковь, и затем я сам шёл в церковь, выбрав самое привлекательное здание и самый высокий кентуккийский шпиль, который только можно было найти.

Сам я — поклонник церковной архитектуры, и хотя, возможно, суммы, потраченные на возведение великолепных соборов, было бы лучше отправить в благотворительные фонды, всё же эти здания были построены так, что тот, кто неодобрительно относится к ним в одном аспекте, может также найти достоинство в другом.

В этом сама суть христианства, и вопрос этот весьма сладостен и заслуживает того, чтобы остановиться и осмыслить его в одиночестве. Ведь любой бедный грешник может пойти в церковь везде, где ему нравится, и даже Святой Пётр в Риме открыт для него, как и для кардинала, и тот же Святой Павел в Лондоне не закрыт от него, и тот же бродвейский Шатёр в Нью-Йорке откроет все свои широкие проходы для него и даже не создаст дверей и порогов к своим церковным скамьям, дабы сильней очаровать его не связанным обязательствами приглашением. Я скажу, что рассматриваемое гостеприимство и демократия в церквях — это самые христи-

аннейшие и очаровательные из идей. О них говорят целые горы фолиантов и ватиканские библиотеки, и всё потому, что в христианстве они наиболее красноречивы и уходят дальше всех проповедей Массиллона, Джереми Тейлора, Уэсли и архиепископа Тиллотсона.

Поэтому, ничуть не обескураженный, зная о том, что я здесь иностранец, ничуть не смущённый архитектурным превосходством и богатством любой из ливерпульской церквей или потоками шёлковых платьев и пальто из настоящего тонкого сукна, втекающих в проходы, сам я заранее кротко представал перед алтарником как кандидат на допуск. Он, возможно, немного всматривался (один из них однажды запнулся), но в конце концов указывал мне на церковную скамью, не самую просторную из церковных скамей, уверяю вас: не по-командирски расположенную и не находящуюся в зоне наилучшего обзора с кафедры проповедника или наилучшей акустики. Нет, это было замечательно, что всегда некий проклятый столб или обязательный угол стены вставали у меня на виду, и я даже решил, что пономари Ливерпуля, должно быть, провели секретную встречу на мой счёт и решили под своим надзором отвести мне самую неудобную

церковную скамью. Однако они всегда давали мне то одно, то другое место, иногда даже на дубовой скамье в проходе под открытым небом, где я сидел, деля внимание конгрегации между собой и священнослужителем. Целая конгрегация, казалось, знала, что меня надо отличать как иностранца.

Было сладостно слушать читавшуюся службу, волны органа, проповедь проповедника — точно так же, как будто то же самое происходило в трёх с половиной тысячах миль от дома! Но тогда молитва во имя Её Величества королевы несколько отбрасывала меня назад. Тем не менее я присоединялся к этой молитве и просил от лица бедного янки для этой леди всех благ. Как я любил сидеть в святой тишине этих коричневых старых монашеских проходов, размышляя о Гарри Восьмом[8] и Реформации! Как я любил постоянно водить взглядом по рельефным стенам и опорам, проносясь среди хитросплетений свисающего потолка и изгибаясь, словно личинка древоточца, прокладывающая себе путь. Я, возможно, сидел бы там всё долгое утро, целый день, до ночи. Но, наконец, благословение приходило, и,

8 Примечания: 8
Видимо, говорится о короле Генрихе VIII. — *Примеч. пер.*

осознавая свое положение, я медлен но двигался прочь, думая о том, как хотелось бы войти в дома каких-нибудь полных старых господ в высоких начищенных сапогах с малаккскими тростями и усесться за их уютные и удобные обеденные столы. Но увы! Не было для меня иного

ужина, кроме как под вывеской «Балтиморского клипера».

Всё же воскресные ужины, которые подавала Красивая Мэри, не стоило презирать. Ростбифы Старой Англии имелись в большом количестве, и, конечно же, бессмертные пудинги с изюмом, и невыразимо солидные пироги с крыжовником. Но завершавшее всё это отвратительное пойло почти портило всё остальное: не то чтобы я сам не симпатизировал пойлу, а оттого что так считали мои товарищи по плаванию; и каждую чашку, выпитую ими, я не мог ощутить на вкус даже в воображении, даже чувствуя плохой аромат.

По воскресеньям, в любой другой день во время обеда, действительно, было любопытно смотреть на происходящие в «Клипере» процессы. Девочки-служанки бегали по кругу, получая разнообразные команды для экипажей, обеды для каждого из которых были накрыты в отдельной комнате, и которые назывались по именам своих

судов.

«Где люди с „Аретузы“? Вот их говядина, жарится уже полчаса». — «Лети, Бетти, моя дорогая, сюда приходит „Сплендидс“». — «Беги, Молли, моя любовь, получи солонки для „горцев“». — «Пегги, где соленья для „Сиддонса“?» — «Я спрашиваю, Джуди, ты когда-нибудь отнесёшь пудинг для „Лорда Нельсона“?»

На неделе еда была не так хороша, как по воскресеньям, и однажды мы прибыли на ужин и обнаружили два огромных говяжьих сердца, курящихся на каждом конце нашего стола. Джексон вскипел от негодования.

Он всегда сидел во главе стола, и на сей раз на своей скамье он приготовился к бою и, поставив свой нож и вилку как флагштоки, чтобы заключить оба этих сердца между ними, позвал Денби, содержателя пансиона. И хотя его жена Мэри стояла фактически во главе учреждения, всё же самому Денби всегда приходилось сталкиваться с последствиями её ошибок.

Денби послушно появился и встал в дверном проёме, будучи хорошо знаком с филиппиками, направленными на него. Но он не был готов к заключительной части обращения Джексона, которая состояла из двух говяжьих сердец, схва-

ченных целиком с блюд, брошенных ему в голову и превратившихся в резюме на основе предыдущих аргументов. Компания тогда расстроилась от отвращения и отобедала в другом месте.

Хотя я почти неизменно ходил в церковь по воскресеньям утром, дни отдыха я всё же тратил на свои путешествия, и на одной из этих дневных прогулок при прохождении через площадь Святого Георгия я оказался посреди большой толпы, собравшейся возле постамента конной статуи Георга IV.

Люди, составлявшие толпу, были главным образом механики и ремесленники в своей праздничной одежде, но с ними смешалось очень много солдат в скудной, длинной и по-обеденному расстёгнутой одежде, с тонкими спортивными ротанговыми тростями. Эти солдаты принадлежали к различным полкам, стоявшим тогда в городе. Заметил я и полицейских в их униформе. Сначала царили прекрасная тишина и вежливость.

К этой организованной толпе обращался бледный, молодой человек с ввалившимися глазами в сюртуке табачного цвета, который при внимательном наблюдении выглядел очень уставшим то ли от большого тяжёлого труда, то ли от недо-

статка пищи. Его сенсационный материал был хорош, весь его тон был уважительным, и не был перепутан ни один из фактов, которые он весьма серьёзно излагал.

В его руке была грязная, по-подстрекательски смотревшаяся брошюра, из которой он часто вычитывал цитаты, перемежая их с нервными обращениями к своим слушателям, вращая своими глазами и иногда безумно жестикулируя. Я оказался недалеко от него, прежде чем узнал, что этот молодой человек был чартистом.

Пока толпа увеличивалась, и поднималось некое волнение, я заметил полицейских, увеличивавшихся в числе, вскоре они начали проскальзывать через толпу, вежливо намекая на уместность её рассеивания. Первыми людьми, внявшими их обращению, были солдаты, которые одновременно пошли прочь, взмахнув своими ротанговыми тростями и восхищаясь своей высокой полированной обувью. Было ясно, что «Прошение» не повисло тяжким грузом на их сердцах. Остальные также постепенно расходились, и, наконец, я увидел, что удалился и сам оратор.

Я не знаю, почему, но я думал, что он должен быть неким отчаявшимся старшим сыном,

поддерживавшим тяжким трудом свою мать и сестру, как многие отчаянные политики.

Тем же самым воскресным днём я прогулялся в предместья города и, привлечённый видом двух больших помпейских колонн в форме чёрных шпилей, видимо, вырастающих непосредственно из почвы, приблизился к ним с превеликим любопытством. Но, увидев низкий парапет, соединяющий их, с удивлением обнаружил под ногами дымную пустоту в земле, со скалистыми стенами и тёмными отверстиями на одном конце и уходящими прочь несколькими линиями железных дорог, в то время как вдаль, прямо по открытой местности пролегла бесконечная железная дорога. Над этим местом была переброшена красивая каменная мавританская арка, и постепенно, пока я рассматривал все эти небольшие арки со стороны полости основания, ко мне пришло неясное чувство, что я видел всё это прежде. Всё же что это такое? Конечно, я никогда не был в Ливерпуле прежде: но тогда что это за мавританская арка?! Конечно, я очень хорошо её помнил. Только спустя несколько месяцев после приезда домой в Америку моё недоумение по этому вопросу было развеяно. Посмотрев на старый номер журнала «Пенни

Мэгэзин», я увидел там живую картинку этого места и вспомнил увиденное то же самое в годы, предшествующие печати. Она показывала места, где Манчестерская железная дорога входит в предместья города.

Глава XLII
Он столкнулся со старым джентльменом

Случившееся со мной в Отделе новостей на Площади Менял, о чём я поведал в предыдущей главе, напомнило мне о другом случае, в лицее, уже спустя несколько дней, о котором также стоит здесь рассказать, прежде чем я о нем не забуду.

Я смело шёл вниз по улице, когда был поражён видом коричневого каменного здания, очень большого и красивого, и решил узнать, что оно собой представляло. Окна были открыты, и внутри я увидал рассевшихся в комфорте и заложивших для удобства ногу на ногу нескольких с виду спокойных, счастливых пожилых джентльменов, читающих журналы и бумаги, причём один из них держал в руке золочёный томик какой-то книги.

Да это, должно быть, лицей, подумал я, пожалуй, стоит посмотреть. Поэтому я извлёк свой путеводитель и открыл его в надлежащем месте,

и, конечно же, оказалось, что строение передо мной перестраивалось камень за камнем. Я стоял некоторое время на противоположной стороне улицы, пристально глядя то на мою картинку, то на оригинал, часто останавливаясь взглядом на приятных господах, сидящих в открытом окне, пока, наконец, не почувствовал не поддающийся контролю импульс на мгновение войти и просмотреть новости. Я — бедный, одинокий юнга, подумал я, и они не смогут протестовать, тем более что я из другой страны, и незнакомцы должны будут оказать мне любезность. Я снова вернулся к этой мысли лишь с небольшим колющим предчувствием в сердце, затем, наконец, перешёл через дорогу, вытер ноги, почистив обувь о бордюрный камень, снял свою шляпу, всё ещё стоя под открытым небом, и медленно вошёл внутрь.

Но я не сделал и шага в этой большой и высокой комнате, заполненной множеством славных достопримечательностей, когда раздражённый старый джентльмен оторвал взгляд от

«Лондон Таймс» (это название я увидел напечатанным жирным шрифтом в конце большого листа, удерживаемого его рукой), посмотрел на меня, как будто я был странной собакой с гряз-

ными помыслами, укравшей что-то из сточной канавы и принёсшей в эти чистые апартаменты, и отчаянно замахал на меня своей тростью с серебряным набалдашником, да так, что у него с носа свалились очки. Почти одновременно ко мне подступил ужасно злой человек, который глядел так, будто у него был горчичный пластырь на затылке, что постоянно его раздражало. Он отбросил какие-то бумаги, которые разглаживал, взял меня за мои невинные плечи и затем, поставив свою ногу на широкую часть моих панталон, выпер меня ею прямо на улицу, отправив на прогулку без каких-либо извинений за оскорбление. Я бросился за ним назад, но тщетно: дверь уже была заперта.

У этих англичан нет манер, это ясно, подумал я и в мечтательности потащился вниз по улице.

Глава XLIII
Он совершает восхитительную прогулку в деревню и знакомится с тремя восхитительными чаровницами

Есть ли кто-то из жителей Америки, кто не слышал о ярких лужайках и зелёных изгородях Англии и не жаждал их созерцать? Точно так было и со мной, и теперь, когда я фактически находился в Англии, то решил не уезжать отсюда, не посмотрев хорошим, долгим взглядом на открытую местность.

В воскресенье утром я поднялся уже с ланчем в кармане. Стоял прекрасный июльский день, воздух был сладок от аромата бутонов и цветов, и пейзаж отливал зелёным блеском, так восхищавшим меня. Скоро я достиг холма, возвышавшегося над широким чистым пейзажем: и луговины, и луга, и леса, и изгороди — всё это окружало меня.

Да, да! Воистину это была старая Англия! Я, наконец, нашёл её — она оказалась за городом! Казалось, что над землёй парил мягкий, влажный

воздух, слабо окрашенный зелёной травой, и я подумал, что своими лёгкими, возможно, вдыхал те же самые частицы, что выдохнула Розамунда Фейр[9].

Но я тащился вдоль по лондонской дороге — отполированной, как пол у входа, и каждый белый коттедж, объятый жимолостью, мимо которого я проходил, казался в пейзаже живым существом.

Но день растянулся, и постепенно солнце стало пригревать, и дальняя дорога стала пыльной. Я решил, что в некоем тенистом местечке очень неплохо было бы отдохнуть. Поэтому я пошёл навстречу очаровательной маленькой долине, волнообразно устремляющейся в пустоту изогнутой листвой, но остановился на обочине возле пугающего объявления, прибитого на старом дереве, используемом в качестве воротного столба: «Ловушки для людей и самострелы!»

В Америке я никогда не слышал о подобном. Что это могло означать? Конечно же, тут не было каннибалов, живших внизу в этой небольшой красивой долине и промышлявших ловлей людей, вроде ловли ласок и бобров в Канаде!

«Ловушка для людей!» Истинно так. Объявле-

---

9 Примечания: 9
Красавица жена короля Генриха II. — *Примеч. пер.*

ние могло иметь только одно значение — поблизости было нечто, намеревавшееся поймать человеческое существо, некий механизм, который внезапно мог взять на прицел неосторожного путника и держать его за ногу, как собаку, или, возможно, сожрать его на месте.

Невероятно! Да ещё на христианской земле! Эта милая леди, королева Виктория, разрешает такие дьявольские методы? Ходило ли её доброе величество когда-нибудь этим путём и видело ли оно это объявление?

И кто его там повесил? Землевладелец, вероятно.

И какие у него права, чтобы так поступать? Да ведь он владеет землёй.

И где документы, подтверждающие его правовой статус? В его сейфе, я полагаю.

Так я и стоял, погрузившись в эти мысли.

Ты — симпатичный парень, Веллингборо, подумал я про себя, ты — великий путешественник, воистину — и ты остановился в своих странствиях на ловушке для человека! Ты думаешь, что с Мунго Парком так не обходились в Африке? Ты думаешь, что Ледьярд для себя ничего не вымаливал в Сибири? Честное слово, ты вернёшься домой не намного более мудрым, чем тогда, когда

уходил, и единственным оправданием, которое ты сможешь дать в ответ на упрёк, что не заметил больше достопримечательностей, будут ловушки на человека — ловушки на человека, мои господа! Это напугало тебя!

И затем, вознегодовав, я отступил на первоначальную позицию. Что за права у этого человека на землю, которую он так по-драконовски стережёт? Что это за чрезмерная наглость — заявлять единоличную претензию на твёрдую часть этой планеты, прямо вниз, через центр Земли и, возможно, прямо через антиподов! На мгновение я решил, что проверю его ловушки и войду в запретный Эдем.

Но трава росла так густо и казалась настолько наполненной хитрыми ловушками, что в последний момент я решил, что лучше всего отойти в сторону.

Затем я прошёл переулком, обсаженным боярышником, очень мило приведшим меня к красивой маленькой церкви, заросшей маленькой церкви, красивой маленькой церкви, той самой единственной церкви, которую я всегда мечтал встретить в Англии. Вход в неё был увит лозой, словно беседка, плющ поднимался, обвивая колокольню, и пчёлы жужжали у древних

старых надгробных камней, стоящих вдоль стен.

«Здесь есть какие-нибудь ловушки на человека? — подумал я — какие-нибудь самострелы?»

Нет.

Тогда я пошёл дальше и вошёл в церковь, где скоро нашёл себе место. Но индеец, красный, как олень, возможно, поразил бы простых людей меньше, чем это сделал я. Они пристально и пристально смотрели и смотрели, но поскольку я внимательно слушал проповедь и весьма пристойно внимал ей, они не выставили меня, как я почти предсказывал вначале, хотя и могли бы.

По окончании службы я пробился через толпы детей, уставившихся на чудесного незнакомца, и возобновил свою прогулку дальше по Лондон-роуд.

Моя следующая остановка была в гостинице, где под деревом сидели в ряд крестьяне, попивая за столом пиво.

«Добрый день», — сказал я.

«Добрый день, из Ливерпуля?»

«Наверное».

«В Лондон?»

«Нет, не сейчас. Я просто путешествую, чтобы увидеть страну».

При этих словах они пристально посмотрели

друг на друга, а я — сам на себя, учитывая, что я мог выглядеть как конокрад.

«Присаживайтесь», — сказал хозяин, толстый малый, одетый, как мне показалось, в передник своей жены.

«Спасибо».

И затем постепенно мы затеяли долгий разговор, в ходе которого я рассказал, кем я был и откуда прибыл. Я нашёл этих крестьян добродушными, с весёлым настроем, не сомневаясь, что они нашли меня вполне общительным молодым человеком. Они побаловали меня пивом, а я побаловал их историями об Америке, к которой они проявили крайнее любопытство. Один из них, однако, был несколько удивлён, что я не был знаком с его братом, который проживал где-то на берегах Миссисипи в течение нескольких последних лет, но среди двадцати миллионов людей мне никогда не случалось встретить его, скорей всего, по незнанию.

Наконец, оставив эти посиделки, я последовал своим путём, ободрённый живым разговором, в котором я поучаствовал и достиг взаимных симпатий, и, возможно, также тем, что выпил пива — прекрасного старого пива, да, английского пива, пива, созревшего в Англии! И я шагал по ан-

глийской земле и вдыхал английский воздух, и каждая травинка была родившимся англичанином. Дымный старый Ливерпуль со всей его мощью и дымом был теперь далеко позади, в поле зрения не осталось ничего, кроме открытых лугов и полей.

Ну, Веллингборо, почему бы не поспешить в Лондон? Ура! Что ты говоришь? Не хочешь увидеть со Святого Павла королеву? Не жаждешь лицезреть герцога? Подумай о Вестминстерском аббатстве и тоннеле под Темзой! Подумай о Гайд-парке и леди!

Но тогда, подумал я снова, дико шаря своими руками в вакууме обоих своих карманов — кто должен будет оплатить счёт? Ты не можешь собрать себе на дорогу, Веллингборо, этого никогда не удастся сделать, поскольку ты — сын своего отца, Веллингборо, и ты не должен позорить свою семью в другой стране, ты не должен становиться нищим.

Ах! Ах! Это было действительно слишком верно, не было для меня никакого Святого Павла или Вестминстерского аббатства, это было не остроумно.

Хорошо, хорошо, не унывай, ты увидишь его на днях.

Но думай о нём! Я нахожусь здесь на той самой дороге, которая приводит к Темзе — думай об этом! — я здесь, да, шагаю по протоптанной шоссейной колее, которая ведёт в столицу! Это слишком плохо, слишком горько. Но я надвинул свою старую шляпу на свои брови и пошёл дальше, пока, наконец, не дошёл до зелёного откоса, закрытого тенью прекрасного старого дерева с широкими ветвями, которое распласталось над дорогой, как курица, собирающая под крыльями свой выводок. Там я улёгся на зелёную траву, уложив голову, как прошлогодний орех. Люди проходили мимо, пешком и в экипажах, и без какой-либо мысли, что грустный молодой человек под деревом — это внучатый племянник покойного сенатора в американском Конгрессе.

Как только я проснулся, то сразу же услышал грубый голос позади меня, кричавший с поля: «Ты что там делаешь, молодой мошенник? Беги прочь от нашего хозяйства, понял? Вали, или я поддам тебе ботинком!»

И кем был тот Ботинок? Собака с жестокой чёрной бычьей мордой уже выглядывала из проёма в изгороди. И кто её владелец? Крепкий фермер с опасной дубиной в руке.

«Ну, ты собираешься вставать?» — вскри-

чал он.

«Сию минуту», — сказал я, отбежав на большую дистанцию. Когда я находился в нескольких ярдах посреди шоссе (которое принадлежало мне так же, как и самой королеве), то обернулся, и как человек, находящийся в собственном помещении, сказал: «Незнакомец! Если ты когда-нибудь будешь в Америке, то просто зайди в наш дом и всегда найдёшь там ужин и кровать. Желаю удачи».

Я затем пошёл к Ливерпулю, преисполненный печальных мыслей относительно холодных милостей мира и позорного приёма, устроенного несчастному молодому путешественнику в потрёпанной охотничьей куртке.

Я шёл дальше и дальше вдоль кромок огороженных зелёных полей, пока не достиг дома, перед которым я встал как вкопанный.

Настолько сладостного места я никогда не видел: никакой дворец в Персии не мог быть прекрасней: в саду росли цветы, и шесть красных роз, словно шесть пушистых щёк, свисали с оконной створки. В укромном дверном проёме сидел старик, доверительно общающийся со своей трубкой, в то время как маленький ребёнок, растянувшись на земле, играл со своими шнур-

ками. В сторонке здоровая матрона с несколько чопорным выражением лица читала журнал, и три очаровашки — три пери, три райских девы! — высовывались из соседнего окна.

Ах! Веллингборо, разве ты не пожалел бы о том, что не можешь войти внутрь?

Бодро вздохнув, с тяжестью в сердце я повернулся, чтобы пойти дальше, когда — возможно ли? — старик окликнул меня и предложил войти.

«Ну-ка, — сказал он. — Похоже, вы пришли издалека, подходите, возьмите миску с молоком. Матильда, дорогая моя (как же подскочило моё сердце!), иди, возьми немного с маслодельни». И честный ангел действительно кротко повиновался и вручил мне — мне, бродяге, — миску пузырящегося молока, которое я едва мог выпить из-за взгляда на росинки на её губах.

Останься я там жить, то, возможно, женился бы на этой красавице прямо на месте!

Она была, безусловно, самым красивым розовым бутоном, который я только видел в Англии. Но я попытался скрыть своё горячее восхищение и, чтобы покончить сразу с любыми неприятными впечатлениями, как и с результатами близкого исследования моей несчастной охот-

ничьей куртки, которая тогда была на мне, сам объявил, что я американский матрос из Ливерпуля, который проводит воскресенье в деревне.

«А вы были сегодня в церкви, молодой человек?» — сказала старая леди, меча свирепый взгляд.

«Да, милая леди, в небольшой церкви вон там внизу, вы знаете — превосходная проповедь, меня она очень вдохновила».

Я хотел успокоить эту серьёзную с виду старую леди, даже из моего короткого опыта общения со старыми леди я убедился, что они — наследственные враги всех молодых иностранцев.

Я скоро повернул разговор на Америку, к теме, которая, по-моему, была интересна, которой я владел и которая была мне приятна. Я стремился говорить на английском языке Аддисона, прежде чем какое-то время спустя увидел, что мои полированные фразы произвели удивительное впечатление, хотя моя несчастная охотничья куртка бесконечно вредила моим требованиям аристократизма.

Назло всем моим уговорам, однако, старая леди стояла на своём посту как часовой, к моему невыразимому огорчению, поддерживаемая тремя очаровашками, хотя старик часто призывал их

приблизиться. Этот прекрасный экземпляр старого англичанина, казалось, был совсем лишён низких подозрений, в то время как его уксусная супруга была наполнена ими. Но пока я оставался на месте, перехватывая скрытые взгляды юных леди и серьёзно говоря со стариком об Иллинойсе, реке Огайо и прекрасных фермах в долине Дженеси, где во время сбора урожая много тысяч рабочих выходит на пшеничные поля.

Так держать, Веллингборо, думал я, не давай старой леди времени на размышление, так держать, мой мальчик, и приглашение на чай вознаградит тебя. Наконец, оно прозвучало, и старая леди стала реже кидать свои хмурые взгляды.

Это была самая восхитительная еда, все три чаровницы сидели с одной стороны напротив меня, сидевшего между стариком и его женой. Средняя чаровница налила чай «сучон» и вручила мне намазанные маслом маффины, а такие маффины никогда не намазываются маслом с другой стороны Атлантики. У масла был душистый запах, ей-богу, оно было просто восхитительно.

И они сидели там — я имею в виду, чаровницы, — поедая эти намазанные маслом кексы, — ну, просто зрелище. Я очень сожалел, что сам

не был намазанным маслом кексом. Каждую минуту они становились всё более и более солидными, и я не мог удержаться от мысли, что стоило бы увезти домой красивую английскую жену! как смотрели бы мои друзья! леди из Англии!

Я, возможно, ошибался, но, конечно же, решил, что Матильда — та, кто подала мне молоко, — иногда смотрела более доброжелательно в ту сторону, где я сидел. Она, конечно, смотрела на мой жакет, и я был вынужден так думать про себя. Могло ли быть, что на неё обрушилась любовь с первого взгляда? О, восторг! Но, о, страдание! Не из-за того ли не было вопросом, что смотревшим на неё поклонником был Веллингборо?

По прошествии времени старая леди поглядела на дверь и поделилась некоторыми выводами о том, что всё же обратный путь до города будет долгим. Она вручила мне намазанные маслом кексы, как будто совершила заключительный акт гостеприимства, и другими беспокойными действиями неопределённо намекнула, что я должен покинуть лагерь.

Я медленно поднялся, и пробормотал свою благодарность, и поклонился, и попытался исчез-

нуть, но покуда я суетливо вертелся, и кланялся, и благодарил, то задерживался ещё и ещё. О чаровницы! о пери, думал я, я должен уйти? Да, Веллингборо, должен, поэтому я отвесил отчаянный поклон и бросился к выходу.

Я никогда не видел их с тех пор: нет, не слышал о них, но по сей день живу холостяком из-за тех восхитительных очаровашек.

Когда длинные сумерки всё глубже и глубже погружались в ночь, я вошёл в город и, тяжело тащась своим уединённым путём всё к тем же самым старым докам, прошёл через ворота и продрался сквозь запах дёгтя и ряды судов, стоящих между причалом и «Горцем». Моим единственным приютом была моя койка, я оказался в ней и, утомлённый своей длинной прогулкой, скоро уснул крепким сном, наполненным сновидениями о красных щеках и розах.

Глава XLIV
Редберн выставляет господина Гарри Болтона на благосклонное рассмотрение читателя

В этот день, последовавший за моей воскресной прогулкой за город, когда я уже был в Англии четыре недели или больше, я завёл знакомство с красивым, воспитанным, но неудачливым молодым человеком, юношей Гарри Болтоном. Он был одним из тех маленьких, но отлично сложенных существ с вьющимися волосами и гладкими мышцами, который, кажется, родился в шёлковом коконе. У него было нежное, как у девочки, лицо румяного брюнета, его ноги были маленькими, его руки были белыми, а глаза его были большими, чёрными и женственными, и с поэтической точки зрения его голос был похож на звук арфы.

Но где среди покрытых дёгтем доков, дымных матросских переулков и второстепенных дорог морского порта юный потрёпанный янки может столкнуться с таким изысканным юношей?

Несколько вечеров подряд я замечал его на на-

шей улице возле пансионов, стоящего в дверях и молча внимающего оживлённым сценам за ними. Его красота, платье и манеры казались мне столь неуместными на такой улице, что я не имел возможности угадать, что пересадило это тонкое экзотическое растение из оранжерей некой Риджент-стрит на неопрятные картофельные огороды Ливерпуля.

Наконец, я внезапно столкнулся с ним под вывеской «Балтиморского клипера». Он говорил с одним из моих товарищей по плаванию относительно Америки, и долетевшие до меня фразы заставили предположить, что он рассматривал возможность путешествия в мою страну. Будучи очарованным его внешностью и из-за общего рвения насладиться обществом этого неосмотрительного сына джентльмена, — своеобразное удовольствие, так долго недоступное мне, — я пригладил фалды своего жакета и сразу же поприветствовал его, объявив, кто я такой и что ничто не доставит мне большего восхищения, кроме как быть полезным в сообщении любых сведений относительно Америки, в которых он нуждается.

Он оглядел меня, начиная с моего лица и кончая моим жакетом и начиная с моего жакета и кон-

чая моим лицом, и немедленно, но с несколько озадаченным выражением попросил меня составить ему компанию на прогулке.

Мы болтались возле пирса Святого Георгия почти до полуночи, но прежде чем расстались, он с необычной откровенностью рассказал мне много странного из своей истории.

Согласно его собственному утверждению, Гарри Болтон был уроженцем Бьюри-Сент-Эдмундса, городка в Суффолке, не очень далеко отстоящего от Лондона, но рано остался сиротой под присмотром единственной тёти. Своё состояние его мать разделила между ним и его тётей, и таким образом молодой Гарри стал наследником доли приблизительно в пять тысяч фунтов.

Обладая живым умом и приблизившись к периоду взросления, он стал беспокоиться о загородном имении, тем более что у него не было профессии или какого-либо интересного занятия.

Напрасно Бьюри соблазнял его всеми своими прекрасными старыми монашескими достопримечательностями и красивыми берегами Ларка, текущего под тенью величественной и легендарной старой саксонской башни.

Все мои немногие старые исторические ас-

социации дышали Бьюри: моими воротами аббатства, которые хранят по сей день руки Эдуарда Исповедника, моей резной крышей старой церкви Святой Марии, которая избежала низменного гнева фанатичных пуритан, королевским прахом Мэри Тюдор, что спит внутри меня, моими нормандскими руинами и всеми старыми аббатами Бьюри, нет, о Гарри, оставь меня! Где ты найдёшь более тенистые дорожки, чем под моими липами? где есть сады прекрасней, чем те, что находятся внутри старых стен моего монастыря, к которым ты проходишь через мои роскошные ворота? О, если, о Гарри, ты равнодушен к моим историческим мхам и тебя не заботит моя ежегодно цветущая зелень, и ты хочешь соблазниться другими соцветиями и, как прожигатель, потратить своё наследство, то не уходи из старого Бьюри, чтобы сделать это. Вот здесь, на Ангельском Холме, уже есть мой кофе и игральные комнаты, и бильярдные салоны, где ты можешь попусту тратить время по утрам, даже если пуст твой стакан и пуст твой кошелёк, и ты это знаешь. Напрасно. Бьюри ничем не привлекал предприимчивого Гарри, который решил поспешить в Лондон, где однажды зимой в компании игроков и денди он потерял всё

до последнего соверена.

Что теперь было делать? Его друзья собрали ему часть необходимого, и скоро Гарри отправился в Бомбей гардемарином от Ост-Индской компании, во время службы в которой он был известен как «морская свинка», каковым шуточным названием тогда награждала гардемаринов команда. И, учитывая порочность его поведения, его изящное сложение и мягкий цвет лица и что золотые гинеи были для него недоступны, это прозвище в отношении бедного Гарри оказалось весьма неподходящим. Он совершил одно путешествие и вернулся, другое, и вернулся, и затем бросил своё занятие с отвращением. По прошествии нескольких недель в Лондоне его кошелёк снова был почти истощён, хотя, много промотав, он отвергал мысль о возвращении домой к своей тёте и исправиться — хотя она часто писала ему любезнейшие письма с этой надеждой, Гарри решил поторопиться в Новый Свет и там сколотить новое состояние. Горя этой идеей, он собрал свой чемодан и сел на первый поезд в Ливерпуль. Прибыв в этот город, он сразу же пошёл в доки исследовать американскую погрузку, но тут новая четвертная нота вошла в его мозг, разродившийся его старыми морскими воспоминаниями. Они

привели его к идее надеть грубые штаны и куртку и благородно пересечь Атлантику в качестве матроса. У него был романтический характер, ни дать ни взять, и презрение к прекрасным пальто одновременно совпадало с его дерзким презрением ко всем предшествующим условностям.

С таким настроем он обменял свой чемодан на рундук из красного дерева, продав кое-что из своих излишков, и перетащил его в квартиру под вывеску «Золотого якоря» на Юнион-стрит.

После заведения знакомства с ним и изучения его намерений я всецело загорелся пожеланием, чтобы Гарри сопровождал меня домой на «Горце», которое он горячо принял.

Но у меня не было абсолютной уверенности, что он преуспеет в соискании места у капитана, хотя во время нашего пребывания в доках трое из нашей команды оставили нас, а их места к нашему отъезду ещё не заполнились.

И здесь стоит сказать, что вследствие плотной загрузки, по причине которой американские суда долго остаются в Ливерпуле, их капитаны находятся под обязательством продолжать платить заработную плату своим матросам, когда те выполняют минимум работы или вообще никакой, и под необходимостью селить их на берегу, как

лордов, в свободное время, и поэтому нисколько не возражают, чтобы их матросы скрывались, если им хочется, и, таким образом, теряли свои деньги, так как хорошо известно, что, когда потребуется, новую команду можно будет легко набрать через портовых агентов.

Капитан Риг бегло говорил по-английски и вследствие долгой службы на нью-йоркских судах был почти американцем с виду, но всё же был фактически русским по рождению, хотя этот факт он пытался скрывать. И если он был экстравагантным в своих личных расходах, даже избалованным привычкой к роскоши, по-восточному непозволительной, то с другой стороны, капитан Риг всё же был скупцом, что, воистину, выразилось в великолепной стипендии в три доллара, которой он вознаградил мои собственные ценные услуги. Поэтому между Гарри и мной было оговорено, что он должен будет предложить ему отправиться, как юнге с тем же самым уровнем заработка, что и у меня, и у меня нет сомнений, что, подстрекаемый дешевизной сделки, капитан Риг с удовольствием согласится с ним, поскольку вместо того чтобы платить шестнадцать долларов в месяц многоопытному матросу, кто потреблял бы целиком свой рацион,

он наймёт моего молодого друга из Бьюри со ставкой полдоллара в неделю с воодушевляющей перспективой того, что в конце путешествия его чистейшее нёбо не станет средством сокращения солидного баланса солёной говядины и свинины в бочке с провизией.

Использовав часть денег, полученных от продажи нескольких из его бархатных жилетов, Гарри по моему совету облачился в гернсейскую тельняшку и военные штаны и вот так экипированный появился одним свежим утром на квартердеке «Горца», благородно сняв свою девственную шляпу перед устрашающим Ригом.

Едва его пожелания были сообщены, как я почувствовал, что встретился в капитане с тем же самым мягким, доброжелательным, и очаровательно весёлым выражением лица, которое так расположило, но обмануло меня, когда мы с г-ном Джонсом впервые обратились к нему в его каюте.

Увы, Гарри, подумал я, стоя на баке и глядя на корму, где стояли они, «галантный, весёлый мошенник» не должен полностью умаслить тебя, если тебе может помочь Веллингборо. Но в противном случае, действительно, я утратил бы удовольствие пребывать в твоём обществе, пере-

ходя через Атлантику.

Во время этого интересного интервью капитан выразил беспокойство и сочувствие, касаясь печальных обстоятельств, которые, как он предполагал, возможно, привели Гарри к морю, он признался, что горячо заинтересован в его будущем благосостоянии и не постеснялся заявить, что сам он, направляясь в Америку при таких устремлениях, как поиск счастья, действовал мужественно и энергично, и что путешествие туда в качестве матроса окажется взбадривающей подготовкой к высадке на берег, где он должен будет сражаться с Судьбой за удачу.

Он нанял его сразу, но, к сожалению, не смог обеспечить его домом на борту вплоть до дня отплытия судна и во время стоянки не смог выделить ему жалования.

Однако, удовлетворившись желанием заключить соглашение на любых условиях вообще, мой молодой приятель из Бьюри выразил своё удовлетворение и, наполненный восхищением от такого учтивого и благородного морского капитана, предстал передо мной, чтобы получить мои поздравления.

«Гарри, — сказал я, — не поддавайся обаянию Рига — это весёлый мошенник Лотарио из „Дон-

Кихота“ для всех неопытных, молодых моряков из столицы или деревни, у него лицо Януса, Гарри, и ты не узнаешь его, пока земля не останется за горизонтом и не заговорят отвергнутые им матросские куртки и скот. Тогда он — всецело другой персонаж и допускает запущенность своего внешнего вида. Тогда уже — побольше соболезнования и сочувствия, больше лести, и он будет относиться к тебе немного лучше, чем к своему ботинку, и больше не решит обращаться к тебе так, как к деревянному Дональду, номинальному главе нашего борта».

И затем я рассказал своему другу о нашей команде и особенно о чёртовом Джексоне и попросил его быть осторожным и предусмотрительным. Я сказал ему, что если он в некотором роде не приучен к оснастке и не может свернуть «королевское семейство» при шквале, он, несомненно, подвергнется определённому воздействию со стороны матросов, позорному в последней степени для любого смертного, кто когда-либо скрещивал ноги под красным деревом.

И я играл роль инквизитора в перекрёстном допросе Гарри, относясь с должным уважением к его матросской практике: бывал ли он легкомысленным, могли ли его руки выдержать вес

его тела, знал ли он по опыту, каково на высоте ста футов, держась всего одной рукой за парус во время бури, глядеть прямо навстречу ветру и смело противостоять ему.

На всё это и более того Гарри возразил с самым пренебрежительным и уверенным видом, сказав, что, будучи «морской свинкой», он часто поднимался на мачты и управлялся с парусами просто и вежливо, поэтому он не сомневается, что очень скоро продемонстрирует акробатический опыт на оснастке «Горца».

Его лёгкие манеры и жизнерадостные заверения вкупе с более чем неизменной неморяцкой внешностью больше подходили для королевской гостиной, чем для досок судового бака, порождая множество предчувствий в моем уме. Но, в конце концов, мы сами в этом мире всему вверяем свою собственную судьбу, и хотя мы можем предостеречь, и предупредить, и дать мудрый совет, и потворствовать многим предчувствиям, касающихся наших друзей, — всё же наши друзья, по большей части, «пройдут через свои врата», и самое большее, что мы можем сделать для них, так это понадеяться на лучшее. Однако я предложил Гарри, что лучше ему было бы пересечь море пассажиром третьего класса, так как он вполне

мог себе это позволить, но нет, он пожелал пойти как матрос.

У меня теперь был товарищ в моих дневных прогулках и в воскресных экскурсиях, и поскольку Гарри был щедрым товарищем, то разделил со мной свой кошелёк и своё сердце. Он распродал ещё несколько из своих прекрасных жилетов и коробок, свою отделанную серебром флейту и эмалированную гитару, и часть вырученных таким образом денег была с удовольствием потрачена на размещение нас самих в придорожной гостинице на окраине города.

Разлёгшись рядом в этом уютном укромном уголке, мы обменивались рассказами о событиях из нашего прошлого. Гарри много и восхищённо рассказывал мне о Лондоне, описав экипаж, на котором он раньше ездил в Гайд-парк, выдал мне размер лодыжки мадам Вестрис, сославшись на своё первое появление в клубе сумасбродного маркиза Уотерфорда, сказал о сумме, проигранной на скачках в день Дерби, и разными способами, но загадочно намекнул на некую леди Джорджиану Терезу, благородную дочь анонимного графа.

Даже в разговоре Гарри был расточительным, сопровождая своё аристократическое повество-

вание небрежной жестикуляцией и, возможно, иногда делясь не своими собственными воспоминаниями.

Что касается меня, то напомню только про своего бедного старого дядю сенатора, на которого можно было сослаться, чем я и пользовался во всех чрезвычайных ситуациях, как слоном при игре в шахматы, заставляя его плясать на привязи или чопорно стоять перед схваткой со всем множеством герцогов, лордов, экипажей и графинь моего славного товарища.

Во время этих наших долгих переговоров я часто выражал серьёзное заветное желание нанести визит в Лондон и рассказал, какой сильный был соблазн у меня в одно воскресенье пройти весь путь без пенса в кармане. На это Гарри возразил, что ничто не возвысит его больше, чем показать мне столицу, и даже многозначительно, но загадочно намекнул о возможности выполнения этого плана, прежде чем прошло много дней. Но это казалось настолько пустой мыслью, что я лишь счёл её добродушной, грохочущей болтовнёй моего друга, иногда относящейся к какой-либо идее, которую он считал приятной для меня. А если бы, кроме того, этот прекрасный парень из Бьюри был замечен своими

аристократическими знакомыми, идущим вниз по Оксфорд-стрит, скажем, рука об руку с моей охотничьей курткой? Это было бы нелепо, и я начал думать, что Гарри, в конце концов, считал своего янки немного доверчивым.

К счастью, у моего парня из Бьюри не было знакомств в Ливерпуле, где, действительно, он так же был на чужбине, как и на берегах озера Эри, поэтому почему бы ему не прогуляться со мной из-за чистого одиночества, пренебрегая покроем моей охотничьей куртки и не заботясь только о том, что кто-то может уставиться на такую удивительную пару.

Но однажды, пересекая площадь, на одной стороне которой стоял модный отель, он быстро повернул со мной за угол и шёл, не останавливаясь, пока площадь не скрылась у нас за спиной. Причиной этого внезапного отступления было удивительно изящное пальто и панталоны, стоящие прямо на ступенях отеля, в которые был облачен молодой щёголь, стучащий своими шпорами в такт с ездовым кнутом с оголовком из слоновой кости.

«Кто он, Гарри?» — спросил я.

«Мой старый приятель, лорд Лавли, — сказал Гарри небрежным тоном, — и только Небеса зна-

ют, что принесло его милость из Лондона».

«Лорд? — сказал я, поднимаясь. — Тогда я должен посмотреть на него снова из-за нехватки лордов в Ливерпуле».

Не внимая протестам моего компаньона, я отбежал к углу и медленно прошёлся мимо ровно скроенного пальто и панталон на лямках.

Это был не очень важный лорд с виду, с очень тонкими и подвижными маленькими ногами, как у куклы, и маленькой глянцевой головой, как у тюленя. Я видел людей, похожих на таких вот лордов, стоящих в сентиментальных позах перед отелем «Пальмо» на Бродвее.

Однако поскольку он и я были общими друзьями Гарри, то я решил было обратиться к нему и спросить совета относительно того, что бы такое сделать для улучшения благосостояния молодого повесы, но после долгих размышлений пришёл к выводу, что лучше всего этого не делать, особенно учитывая, что как раз тогда мой лорд Лавли встал у открытого окна подъехавшего блестящего экипажа и принял привлекательную позу, поставив вертикально подошву одного ботинка, чтобы показать на нём печать — диадему, вступив в оживлённый разговор с великолепной белой атласной шляпой, увенчанной королев-

ским пером марабу, что виднелась внутри.

Я не сомневался, что эта леди была не кем иным, как супругой пэра, и решил, что в жизни было бы самым милым и прекрасным делом лишь усесться рядом с ней и приказать из возчику взять нас и поехать за город.

Но после дальнейшего соображения я предположил, что моя компания могла бы принизить честь супруги пэра, так как у меня не было формального разрешения на представление; я прошёл дальше и присоединился к своему компаньону, из которого сразу же попытался вытянуть всё, что касалось лорда Лавли, но он лишь давал таинственные ответы и прекратил разговор, намекая на своё посещение Айкворта в Суффолке, великолепной резиденции самого благородного маркиза Бристоля, который неоднократно уверял Гарри, что тот может считать Айкворт своим домом.

Теперь всё, что касалось маркизов и Айкворта, и то, что Гарри держал в перчатке такое множество лордов и леди, начало порождать некоторые подозрения относительно твёрдой морали моего друга как правдивого рассказчика. Но, в конце концов, думал я про себя, кто может доказать, что Гарри выдумывает? Конечно, его

манеры безупречны, он весьма лёгок в общении, и нет в целом ничего невозможного в том, что он общался с владельцем Айкворта и дочерью анонимного графа. И что за права есть у такого бедного янки, как я, чтобы инсинуировать малейшее подозрение относительно того, что он говорит? Те небольшие деньги, что у него есть, он тратит свободно, он не может быть вежливым жуликом, поскольку меня не просто ощипать таким образом, это вне рассмотрения, так сгинь же такая мысль о моём собственном закадычном друге!

Но хотя я, как смог, утопил все свои подозрения и навечно открыл для Гарри сердце, любовь и верность, я всё же злился из-за всего того, что мешало мне полностью переварить некоторые его имперские воспоминания из жизни высшего света. Я очень сожалел об этом, поскольку время от времени они заставляли меня чувствовать себя неловко в его компании и закрывать от него всю мою душу, ведь, находясь в одиночестве, мне очень хотелось броситься на безразмерную грудь единственно надёжного друга.

Глава XLV
Гарри Болтон похищает Редберна и увозит его в Лондон

Кажется, это случилось спустя неделю после нашей встречи с лордом Лавли, когда Гарри, ожидавший письма, которое, как он говорил мне, возможно, изменит его планы, пришёл однажды днём, ухватился за борт судна и запрыгнул вниз в пространство между палубами, где я в приятном одиночестве был занят выборкой пакли, за каковое дело, не найдя ничего лучшего, засадил меня старший помощник.

«Эй, в Лондон, Веллингборо! — крикнул он. — Едем завтра! Первым поездом — этой же самой ночью — поедем! У меня есть деньги, чтобы снарядить вас всех, оставь здесь эту работу для виселиц, и вперёд! Тьфу! До чего же здесь воняет! Пошли, вскакивай!»

Я задрожал от изумления и восхищения.

Лондон? Этого не может быть! И Гарри — каков он! Теперь он был действительно тем, кем казался. Но я сразу же подумал обо всех случайных обстоятельствах и пожелал узнать о причине,

вызвавшей этот внезапный отъезд.

В ответ мой друг сказал, что получил денежный перевод и надеется на восстановление значительной суммы, потерянной при обстоятельствах, которые он не хотел бы разглашать.

«Но как я оставлю судно, Гарри? — сказал я. — Мне не позволят уехать, тебе не кажется? Ты должен оставить меня, в конце концов, меня не очень заботит это путешествие, и кроме того, у меня нет денег, чтобы разделить расходы».

Говоря это, я только симулировал безразличие, а моё сердце все время прыгало.

«Эх ты! Мой американский боевой петушок, — сказал Гарри, — посмотри сюда!» — И он показал мне горсть золотых монет.

«Но они твои, а не мои, Гарри», — сказал я.

«Твои и мои, мой милый друг, — воскликнул Гарри. — Ну, спускайся с судна, и пошли!»

«Но тебе не кажется, что если я оставлю судно, то за мной пошлют констебля, разве нет?»

«Что?! И ты сейчас думаешь, что они так высоко ценят твои услуги? Ха-ха! Веллингборо, я не могу ждать».

Весьма верно. Я хорошо знал, что капитана Рига не очень озаботит, если я действительно уйду, не попрощавшись с ним. Поэтому без

дальнейших размышлений я велел Гарри подождать некоторое время, пока судовой колокол не пробьёт четыре; раньше я в это время уходил на ужин и бывал свободен до дневного отдыха.

Склянки пробили, и мы пошли прочь. Пока мы торопливо шли по причалу и вдоль стен дока, я выспросил у Гарри всё о его намерениях. Он сказал, что должен съездить в Лондон и в Бьюри-Сент-Эдмундс, но в течение какого-то времени он не может оставаться на одном месте и пока не может сказать почему, поскольку это ни в коем случае невозможно, и что меньше чем через неделю мы снова вернёмся в Ливерпуль и будем готовы к выходу в море. Но всё, что он сказал, было окутано тайной, что мне не очень нравилось, и даже сейчас я едва ли уверен, правильно ли всё это пересказал.

Дойдя до «Золотого Якоря», мы поднялись на этаж, где Гарри сразу привёл меня в свою комнату и начал разворачивать поклажу, чтобы найти подходящую для меня одежду.

Хотя он был на несколько лет старше меня, некоторые размеры у нас были одинаковые — если судить по некоторым вещам, но я был крупнее, чем он; таким образом, скоро нашедшиеся рубашка, жилет и панталоны подошли мне

с небольшой натяжкой. Что же касается пальто и шляпы, то Гарри выбежал и купил их без задержки, вернувшись со свободным, стильным широким пальто и оригинальной фуражкой, очень опрятной, благородной и непритязательной.

Скоро и сам мой друг снял своё гернсейское платье и стоял передо мной, одетый в совсем простой костюм, который он нарочно купил этим же ранним утром. Я спросил его, почему он пустился в эти ненужные расходы, когда у него есть много другой одежды в багаже. Но он лишь подмигнул и посмотрел со знанием дела. Это мне тоже не понравилось. Но я стремился утопить дурные мысли.

Пока не стало довольно темно, мы сидели вместе и разговаривали. Затем, закрыв свой сундук на ключ и наказав домовладелице хорошо присматривать за ним, пока о нём не сообщат или не пошлют, Гарри схватил меня за руку, и мы отправились на улицу.

Прокладывая наш путь через толпы резвящихся матросов и скрипачей, мы повернули на улицу, ведущую к Площади Менял. Там, под тенью колоннады Гарри велел мне остановиться, затем оставил меня и пошёл завершать свой

туалет. Удивившись тому, что он имел в виду, я встал в стороне, и вскоре ко мне присоединился незнакомец с усами и бакенбардами.

«Это — я», — сказал незнакомец, и кто это был, если не Гарри, который так изменил свой облик? Я спросил его своим дрожащим голосом, который попытался сделать весёлым, о причине и выразил надежду, что он не станет подделываться под джентльмена.

Он рассмеялся и уверил меня, что это всего лишь предосторожность, для того чтобы его не признали собственные хорошие друзья в Лондоне, поэтому он и воспользовался такой маскировкой.

«И зачем бояться своих друзей? — спросил я с удивлением. — Ведь мы же не в Лондоне».

«Тьфу! Ну что ты за янки, Веллингборо. Не можешь ясно понять, что в моей голове есть план? И эта маскировка только на короткое время, ты же понимаешь. Но скоро я тебе всё расскажу».

Я согласился, хотя и не совсем легко, и мы пошли дальше, пока не подошли к трактиру, возле которого взяли кэб.

Мы остановились там на ночь, а на следующий день уже ехали, кружась и извиваясь по бескрайним деревенским пейзажам, лугам и паркам,

и по выгнутым виадукам, и по замечательным тоннелям, пока вечером с безумием и волнением напополам я не обнаружил себя брошенным среди газовых фонарей под большой крышей в Юстон-Сквер.

Наконец-то я в Лондоне и в Вест-Энде!

Глава XLVI
Таинственная ночь в Лондоне

«Нельзя терять времени, — сказал Гарри, — идём».

Он вызвал кэб, попутно назвав кучеру номер дома на некой улице, мы заскочили и поехали.

Пока мы неистово грохотали по тротуарам мимо великолепных площадей, церквей и магазинов, а наш кучер огибал углы, как конькобежец на льду, и весь Лондон ревел в моих ушах, и не было никакого конца кирпичным стенам, мне показалось, что Нью-Йорк — это деревня, а Ливерпуль — подвал для хранения угля, а я — это кто-то другой, настолько всё для меня выглядело нереальным. Моя голова вертелась волчком, мои глаза заболели от пристального взгляда, особенно на прохожих, вследствие моего стремления к быстроте, это, во-первых, с одной стороны и, во-вторых, из-за того чтобы не пропустить чего-либо; хотя, по правде сказать, я упустил многое.

«Стойте, — крикнул Гарри спустя долгое время, внезапно высунув свою голову из окна, — стойте!

Вы что, не слышите, вы глухой? Вы проехали дом №40, я вам о нём говорил, вот он — высокие ступени, с фиолетовым фонарём!»

Заплатив кучеру, Гарри, приведя в порядок свои бакенбарды и усы и предложив мне принять праздный вид, сдвинул свою шляпу немного набок, затем, схватившись за руки, мы прошли в дом, безо всякого смущения; я давно не бывал в ка ком-либо изысканном обществе.

Это было некое наполовину публичное место для пышных развлечений и сильно превосходило всё, что я когда-либо видел прежде.

Пол был мозаичным, с белоснежным и красновато-коричневым мрамором, и отражал шаги так, как будто все парижские катакомбы были под ним. У меня стало появляться ощущение, что в этой пустоте вещий звук показался бы вздохом отчаяния из подземелья, что вся эта великолепная обстановка вокруг меня осмеивала всё, что попадало на свет.

Дорожка была окрашена так, что обманывала взгляд на бесконечную колоннаду, и ряды колонн, отлитых из самой прекрасной скальолы[10] с имитацией под разнообразный мрамор —

10 Примечания: 10
Скальола — вид штукатурки. — *Примеч. пер.*

изумрудно-зелёный и золотой, из Санто-Понса с серебряными прожилками, из Сиены с порфиром, — поддерживали великолепный расписанный потолок, выгнутый, как свод, и плотно сходящийся, как будто имитируя виноградник. Через всю восточную часть этой листвы вы могли увидеть тёмно-красный рассвет, который вёл когда-то юного Аполлона, гонящего лошадей подальше от солнца. Тут и там с рельефных сталактитов из виноградных ветвей свисали галактики газовых фонарей, чей живой и яркий свет был смягчён бледным кремовым фарфором сферы, испускающей вниз безмятежный серебряный поток света, как будто каждая фарфоровая сфера была луной, и эта великолепная квартира была залита лунным светом из сада Порции в Бельмонте, и нежные влюблённые Лоренцо и Джессика[11] скрывались где-то среди виноградных лоз.

За многочисленными мавританскими столами, стоящими на кариатидах в виде рабов в тюрбанах, сидели компании из джентльменов, перед которыми стояли пустеющие графины и узкие бокалы и лежали журналы и сигары.

---

11 Примечания: 11

Лоренцо и Джессика — действующие лица пьесы У. Шекспира «Венецианский купец». — *Примеч. пер.*

Взад и вперёд сновали подобострастные официанты с чистейшими салфетками, наброшенными на предплечья, отвешивающие низкие поклоны и почтительно запинавшиеся каждый раз, когда они произносили слово.

В дальнем конце этих блестящих апартаментов стояла роскошная конструкция в виде башенки из красного дерева, частично встроенная в стену и сообщавшаяся с комнатами наверху. Позади находился очень красивый красный старик с белоснежными волосами и бакенбардами и в белоснежном жакете — он был похож на цветущее миндальное дерево — который, казалось, стоял, как вежливый часовой, охраняющий сцену, открывавшуюся перед ним, и именно он главным образом отдавал приказы официантам и с тихим приветствием получал серебро от гостей.

Наше появление заметили немногие, и оно не привлекло внимания, каждый присутствующий, казалось, чрезвычайно оживлялся, когда дело касалось его собственных проблем, а многочисленная группа собралась вокруг одного высокого джентльмена, с виду военного, который зачитывал из «Таймс» какие-то военные новости из Индии, комментируя их очень громким голосом, в целом осуждая всю кампанию.

Мы сели напротив этой компании, и Гарри, постучав по столу, заказал вина, упомянув некую любопытную иностранную марку.

Графин, наполненный бледно-жёлтым вином, поставили перед нами, и мой товарищ, выпив несколько стаканов, прошептал мне, чтобы я оставался на месте, пока он ненадолго отлучится.

Я увидел, что он подошёл к подобию башенки и обменялся там конфиденциальными словами с «миндальным деревом», кто немедленно и очень удивлённо посмотрел на него — я решил, что он немного смутился, — и затем исчез вместе с ним.

Пока мой друг отсутствовал, я занялся своим осмотром, стремясь казаться максимально равнодушным и так же часто пользующимся всем этим великолепием, как будто я родился в нём. Но, по правде говоря, моя голова почти кружилась от странного зрелища и мысли о том, что я действительно находился в Лондоне. Что сказал бы мой брат? Подумайте только, что сказал бы Том Легейр, казначей Юношеского общества воздержания?

Но я почти свыкся с тем, что здесь отсутствовали мои друзья и родственники, живущие

в маленькой деревне в трёх тысячах пятистах милях отсюда, в Америке, которым было бы трудно совместить такое скромное воспоминание с великолепной живостью сверкающего лондонского спектакля вокруг меня.

И в минутном помутнении я начал баловаться глупыми золотыми видениями графов и графинь, которым Гарри мог бы представить меня, каждый раз ожидая услышать те же слова, что официанты адресовали некоторым джентльменам, как-то «мой господин» или «для вашей светлости». Но если там действительно присутствовали какие-либо лорды, то официанты опускали их титулы, по крайней мере для моих ушей.

С этими мыслями смешались и перепутались видения собора Святого Павла и Стрэнд, которые я решил посетить следующим ранним утром перед завтраком или погибнуть в попытке сделать это. И я жаждал возвращения Гарри, после чего мы немедленно могли бы выйти на улицу и увидеть несколько достопримечательностей, прежде чем все магазины закроются на ночь.

Сидя в одиночестве, я заметил одного из официантов, смотревшего на меня, как казалось, немного дерзко, как будто он увидел во мне что-то странное. Поэтому я попытался принять

небрежный и барственный вид и помочь этому, забросив одну ногу на другую, как молодой принц Эстерхази, но я всё время чувствовал, что моё лицо горело от смущения и что всё время я, должно быть, выглядел в чём-то виноватым. Но, несмотря на злость от этого, мои глаза глядели смело и прямо через мой румянец, и я отметил, что время от времени среди господ образовывались небольшие компании, и они удалялись в заднюю часть дома, как будто бы на частную квартиру. И я подслушал одного из них, обронившего слово «помада», но он, возможно, не использовал помаду, поскольку его лицо было чрезвычайно бледно. Другой говорил что-то про туалет.

Наконец Гарри вернулся, его лицо сильно покраснело.

«Пойдем, Редберн», — сказал он.

Поэтому, не делая ничего более, мы пошли прогуляться, кажется, к Апсли-Хаусу, в парк, чтобы хитро проследить за старым герцогом, прежде чем тот удалится на ночь, и ещё Гарри сказал мне, что поскольку герцог всегда ложился спать рано, то и я тоже последую за ним; но что меня разочаровало и удивило, так это то, что он только лишь привёл меня к проходу, к лестнице, освещённой тремя мраморными грациями, стоящими на полу

и совместно держащими широкий, как лосиные рога, канделябр.

Мы поднялись по длинной витой аристократической лестнице, каждая ступень которой, покрытая турецкими ковриками, выглядела столь же великолепно, что и чехол на козлах кучера лорд-мэра; и Гарри подошёл прямо к палисандровой двери, которая, как на волшебных стержнях, с упругой мягкостью открылась от его прикосновения.

Когда мы вошли в комнату, мне показалось, что я невольно плавно погрузился в некое поросшее водорослями море, настолько толстыми и упругими оказались настеленные персидские ковры, имитирующие цветники из тюльпанов, роз и жонкилей, как в поместье в Вавилоне.

Длинные гостиные выглядели беззаботно: в их прекрасную парчовую ткань, имитирующую гобелен, были вплетены иллюстрированные рассказы о стычках и турнирах. И хитрые изгибы восточных оттоманок и ткани выглядели как волнообразно сплетённые змеи под ложами из листьев, отчего тут и там вспыхивали внезапным блеском зелёные и золотые чешуйки.

В широких оконных проёмах, подобных дуплам в дубах короля Карла, стояли похожие на Лаоко-

она стулья в старинном вкусе, задрапированные тяжёлыми кружевными пальцами и шёлком.

На стенах, оклеенных особой французской клетчатой бумагой с добавлением бархатных полос, по кругу были развешаны мифологические картины, перевитые подвесными серебряными и синими связками.

Это были те картины, где первосвященники ради подкупа показывали Александру самую тайную святыню белого храма в ливийском оазисе; те картины, где Верховный жрец Солнца стремился скрыться от Кортеса, когда тот мечом разрубал открытый санктум храмовой пирамиды в Чолуле; те картины, которые вы пока ещё, возможно, сможете увидеть в центральном алькове откопанного особняка Панса в Помпеях — в той части, что называют гостиной дома Варро; те картины, про которые Мартиал и Сентоний упоминают как о находившихся в личном кабинете императора Тиберия; те картины, что выгравированы на бронзовых медалях, что по сей день выкапывают на древнем острове Кипр; те картины, которые вы, возможно, увидите в арочной нише, находящейся по левую руку от тайной галереи храма Афродиты в Коринфе.

На основном столбике размещалась мраморная

консоль, сработанная наподобие гребня дракона и поддерживавшая самый примечательный бюст. Это был лысый старик с загадочно злым выражением лица, внушительно приложивший свой тонкий палец к губам. Его мраморный рот, казалось, дрожал из-за некой тайны.

«Сядь, Веллингборо, — сказал Гарри, — не пугайся, мы дома. Звонят в звонок, не так ли? Но постой», — и, приблизившись к таинственному бюсту, он что-то прошептал ему в ухо.

«Он — всезнающий немой, Веллингборо, — сказал он, — который остаётся в этом помещении всё время, пока кто-то бежит исполнять поручение. Не думаю, что тебе стоит шептать тайны ему в ухо».

И, повинуясь вызову, столь своеобразно переданному, к моему изумлению почти немедленно появился слуга, застывший в поклоне.

«Сигару», — приказал Гарри. Когда сигары прибыли, он пододвинул маленький столик, стоящий посреди комнаты и зажёг свою сигару, предложив мне последовать его примеру и осчастливить самого себя.

Приехав сюда с такими королевскими почестями, о которых я прежде и не мечтал, ведя до сей поры свою собачью жизнь на грязном баке «Гор-

ца», я развернул стул и уселся напротив своего друга.

Но в глубине души я всё время чувствовал себя нехорошо и был переполнен тайными и мрачными предчувствиями. Но я стремился развеять их и, повернувшись к моему компаньону, воскликнул: «Скажи, Гарри, ты живёшь здесь, в этом дворце Аладдина?»

«Забери, господь, мою душу, — вскричал он, — ты просто поразителен: ты, должно быть, бывал здесь прежде! Дворец Аладдина! Да, пожалуй, Веллингборо, ему очень идёт такое название».

Затем он странно рассмеялся, и впервые я подумал, что хотя он как-то слишком легко пьёт залпом и дико смотрит вокруг, его основные манеры не поменялись.

«Кого ты столь упорно разглядываешь, Веллингборо?» — сказал он.

«Я боюсь, Гарри, — сказал я, — что, когда ты оставил меня сейчас, ты, должно быть, выпил что-то более крепкое, чем вино».

«Слушай пока его, духовник! — сказал Гарри, обернувшись, как будто обращаясь к лысому бюсту на консоли. — Но заметь, Веллингборо, мой мальчик, что я должен снова оставить тебя, и на более длительное время, чем прежде: я могу

не вернуться назад сегодня вечером».

«Как?» — переспросил я.

«Останься, — вскричал он, — услышь меня, я знаю здесь старого герцога, и…»

«Кого? Не герцога ли Веллингтона? — сказал я, задавшись вопросом, не хотел ли Гарри действительно включить и его в свой длинный список конфиденциальных друзей и знакомых.

«Фу! — вскричал Гарри. — Я имею в виду белоусого старика, которого ты видел внизу, его называют Дьюк[12] — он содержит дом. Я сказал, что знаю его хорошо, и он знает меня, и он также знает, что принести мне сюда. Хорошо, у тебя здесь есть всё, что нужно, ты должен остаться в этой комнате и спать здесь сегодня вечером, и… и… — продолжал он, говоря тише, — ты должен будешь стеречь это письмо, — плавно вложив конверт в мою руку, — и если я не вернусь утром, ты должен будешь послать его прямо в Бьюри и оставить письмо там; вот, возьми эту бумагу — здесь все изложено чёрным по белому, куда ты должен пойти и что ты должен будешь сделать. И после того, как всё будет сделано, — помни, это всё в случае, если я не вернусь, — ты смо-

---

12 Примечания: 12

Дьюк (*англ.* duke) — герцог. — *Примеч. пер.*

жешь делать то, что пожелаешь: остаться здесь в Лондоне на некоторое время или вернуться в Ливерпуль. И вот достаточная компенсация за все твои расходы».

Всё это было словно удар грома. Я решил, что Гарри сошёл

с ума. Я держал кошелёк в своей неподвижной руке и таращился на него, пока из моих глаз едва не закапали слёзы.

«В чём дело, Редберн? — закричал он с диким смехом. — Ты не боишься меня, не так ли? Нет, нет! Я верю в тебя, мой мальчик, или ты не держал бы в своей руке ни этого кошелька, ни этого письма».

«Что, чёрт возьми, ты имеешь в виду? — наконец воскликнул я. — Ты действительно намереваешься оставить меня в этом странном месте, не так ли, Гарри?» — и я схватил его за руку.

«Фу, фу, — вскричал он, — позволь мне уйти. Я говорю тебе, что всё в порядке: сделай, как я сказал, это — всё. Обещай мне сейчас же, ты обещаешь? Поклянись! Нет, нет, — добавил он страстно, когда я заклинал его рассказать мне побольше, — нет, я не буду: мне тебе нечего больше сказать — ни слова. Ты клянёшься?»

«Лишь одна просьба ради тебя самого, Гарри:

услышь меня!»

«Ни звука! Ты поклянёшься? Не будешь? Тогда отдай мне это портмоне… вот… вот… возьми это… и это… и это, это тебе деньги на обратный проезд в Ливерпуль, до свидания: ты мне не друг», — и он повернулся ко мне спиной.

Я не знаю, что пронеслось в моей голове, но это было какое-то внезапное побуждение, и, схватив его руку, я поклялся ему в том, что он требовал.

Он сразу же подбежал к бюсту, прошептал слово, и появился белоусый старик, которого он похлопал по плечу, а затем представил меня как своего друга, молодого лорда Стормонта, и предложил «миндальному дереву» хорошо присмотреть за комфортом его светлости, в то время пока он — Гарри — уйдёт.

«Миндальное дерево» вежливо поклонилось и стало гримасничать со столь специфическим выражением, что я возненавидел его прямо на месте. После нескольких последующих слов он ушёл. Затем Гарри сердечно пожал мою руку и, не давая мне шанса сказать хоть слово, схватил свою кепку и бросился из комнаты, бросив: «Не покидай эту комнату сегодня вечером и помни про письмо и Бьюри!»

Я завалился в кресло и пристально посмот-

рел вокруг на странные стены, и таинственные картины, и на люстры на потолке, затем встал, открыл дверь и посмотрел вниз на освещённый проход, но лишь услышал гул из заполненной комнаты снизу, рассеянные голоса и глухой грохот бильярдных шаров из закрытых смежных апартаментов. Я попятился назад в комнату, и чувство ужасного отвращения охватило меня: я отдал бы этот мир за безопасное возвращение в Ливерпуль и крепкий сон на моей старой койке в Принцевом доке. Я дрожал от каждого шага и почти решил, что это должны быть некие убийцы, преследующие меня. Всё место казалось заражённым, и странная мысль пришла ко мне, что великолепная дамасская ткань с узорами по кругу была заражена восточной чумой. И ещё подумал я, не содержало ли наркотик бледно-жёлтое вино, что я пил ранее? Это, должно быть, был некий дом, стоящий на яме. Но эта боязливая мечтательность только прочней привязывала меня к моему стулу, да так, что когда я захотел умчаться подальше от этого дома, мои конечности оказались в наручниках.

И пока я был прикован к моему месту, что-то внезапно и резко открылось: шум, смешанный из проклятий и грохота бильярдных шаров, бо-

лее громкий, чем прежде, внезапно влетел в мои уши, и через частично открытую дверь комнаты, где я находился, показался высокий безумный человек со сжатым руками, дико устремившийся по проходу к лестнице.

И всё время, пока Гарри пробегал через мою душу — внутри и снаружи, каждая дверь при таком взрыве, как мне казалось, открывалась для его неистового порыва.

В этот момент всё моё знакомство с ним прошло в мгновение ока через мой ум, пока я не спросил себя, почему он приехал сюда, в Лондон, в это место? — есть ли ответ, почему не куда-нибудь, а в Ливерпуль? и зачем я ему понадобился? Но, как ни крути, его поведение было необъяснимо. С того самого часа, как он обратился ко мне на борту судна, мне казалось, что его поведение постепенно меняется, и с того момента, когда мы запрыгнули в кэб, он выглядел почти совсем другим человеком в отличие от того, каким он был прежде.

Но что я мог поделать? Он ушёл, что было бесспорно, мог ли он когда-нибудь вернуться назад? Но он мог всё ещё где-то оставаться в доме, и, дрожа, я думал о грохоте бильярдных шаров и был почти готов броситься вперёд, обыскать каждую

комнату и спасти его. Но это было бы безумием, и я поклялся, что так не сделаю. Казалось, что мне ничего не остаётся, кроме как ждать его возвращения. Всё же, если он не вернётся, то что тогда? Я вынул кошелёк, пересчитал деньги и посмотрел письмо и заметку в газете.

Хотя я ярко всё помню, я не расскажу ни о содержании письма, ни о содержании газеты. Но после того как я посмотрел на них внимательно, то пришёл в выводу, что Гарри не думал искать во мне объект для обмана, и я решил для себя, что да, это серьёзно, и вот я здесь — да, в самом Лондоне! И здесь в этой комнате я и останусь, будь что будет. Я буду безоговорочно следовать его указаниями и поэтому досмотрю до конца этот сюжет.

Но злясь от этих мыслей и злясь от столичного великолепия вокруг меня, я в тайне испытывал ужасное чувство, которого не испытывал никогда прежде, кроме тех случаев, когда проникал в самые низкие и убогие матросские притоны в Ливерпуле. Мне казалось, что по всем зеркалам и всему мрамору вокруг ползали змеи, и я подумал про себя, что, несмотря на золото и позолоту, не совсем змея — всё же змея.

Уже стало очень поздно, и от слабости и вол-

нения я бросился в зал, где в течение некоторого времени беспокойно метался в своеобразном кошмарном сне. Каждую минуту, злясь из-за своей клятвы, я был готов вскочить и ринуться на улицу, чтобы спросить, где я нахожусь, но, помня о запретах Гарри и моём собственном незнании города и от того, что уже стоял поздний час, я снова попытался успокоиться. Наконец я заснул, видя во сне Гарри, сражающегося внизу в кости с человеком военного облика, и следом за тем ощутил яркий свет, упавший на мои глаза, и самого Гарри, очень бледного, стоящего передо мной.

«Письмо и газету!» — крикнул он.

Я пошарил в своих карманах и вручил их ему.

«Вот! вот! вот! Вот так я рву вас, — кричал он, разрывая письмо на части обеими руками, как сумасшедший, и топча порванные куски. — Я отказываюсь от Америки, всё пропало».

«Ради Бога объясни, — сказал я, теперь совершенно изумлённый и напуганный. — Скажи мне, Гарри, что это? Ты играл на деньги?»

«Ха-ха, — он безумно рассмеялся. — Азартная игра? Красное и белое, ты посередине?.. Карты?.. Игра в кости?.. Кости?.. Ха-ха!.. Азартная игра? Азартная игра? — он выдавливал слова через

стиснутые зубы. — Что за пара дьявольских кинжальных слогов!»

«Веллингборо, — добавил он, медленно идя ко мне и сверля меня глазами, — Веллингборо, — и, повозившись в своём нагрудном кармане, он вынул кортик. — Вот, Веллингборо, возьми его — возьми его, говорю тебе, ты — глупец?.. вот, вот, — и он вложил его ко мне в руку. — Держи его отдельно от меня, не показывай его мне — я не хочу его видеть возле себя, пока осознаю, что делаю. Они здесь подло обслуживают самоубийц, Веллингборо, они не хоронят их прилично. Посмотри на этот шнурок от звонка! О небо, это приглашение повеситься самостоятельно». — И, схватив позолоченную ручку на конце шнура, дёрнул её вниз.

«Ради бога, что беспокоит тебя?» — закричал я.

«Ничего, о, ничего, — сказал Гарри, уже приняв показное, тропическое спокойствие — ничего, Редберн, ничего в мире. Я самый спокойный из людей».

«Но отдай мне этот кортик, — вскричал он внезапно, — позволь мне держать его у себя, говорю тебе. О! Я не хочу убивать себя — это уже в прошлом, дай его мне», — и, выхватив его из моей руки, он бросил на стол пустой кошелёк и сра-

зу же потрясающим ударом прибил его кортиком к столешнице.

«Там теперь, — прокричал он, — для старого герцога есть что-то, что он увидит завтра утром, это всё, что осталось от меня — это мой скелет, Веллингборо. Но пошли, не унывай, всё же в Голконде немного больше золота, у меня в запасе есть гинея или две. Не смотри так, мой мальчик, мы будем в Ливерпуле завтра ночью, мы поднимаемся утром». — И, отвернувшись, он начал весьма бодро свистеть.

«И это теперь, — сказал я, — и есть твоя экскурсия по Лондону, не так ли, Гарри? Я так не считаю, но расскажи мне свою тайну, независимо от того, какова она, и я не буду сожалеть о том, что не увидел город».

Он обернулся ко мне как молния и закричал: «Редберн!

Ты должен дать другую клятву, и немедленно».

«И почему? — сказал я с тревогой. — Что ещё ты сделаешь для того, чтобы я поклялся?»

«Никогда не спрашивай меня больше об этой адской поездке в Лондон! — закричал он с пеной на губах. — Даже не шепчи никогда про это! Поклянись!»

«Я, конечно, не побеспокою тебя, Гарри, во-

просами, если ты этого не желаешь, — сказал я, — но нет никакой потребности в клятве».

«Поклянись в этом, говорю тебе, если ты любишь меня, Редберн», — добавил он умоляюще.

«Ну, тогда я торжественно клянусь. Теперь ложись и давай забудем поскорей, как только сможем, ты меня сделал меня самой несчастной из живущих собак».

«Кем? — вскричал Гарри. — Но прости меня, Редберн, я не хотел тебя обижать, если бы ты знал всё — но нет, нет!.. Не вспоминай, не бери в голову!» И он подбежал к бюсту и зашептал ему в ухо. Пришёл официант.

«Бренди», — прошептал Гарри сквозь зубы.

«Разве ты от него не заснёшь?» — сказал я, ещё более встревоженный его голосом и боясь эффекта от выпитого при таком настроении.

«Не будет у меня сна! Спи, если можешь, я хочу посидеть с графином! — дай взглянуть, — поглядев на бронзовые каминные часы. — Сейчас только два часа ночи».

Официанту, очень сонному, с зелёной тенью на лбу, появившемуся с графином и стаканами на подносе, было велено всё оставить и уйти.

Видя, что Гарри был неподвижен, я снова бросился в зал. Я не спал, но, как сомнамбула, только

дремал, и тогда, и теперь, уходя от моих мечтаний, пока Гарри сидел, положив свою шляпу на стол, перед ним стояла бутылка бренди, из которой он иногда наполнял свой стакан. Однако, к моему изумлению, вместо возбуждения алкоголь, казалось, успокаивал его, и ещё долгое время он был сравнительно спокоен.

Наконец я погрузился в глубокий сон, и был разбужен оттого, что Гарри тряс меня и сообщал, что наш кэб стоит у дверей.

«Посмотри! Уже настал день», — сказал он, отодвинув в сторону тяжёлую драпировку на окне.

Мы покинули комнату, прошли через уже тихий и пустынный зал с колоннами, который в этот час издавал сильный запах роз и сигарного пепла, мимо тупого официанта, протирающего свои глаза, и резко открыли уличную дверь. Мы запрыгнули в кэб и скоро обнаружили самих себя несущимися вперёд на север по железной дороге к Принцеву доку и «Горцу».

Глава XLVII
Направляемся домой

Мы снова оказались в Ливерпуле и направились по тем же самым старым улицам к вывеске «Золотого Якоря», сам же я едва мог поверить в события, случившиеся за прошедшие тридцать шесть часов.

Настолько непредсказуем с самого начала был наш отъезд, настолько скорой была наша поездка, настолько необъяснимо было поведение Гарри и столь внезапно было наше возвращение, что все это, слившееся воедино, сокрушило меня. То, что я вообще побывал в Лондоне, казалось невозможным, и в том, что я был там и ушёл прочь, было мало разумного, и это почти смяло меня, того, кто так долго жаждал улицезреть эту чудесную столицу.

Мне было тяжело смотреть на Гарри, когда он шёл в тишине рядом со мной, засматриваясь на здания, мимо которых мы проходили, я думал о кэбе, освещённом газом зале во дворце Аладдина, картинах, письме, клятве, кортике, таинственном месте, где все эти таинства про-

изошли, и затем почти пришёл к выводу, что бледно-жёлтое вино содержало наркотик.

Что касается Гарри, то он, положив свои ложные бакенбарды и усы в карман, сразу же проследовал прямо к пансиону и поприветствовал хозяйку, ему была показана его комната, куда мы немедленно переместили нашу одежду, снова облачившись в наше матросское одеяние.

«Ну, что ты сейчас предлагаешь делать, Гарри?» — спросил я с тяжёлым сердцем.

«Да посетить твою американскую землю на „Горце“ — что же ещё?» — ответил он.

«И это будет посещение или долгое пребывание?» — спросил я.

«Это как получится, — сказал Гарри, — но теперь я более чем когда-либо готов выйти в море. Нет ничего, кроме моря, для такого человека, как я, Редберн, отчаянный человек не может довольствоваться длинным причалом, знаешь ли, и следующий его шаг должен быть прыжком в длину. Но пойдём, посмотрим, что нам здесь дадут покушать, а затем покурим сигары и прогуляемся. Я уже чувствую себя лучше. Никогда не говори о смерти — вот мой девиз».

Мы пошли на ужин, после чего вышли из дома и, идя по причалу Принцева дока, услышали, что

этим утром судно

«Горец» сообщает всем о своём отплытии через два дня.

«Хорошо!» — воскликнул Гарри, и мне самому стало довольно радостно.

Хотя я уже отсутствовал на судне целых сорок восемь часов и намеревался вернуться назад, я всё же не ожидал нарваться на какую-то серьёзную реакцию от офицеров, ведь некоторые из наших матросов отсутствовали дольше, чем я, и по их возвращении им мало что об этом высказали или вообще промолчали. Действительно, в некоторых случаях старший помощник капитана, казалось, ничего не знал об этом. В течение всего времени, пока мы стояли в Ливерпуле, судовая дисциплина была в целом смягчена, и я едва ли мог представить, что это были те же самые офицеры, которые в море вели себя подиктаторски. Причина этого состояла в том, что у нас не было никаких важных занятий, и хотя капитан мог бы теперь по закону отказаться принимать меня на борт, я всё же не боялся этого, поскольку в свои годы был крепким парнем и работал задёшево, и не каждого можно было нанять в обратный путь на моё место. Следующим утром мы предстали на борту перед остальной частью

команды, и помощник капитана, рассматривая меня, побожившись, сказал: «Ну, сэр, вы решили, что теперь лучше всего вернуться, не так ли? Капитану Ригу и мне было бы лестно, если бы вы сбежали отсюда навсегда».

Затем я понял, что капитан, которого, кажется, не волновало ничего, что происходило с матросами, знал о моём отсутствии.

«Но повернитесь, сэр, повернитесь, — добавил помощник, — сюда! Туда наверх, и освободите вот тот вымпел, вон тот самый фол-бакштаг — прыжком!»

Капитан, вскоре вышедший на палубу, очень доброжелательно посмотрел на Гарри, но, как обычно, не претендовал на то, чтобы что-то самостоятельно комментировать.

Все мы теперь были очень заняты делами, связанными с подготовкой к плаванию. Груз уже был убран с берега стивидорами и грузчиками, но занятием команды стала уборка между палубами на пространстве от каютных переборок до бака для приёма приблизительно пятисот эмигрантов, отдельные коробки которых уже захламили палубы.

Исходя из потребностей, необходимо было запастись намного большим количеством воды,

чем требовалось на проход в обратном направлении. Соответственно, помимо обычного числа бочек на палубе, ряды огромных терций были закреплены посередине судна по всему межпалубному пространству, формируя проход по каждой стороне и предоставляя доступ к четырём рядам коек — по три ряда, один выше другого, по сторонам судна и по два ряда разместились посередине на терциях с водой. Эти койки были наскоро сколочены из грубых досок. Они больше походили на собачьи конуры, чем на что-либо ещё, тем более что место было весьма мрачным и тёмным, ни малейшего света не попадало вниз, кроме как из переднего и следующего за ним люков, оба из которых были закрыты небольшими домиками, называемыми «психушками». Главные люки, хорошо обитые и покрытые тяжёлым брезентом, были «по-пассажирски» основательно подвязаны снизу.

Камбузом служила большая открытая печь, или железная сфера, сработанная явно для эмигрантских судов, совершенно не защищённая от непогоды, на которой готовить себе еду во время пребывания в море разрешали только эмигрантам.

После двухдневного труда всё было готово,

большая часть эмигрантов оказалась на борту, и вечером мы поставили судно близко к выходу из Принцева дока, прямо против водного затвора, чтобы выйти утром с приливом.

Утром суматоха и беспорядок у нас были неописуемы. В придачу к обычному шуму доков добавилась спешная беготня взад и вперёд наших пятисот эмигрантов, последние из которых со своим багажом теперь попали на борт; появление каютных пассажиров в сопровождении носильщиков с их багажом; громкие распоряжения хозяев дока; приказы различным судам позади нас сохранять своё местоположение до выхода; прощальные речи, и «до свидания», и «храни вас Бог» между эмигрантами и их друзьями; и приветствия с окружающих судов.

В это время мы стояли так, что никто не мог пройти к нам, кроме как через бушприт, который нависал над причалом. Вдоль этого бушприта нетвёрдой походкой прошёл одноглазый агент, держащий за воротник пьяного матроса, который должен был отплыть с нами накануне. Это произошло прежде, чем двое или трое из наших матросов покинули нас навсегда, пока мы стояли в порту. Когда агент сдал этого человека и того для безопасности разместили на нижней койке,

то он вернулся на берег и двинулся к жалкой тележке, на которой растянулся другой матрос, по всей видимости, пьяный и абсолютно беспомощный. Однако судно уже развернулось широкой стороной к причалу, и этот обморочный матрос в шотландской кепке, низко надвинутой по его закрытые глаза и оставлявшей видимым только болезненное португальского типа лицо, был поднят на борт при помощи верёвки, пропущенной под руки, и пронесён вперёд командой, которая поместила его на аналогичную койку на баке, тщательно заправленную самим агентом, попросившим свидетелей не тревожить его, пока судно не окажется вдали от земли.

Создавшийся беспорядок усугубился, когда мы уже выплыли из дока. Развевались шляпы и платки, звучали взаимные крики «ура!» и лились слёзы, и последнее, что я увидел, как только мы устремились по течению, был полицейский, схвативший мальчика и уводящий его к гауптвахте.

Паровой буксир «Голиаф» взял нас под ручку и сопроводил вниз по реке мимо форта.

Сцена была просто поразительной.

Сильный бриз, который дул вверх по реке четыре последних дня, удерживал в разных доках

множество судов со всех частей света, и они, окончив погрузку, широким фронтом из торговых кораблей развернулись к морю. Белые паруса блестели в прозрачном утреннем воздухе, как большой лагерь восточного султана, и с многих баков неслась очень старая песня «Хо-о хо-йо, весёлые мужики!» — как команды назвали свои якоря.

Ветер был попутный, погода хорошая, море — более чем спокойное, и бедные эмигранты пребывали в приподнятом настроении из-за столь благоприятного начала их путешествия. Они расположились на всех палубах, говоря, что скоро увидят Америку, ссылаясь на сказанные агентами слова, что двадцать дней — это максимальная продолжительность путешествия.

Здесь стоит упомянуть, что вследствие большого числа судов, приплывающих к американским портам из Ливерпуля, конкуренция среди агентов за пассажиров-эмигрантов, которые как груз намного более выгодны, чем ящики и товары, чрезвычайно велика, поэтому некоторые агенты, которых они нанимают, не колеблясь, готовы обмануть бедных просителей, рассказывая им басни о быстром переходе судов через океан. Это часто побуждает эмигрантов брать с собой

намного меньший запас провизии, чем требуется, что приводит к плачевным результатам, как будет показано далее. И хотя общества доброжелателей, давно созданные в Ливерпуле, с этой целью содержат офисы, где эмигранты могут получить достоверную информацию и совет относительно наилучшего размещения и получить ответ на другие вопросы, интересные им, и хотя английские власти издали закон, что каждый капитан судна с эмигрантами, направляющегося в какой-либо порт Америки, должен проследить, чтобы каждому пассажиру была предоставлена порция еды в течение шестидесяти дней, тем не менее всё это не удерживает корыстных капитанов и беспринципных агентов от организации великого обмана, не освобождая самих эмигрантов от страданий, которые эти службы намеревались предотвратить.

Как только мы вышли на простор Ирландского моря и, оставшись с ним один на один, потеряли из виду нашу тысячу провожающих, так настали самые ненастные холодные, влажные и унылые дни и невообразимые ночи. Ветер был бурным, он замирал в наших зубах и смирил сердца эмигрантов. Почти все они теперь хотели спрятаться пониже, чтобы убежать с неудобных и опасных

палуб; из двух «психушек» исходил устойчивый гул стенающего и плачущего подземелья. Непреодолимая морская болезнь повергла самых крепких из их числа, и женщины и дети обнимались и рыдали из-за множества мук первого для бедных эмигрантов морского шторма.

Довольно плохо в такие времена дамам и господам в каюте, у которых есть миленькие купе, достаточно приватная жизнь и стюарды, готовые бежать по их слову, поправить подушки под их головами, нежно спросить, как они поживают, и смешать им поссет; и даже отказываясь от души и подчиняясь слабости тела, такие дамы и господа будут часто хотеть оста вить саму свою жизнь как невыносимую и вознесут множество прошений о собственном быстром уничтожении, что, однако, будет лишь результатом их ревностного беспокойства о сохранении своих ценных жизней.

Как тогда обстоят дела с одинокими эмигрантами, уложенными, как хлопок, упакованными, как рабы в невольничьем судне, оказавшимися заключёнными на своём месте во время шторма, закрытыми и от света, и от воздуха, кто совсем не может заниматься кулинарией, даже согреть чашку воды, кто в пропитанной морем одежде

немедленно загасит свой огонь в выставленном на палубу очаге? Что тогда произойдёт с этими мужчинами, женщинами и детьми, для кого первое путешествие при самых выгодных обстоятельствах должно будет пройти так же тяжело, как у Благородного Де Ланси Фитц Кларенса, его леди, дочери и семнадцати слуг.

Но это не всё: ведь на некоторых из этих судов, как в случае с «Горцем», пассажиры-эмигранты отрезаны от большинства обязательных удобств цивилизованного жилья. В штормовое время это толкает их на крайности, при которых неудивительно возникновение лихорадки и эпидемий. Мы не провели в море и одной недели, когда, засунув голову в передний люк, можно было подумать, что перед вами внезапно открылось содержимое выгребной ямы.

И более того. Аристократия, оберегаемая на борту некоторых из этих судов такова, что в жизнь претворяются самые жестокие меры, препятствующие тому, чтобы эмигранты вторгались в самые священные окрестности квартердека, единственного абсолютно открытого пространства на борту судна. Следовательно, даже в прекрасную погоду — когда они поднимались наверх, то заполняли шкафут судна и оказывались зажаты-

ми среди лодок, бочек и штанг, озлобляя моряков и иногда получая пинки от офицеров из-за неизбежного стояния на пути у экипажа судна.

Всего каютных пассажиров «Горца» было числом около пятнадцати, и защищать это отделение аристократизма от варварских вторжений «диких ирландских» эмигрантов было поручено тросу, натянутому поперёк корабля возле гротмачты, который определял границу между теми, кто заплатил за переход три фунта, от тех, кто заплатил двадцать гиней. И сами каютные пассажиры были самыми ревностными стражами этого порядка.

Неплохо было бы для некоторых претенциозных выскочек, души которых заложены у их банкиров, и чьи тела служат лишь для ношения их кошельков, установить связь с глубочайшими чувствами бедняков, если они так легко и точно могут определить на берегу различие между собой и остальной частью человечества.

Но сам я, Редберн, был тем самым беднягой, который почти никогда не знал, каково это — хоть когда-то иметь пять серебряных долларов в своём кармане, и, несомненно, поэтому данное обстоятельство имеет некоторое отношение к небольшому и безопасному негодованию в от-

ношении описанного мною.

Глава XLVIII
Относительно живой труп

Видимо, было предопределено, что наше отплытие от английского берега будет отмечено трагическим событием, сродни внезапному самоубийству, которое произвело на меня такое же сильное впечатление, как и при отходе с берега американского.

Из троих недавно отправившихся на бак матросов, которые в состоянии опьянения были принесены на борт от ворот дока, двое смогли приступить к исполнению своих обязанностей через четыре или пять часов после ухода с пирса. Но третий человек всё ещё лежал на своей койке в том же самом положении, в котором его оставил принёсший туда агент.

Он значился в судовых бумагах под именем Мигель Саведа, и из-за Мигеля Саведы старший помощник, наконец, вышел вперёд, прокричав команде бежать на бак вниз, требуя его мгновенного присутствия на палубе. Но матросы вступились за своего нового товарища, дав помощнику понять, что этот Мигель всё ещё на-

ходится без сознания и не может повиноваться ему, тогда, бормоча своё обычное проклятие, помощник удалился на квартердек.

Это было в первых часах собачьей вахты, с четырёх до шести ночи. Приблизительно в три склянки следующей вахты голландец Макс, который, как и большинство старых моряков, был кем-то вроде врача в случаях опьянения, рекомендовал снять одежду с Мигеля, чтобы тот мог улечься поудобней. Но Джексон, который редко позволял делать на баке что-либо, чего он не планировал, своевольно запретил это делать.

Поэтому матрос всё ещё продолжал незаметно лежать на своей койке, которая находилась в остром углу бака, позади бушпритных тумб — двух крепких деревянных стоек, закреплённых на киле судна. Час или два спустя часть матросов ощутила странный запах на баке, который был приписан присутствию некой мёртвой крысы среди пустого пространства со стороны обшивки: несколькими днями ранее бак был окурен для искоренения заполнявших его паразитов. В полночь выходила вахта левого борта, к которой я был приписан, и немедленно каждый проснувшийся возмущался невыносимым запахом, который, как предполагали, усиливался

от встряхивания трюмной воды, вызванного качкой судна.

«Прибейте эту крысу!» — крикнул Гренландец.

«Она уже прибита, — сказал Джексон, который в своих панталонах пробрался к койке Мигеля. — Это водяная крыса, мои моряки, она мертва, и она здесь, — и с этими словами он потянул матроса за руку, воскликнув: — Мёртв, как бревно!»

Вскочив, люди помчались к койке, Макс осветил лицо человека.

«Нет, он не мёртв», — вскричал он, как только жёлтое пламя на мгновение дрогнуло у неподвижного рта моряка. Но едва мы замолчали, как к тихому для всех ужасу две нити зеленоватого огня, словно раздвоенный язык, проскочили между губами, и через мгновение трупное лицо расползлось массой извивающегося огня.

Лампа выпала из рук Макса и погасла, а в это время трепещущее и искрящееся пламя, слабо потрескивая в тишине, охватывало всё тело, и его открытые части сияли перед нами, в точности как фосфоресцирующая акула в полуночном море.

Глаза его были открыты и неподвижны, рот свернулся в трубочку, и каждая черта осталась прежней, как при жизни, в то время как всё

лицо, уже покрытое завитками мягкого синего пламени, несло печать мрачного неповиновения и вечного умирания. Прометей на скале, поражаемый огнём.

На одной руке красный рукав рубашки оказался завёрнут, приоткрыв имя человека, вытатуированное ярко-красной тушью возле впадины локтевого сустава, и как будто было что-то особенное в раскрашенной плоти, где каждая вибрирующая буква горела столь ярко, что можно было прочитать пылающее имя на мерцающем синем фоне.

«Где этот долбаный Мигель?» — уже сверху из люка нёсся на нас крик старшего помощника, который только что вышел на палубу и был полон решимости поднять каждого матроса своей вахты.

«Он ушёл в гавань, где никогда не снимаются с якоря, — прокашлял Джексон. — Спуститесь вниз, сэр, и взгляните».

Думая, что Джексон намеревался смело выступить против него, помощник а гневе спрыгнул вниз, но отскочил от горящего тела, как будто в него попала пуля. «Боже мой!» — вскричал он и застыл, сразу схватившись за лестницу.

«Хватай его, — сказал, наконец, Джексон Гренландцу, — он должен отправиться за борт.

Не трясись ты, как собака, хватай его, я сказал! Но постой». — И, завернув весь труп в одеяло, он ненамного вытянул его из койки.

Несколько минут спустя надувшийся мешок с телом упал среди фосфоресцирующего, искрящегося влагой ночного моря, оставляя сверкающий след по мере погружения.

Это событие настолько взволновало меня до глубины души из-за ужаса и отвращения, что разговоры на вахте в течение следующих четырёх часов на палубе не принесли мне спокойствия.

Но что более всего удивило меня и показалось самым невероятным, так это адское мнение Джексона, что человек уже был фактически мёртв, когда его принесли на борт судна, и что сознательно и просто ради получения месячного аванса, выданного на руки согласно выставленному счёту, агент отправил труп на борт «Горца», отговорившись тем, что матрос был живым и пьяным. И я слышал, как Джексон сказал, что знал о таких вещах, имевших место прежде. Но в то, что действительно труп вот так мог сгореть, я даже сейчас не могу поверить. Но матросы оказались знакомыми с подобными вещами или, по крайней мере, с уже случавшимися ис-

ториями.

Меня, который в этом возрасте даже ни разу не слышал о случае возгорания животных, почти пронзила неприятная мысль, что горящее тело было предупреждением о кальвинистском аде, и что земной конец Мигеля был преддверием его вечного порицания.

Немедленно после похорон на койку был установлен железный горшок с красными углями, и в нём были разожжены две пригоршни кофе. Затем койка была заколочена и никогда более не открывалась во время путешествия, а команде был дан строгий приказ не обнародовать случившееся, поскольку оно имело значение для эмигрантов, но для этого не нужны были никакие команды.

После происшедшего ни один матрос, кроме Джексона, не оставался в одиночестве ночью или в тёмное время суток на баке, и никто из матросов больше не смеялся и не пел или как-либо веселился, а придерживал все свои шутки для вахты на палубе. Все, кроме Джексона, который, пока остальные матросы сидели и тихо курили на своих вещах или на койках, смотрел на фатальное пятно и, кашляя и смеясь, взывал к мертвецу с невероятными издёвками и на-

смешками. Он холодил мою кровь и заставлял замирать мою душу.

Глава XLIX
Карло

Среди пассажиров-эмигрантов на борту нашего судна был итальянский мальчик с каштановыми волосами и румяными щеками, одетый в изношенную бархатную куртку оливкового цвета и изодранные брюки, закатанные до колен. Ему было не больше пятнадцати лет, но в задумчивой сумеречной полноте его утренних глаз, казалось, дремали события, настолько печальные и разные, что дни его, должно быть, казались ему годами. Он не выглядел как Гарри, хотя Гарри был крупнее и женственнее. Он сиял мягким и душевным светом, как новая звезда в тропическом небе, и говорил о смирении, глубокой беззаботности и стойком преодолении всех жизненных преград.

Голова у него была маленькая, увенчанная густыми локонами, наполовину нависающими над бровями и тонкими ушами, так или иначе напоминавшая классическую вазу, украшенную фалернской листвой.

Ниже колен его голые ноги были так красивы,

что смотрелись как руки леди, настолько они были мягкими и округлыми, по-детски лёгкими и изящными. Всё его тело было свободным, прекрасным и расслабленным; он был таким мальчиком, который мог созреть только в неаполитанском винограднике; из тех мальчиков, которых цыгане крадут в младенчестве; таким мальчиком, каких часто рисовал Мурильо, когда ходил среди бедных и изгоев, чтобы их образами очаровывать глаза знатных и богатых господ; из тех мальчиков, какими бывают только андалузские нищие, исполненные поэзии, льющейся из каждой прорехи в одежде.

Его имя было Карло, бедный и одинокий сын земли, у которого не было родителей, который был сметён океаном жизни, как брызги морской пены во время бури.

Несколько месяцев назад он сошёл с корабля из Мессины в Принцевом доке со своим ручным органом и ходил по улицам Ливерпуля, наигрывая солнечные мелодии южных ущелий среди северных туманов и дождей. И теперь, накопив достаточно средств, чтобы заплатить за пересечение Атлантики, он снова взошёл на борт судна, чтобы поискать своё счастье в Америке.

Сначала Гарри поговорил с мальчиком.

«Карло, — спросил Гарри, — ну и как ты преуспел в Англии?» Он раскинулся на старом развёрнутом парусе на баркасе, забросив назад свою испачканную кепку с кисточкой и поглаживая одну ногу, как ребёнок, подумал и ответил на своём жаргонном английском — это походило на смесь крепкого портвейна с каким-то восхитительным сиропом, сказав ему: «Ах! Я вполне преуспеваю! Ведь у меня есть мелодии для молодых и старых, весёлые и печальные. У меня есть марш для молодых военных, и любовные мелодии для леди, и торжественная музыка для стариков. Я никогда не привлекаю толпу, но я вижу по их лицам, какие мелодии им больше всего по нраву, я никогда не останавливаюсь перед домом, но я сужу по его портику о том, за какую именно мелодию мне скорее бросят немного серебра. И я всегда перехожу от печальной мелодии к весёлой и от весёлой к печальной, и богатым всегда больше нравится печаль, а бедным — веселье».

«Но разве ты иногда не встречаешься и не пересекаешься с раздражительными стариками, — сказал Гарри, — которым место, где ты играешь, нравится больше, чем твоя музыка?»

«Да, иногда, — сказал Карло, играя своей но-

гой, — иногда».

«И затем, зная ценность тишины для беспокойных людей, я предполагаю, что ты никогда не оставлял их менее, чем за шиллинг?»

«Нет, — продолжал мальчик, — я люблю мой орган, как себя самого, для меня он единственный друг, бедный орган! Он поёт мне, когда я грустен, и приветствует меня, и я никогда не играю перед домом, чтобы не получать нарочно плату за то, чтобы закончить, это не моё, не так ли, бедный орган?» — поглядев вниз через люк, где тот находился.

«Нет, я никогда этого не делал и никогда не буду делать, даже когда голодаю, ведь когда люди отгоняют меня, я не думаю, что мой орган виноват, а виноваты они сами, поскольку музыкальные каналы у таких людей сломаны и проржавели так, что музыку уже нельзя вдохнуть в их души».

«Но, возможно, Карло, что не такую музыку, как твою», — сказал Гарри со смехом.

«Ах! Тут ошибка. Хотя мой орган так же полон мелодий, как улей полон пчёл, всё же ни один орган не способен создать музыку в немузыкальной груди: не больше, чем могут мои родные ветры, когда они дуют на арфу без аккордов».

Следующий день был безмятежным и восхи-

тительным, и вечером, когда судно лишь слегка трепетало под воздействием нежного, но всё же устойчивого бриза, и бедные эмигранты, освобождённые от своих последних страданий, собрались на палубе, Карло внезапно поднялся со своего сидения, спустился вниз и при помощи эмигрантов вернулся со своим органом. Здесь музыка — священна, и музыкальные инструменты, пусть и скромные, будут любимы и уважаемы. Независимо от того, что сделала, или действительно делает, или может сделать музыка, она должна считаться священной, как золотая уздечка лошади персидского шаха и золотой молоток, которым прибивают его копыта. Музыкальные инструменты должны походить на серебряные щипцы, при помощи которых первосвященники ухаживают за иудейскими алтарями — чтобы никогда не трогать их светской рукой. Тот, кто повредит простейшую свирель Пана, подумав, что задевает изгородь у нищего, тот оскорбит самого бога мелодий.

И ни один из скромных музыкальных инструментов, ни дудочка, ни негритянская скрипка, не должен почитаться ниже, чем самый великий архитектурный орган, который катит гармонические волны на кафедральный неф собора. Ведь

даже на варгане можно играть так, что можно пробудить всех фей, которые живут внутри нас, и заставить их станцевать в наших душах, как на залитой лунным светом поляне с фиалками.

Но что же это за тонкая сила, содержащаяся в ничтожном куске стали, из которого можно сделать десятипенсовый гвоздь, и которая без удара входит в нашу сокровенную суть и показывает нам всё самое сокровенное?

Не из всеобщего лапидарного предопределения, а будучи в непростом расположении духа, великолепные греки сочли, что человеческая душа по существу своему должна быть гармонией. И если мы верим в теорию Парацельса и Кампанеллы, согласно которой внутри у каждого человека есть четыре души, то тогда мы можем считать эти окаймлённые серебряными оправами звуки теми частицами мелодии, которые иногда сидят и поют внутри нас, как будто наши души это баронские залы, а наша музыка создана старыми арфистами Уэльса.

Но посмотрите! Вот орган бедного Карло, и в то время как притихшая толпа окружает его, он стоит там, глядит мягко, но вопросительно, его правая рука теребит и дёргает кнопки из слоновой кости на одном конце его инструмента.

Узрите орган!

Конечно, если есть много скрытых достоинств в старых скрипках Кремоны и если их мелодии пропорциональны их старине, то какое же божественное наслаждение мы можем ожидать от этого почтенного, потемневшего старого органа, на котором разве что не играли похоронный марш в царстве Саула, когда самого царя Саула и хоронили.

Прекрасный старый орган, врезанный в фантастические старые башни, башенки и колокольни, его архитектура выглядит своеобразным готическим, монашеским орденом, спереди он похож на западный фронтон Йоркской церкви.

Что это за арки, ведущие в таинственные лабиринты! что это за оконные переплёты, которые, кажется, смотрят внутрь часовен со стреловидными божественными шпилями! что за аркбутаны, и фронтоны, и ниши со святыми! Но остановитесь! Это мавританское беззаконие, ведь здесь испокон веков находится сарацинская арка, та, которая, насколько мне известно, способна завести внутрь некоторых дворов Альгамбры.

Да, это так, и если теперь Карло поворачивает руку, я слышу журчание Львиного фонтана, поскольку он играет немного насыщенную смесь

итальянского духа и жидкого моря звуков, чьи брызги разбиваются о моё лицо.

Играй, играй, итальянский мальчик! Пусть и не по нотам, но ты поправишь их. Переведи на меня свой задумчивый, утренний взгляд, и пока я слушаю двойной орган — один твой, один мой, — позволь мне пристально посмотреть на несколько морских саженей в глубину твоих бездонных глаз — это так же здорово, как пристально смотреть вглубь великого Южного моря и видеть там великолепных сияющих дельфинов.

Играй, играй! Каждая нота движется по-военному, тут же — триумфальные штандарты, марширующие армии — всё великолепие звука. Мне кажется, что я — Ксеркс, ядро ржания всех персидских военных жеребцов. Словно позолоченные, сделанные из дамасской стали мухи, густым роем облепившие некую высокую ветвь, мои сатрапы кружатся вокруг меня.

Но уже идёт представление, и я млею, и тем временем Карло выявляет нужную кнопку из слоновой кости, и играет некая флейта, подобная сарабанде: мягкие, приятные, никнущие звуки, как серебряные берега пузырящихся ручьёв. И сразу же лязг, военный вой, как будто десять

тысяч медных труб, выкованных из шпор и эфесов, зовут Север, Юг и Восток мчаться на Запад!

Снова — что это, словно раздираемый вереск? Что за звуки гоблинов и ведьм из Макбета? Вальс души Бетховена! Перекличка эльфов и привидений! Идите сейчас, соедините руки, Медуза, Геката, ведьма из Эндора и все страшные демоны с горы Блоксберг.

Снова отходят кнопки из слоновой кости, и, долго оттягиваясь, золотые звуки слышатся как ода некой Клеопатре, медленно вырисовываются и торжественно расширяются безбрежным, красивым шаром, и передо мной проплывают неисчислимые королевы, глубоко спрятавшиеся за серебряной вуалью.

Всё, что Карло может делать, — это создавать и разрушать меня, выстраивать меня, разбирать меня по частям и присоединять ко мне конечность за конечностью. Он — архитектор звуковых зданий и песенных жилищ.

И всё это создаётся на этом старом органе! Поэтому почитайте все уличные органы: в приветствии моего итальянского мальчика больше мелодии, чем таинства в подразделениях парижских оркестров.

Но посмотрите! У Карло есть то, что услажда-

ет взор, а также ухо, и то же самое волшебное свойство есть во мне, что увеличивает моё великолепие, хотя каждая значительная фигура нуждается в восстановительной руке художника и, к сожалению, нуждается в чистке.

Его западный фронтон Йоркский церкви открывается и, как ворота на мильтоновские небеса, превращается в золотой разгул.

Что у нас здесь? Внутренний дворец Великого Могола? Колонны, позолоченные и собранные в таинственные группы, застывшие фонтаны, навесы и залы, и лорды и дамы в шелках и блёстках.

Орган играет величественный марш, и — presto![13] — широко открываются арки, и пара за парой в тёмно-красных тюрбанах с киверами из перьев проходит отряд военных, которые, звеня изогнутыми саблями, маршируют по залу, салютуют, идут дальше и исчезают.

Теперь — земля и высокие акробаты, чёрные, как уголь, нубийские рабы. Они сами бросаются на полюса, стоят на голове и исчезают внизу.

И вот — танец и маскарад фигур, выходящих враскачку из тёмных проёмов посреди рыцарей

---

13 Примечания: 13
Presto (*итал.*) — вскоре. — *Примеч. пер.*

и дам. Некий султан ведёт султаншу, некий император, королева, и украшенные драгоценными камнями эфесы облачённых в сталь рыцарей отражают взгляды, бросаемые кокетками-графинями.

И вот опускается занавес: и остаётся бедный старый орган, закопчённый, чёрный и хрупкий.

Теперь скажи мне, Карло, если на перекрёстках улиц за единственный пенс я могу вот так вот перенестись в райские мечты, то кто ещё столь же богат, как и я? Уж точно не тот, кто владеет миллионом.

И, Карло! И пусть не случится ничего с твоим голосом, который неизменно возносит тебя, моего итальянского мальчика, ничего, кроме хорошего, и будь проклят тот раб, что когда-нибудь унесёт твою удивительную коробочку с картинами и звуками подальше от хозяйской двери!

Глава L
Гарри Болтон в море

Пока ещё я ничего не рассказал о том, как мой друг Гарри жил на борту в качестве матроса.

Бедный Гарри! Чувство печали, что так и не утихло, даже сейчас проходит через меня, когда я думаю о тебе. В этом путешествии, в которое ты отправился, нет и части того пути к океанской могиле, в которой ты погребён вместе с твоими тайнами и к которой невозможно совершить траурное паломничество.

Но к чему такая мрачность при мысли о мёртвых? И почему мы недовольны? Это всё, что мы помним о них, как только отступает вся радость? Это потому, что мы полагаем, что они действительно мертвы? Они не посещают нас, когда уходят, их голоса больше не звенят в воздухе, лето может наступить для нас, но для них это зима, и даже нашими собственными конечностями мы не чувствуем тот сок, что каждую весну пробуждает зелень деревьев.

Но, Гарри! Ты продолжаешь жить снова и снова, как только твой лик возникает в моей памяти.

Я вижу тебя, просто и ощутимо, как в жизни, и могу сделать твоё существование очевидным для других. И если ты и тогда останешься мёртвым, то для кого всё это сказано?

Но Гарри! Ты смешался с тысячей странных форм, фантастических кентавров, наполовину реальных и человеческих, наполовину диких и гротескных. Божественные грёзы, к которым как к богам сходятся рощи нашей Фессалии, в объятиях диких дриадических воспоминаний порождают существ, удивляющих мир.

Но Гарри! Хотя теперь твой образ бродит в моих фессалийских рощах, он остался таким же, как и прежде, и среди толп метисов и кентавров ты смотришься помесью зебры и лося.

И действительно, в своём полосатом гернсейском платье, с тёмной глянцевой кожей и волосами, Гарри Болтон, смешавшись с командой «Горца», по виду мало чем отличался от мягкого, шелковистого четвероногого креола, который, преследуемый дикими бушменами, скачет по лесам Кафрарии.

Ну как же они охотились на тебя, Гарри, моя зебра! Эти океанские варвары, наши толстокожие, дикие матросы! Как же они преследовали тебя от бушприта до грот-мачты и выгоняли

из каждого твоего убежища!

Накануне нашего отплытия морякам стало известно, что молодые девушки, которых они ежедневно видели возле вывески «Клипера» на Юнион-стрит, не дали возможности вернуться на корабль одному из направлявшихся на родину членов команды. Соответственно, они высказали о нем множество критических мнений, но скоро пришли к заключению, что и Гарри не очень большое подспорье для их сил, ведь приход столь нежных рук говорит не больше, чем об американском центнере на фалах грот-марселя. Поэтому он не понравился им прежде, чем они с ним познакомились, и такая неприязнь, как все знают, является самой неисправимой и склонной к увеличению. Но даже матросы недалеко отстояли от святости, с которой почитают незнакомца, и какое-то время, воздерживаясь от грубости, они лишь продолжали относиться к моему другу прохладно и бессердечно.

Что касается Гарри, то поначалу окружающая новизна заполнила его ум, и мысль о том, что он направляется в далёкую землю, увлекла его, как и всех, оживляя чувство неопределённого ожидания. И хотя все его деньги снова закончились, кроме соверена или двух, всё же его это

мало беспокоило из-за упоительной новизны от пребывания в море.

Но я был удивлён, что тот, кто, конечно же, видел в жизни больше моего, проявлял невероятное невежество, абсолютно недопустимое для человека, оказавшегося в его ситуации. Возможно, что его дружеские отношения с высшим светом только снизили его способность понимания другого полюса. Вы не поверите, но этот юноша из Бьюри однажды вышел на палубу в парчовом халате, вышитых шлёпанцах и курительной кепке с кисточкой для того, чтобы отстоять свою утреннюю вахту.

Как только я увидел его в такой одежде, то подозрение, которое ранее приходило мне в голову, вернулось снова, и я почти поклялся себе в том, что, несмотря на его заявления, Гарри Болтон, скорее всего, прежде никогда не был в море, даже «морской свинкой» в Индиамене, из-за минимального знакомства с морской жизнью и матросами, что, как казалось, должно было отвратить его от этого запланированного безумия.

«Кто этот китайский мандарин? — прокричал старший помощник, который путешествовал в Кантон. — Гляди, мой славный друг, смочи сейчас же этот грот и мигом сверни его».

«Сэр? — сказал Гарри, отшатнувшись. — Разве это не утренняя вахта, и разве на мне не утренняя одежда?»

Но если по оценке моего рафинированного друга тут не было ничего более соответствующего, то для помощника это было самым чудовищным из всего неуместного, и потому вызывающие платье и кепка были сняты.

«Это совсем плохо! — воскликнул Гарри. — Я просто хотел провести время в этом платье до приёма кофе и предполагаю, что ваш помощник-готтентот не разрешает джентльмену курить его турецкую трубку по утрам, но, словно острый шип, я буду носить свои панталоны с лямками, чтоб досадить ему!»

О! Это была скала, о которую ты разбился, бедный Гарри! Расстроившись из-за хода поисков утончённой изысканности среди помощников капитана и команды, Гарри из-за баловства и досады преисполнился решимости возвыситься, и штормовое негодование, которое он поднял, сокрушило его самого.

У матросов появилась особая ненависть к его большому рундуку из красного дерева, который он заказал на мебельном складе. Он был украшен медными винтовыми головками и другими

устройствами и был наполнен тем самым содержимым платяного шкафа, в котором Гарри веселился во время лондонского сезона, различные жилеты и панталоны он продал ещё в Ливерпуле — тогда от недостатка денег его обширные запасы существенно уменьшились.

Было любопытно слушать разные намёки и мнения, бросаемые матросами после этой случайно увиденной коллекции шёлка, бархата, тонкого сукна и атласа. Я не знаю точно, что они подумали про Гарри, но они, казалось, единодушно поверили в то, что, оставив свою страну, Гарри оставил большие игорные залы. Джексон даже попросил его приподнять низкую кромку своих штанов, дабы проверить цвет его голеней. Весьма примечательно, что каждый раз, когда утончённому юноше с непринуждёнными манерами и вежливым обращением случается оказаться одному в команде судна, то матросы почти неизменно приписывают его морской поход неопровержимой необходимости оставления земной тверди ради того, чтобы увильнуть от констеблей.

«Эти благородные белоручки, должно быть, ещё и нечисты на руку — они говорят сами за себя, иначе после они не сунули бы руки в нашу

смолу. Что же ещё может вывести их в море?» Убедительно и окончательно. Поэтому с самого начала Гарри очень подавляли эти своеобразные двусмысленности. Иногда, однако, их только развлекала его внешность, особенно однажды вечером, когда вместо своей промокшей короткой куртки он был вынужден надеть один из фраков. Ему велели принести два навершия к бизани на корму, при этом назвав его побитым щелкопёром, лакеем беглого португальского парикмахера и неким табачным мальчиком для старых дев. Что касается капитана, то для Гарри стало ясно, что на борту не было никакого благородного и обходительного капитана Рига. К его немалому удивлению — но, как я и предсказывал, — капитан Риг теперь никогда не замечал его, а препоручил знакомство с его недолгой карьерой новичка исключительно своим офицерам и команде.

Но должно было случиться нечто худшее. В течение первых нескольких дней я заметил, что каждый раз, когда появлялась какая-либо потребность лезть наверх, Гарри неутомимо сматывал распущенную по палубе оснастку, игнорируя тот факт, что его товарищи по плаванию скакали по парусам. И когда вахта всеми силами брала

на гитовы брамсель, то есть натягивала надлежащие верёвки с палубы, которыми обёртывали парус на верхних реях, Гарри всегда удавалось оказаться около кофель-нагелей, да так, что когда для двоих из нас приходило время вскакивать на оснастку, он был премного обеспокоен быстрой вязкой гитовых и бывал так поглощён этим занятием и так тщательно затягивал их вокруг стержня, что это выглядело для него совершенно несвойственно, а после выполнения данной работы поднимался на фальшборт прежде, чем его товарищи оказывались там. Однако после крепления гитовых, не имея возможности получить пока ещё незакреплённые снасти, Гарри всегда совершал такой манёвр: подскакивал в великой спешке к парусам, но, внезапно подняв глаза и увидев других матросов, оказавшихся впереди, отступал, очевидно, совсем огорчаясь от того, что он оказался в стороне от возможности демонстрации своей деятельности.

Это меня удивило, и я поговорил со своим другом, тогда был признан тревожный факт, и он осудил себя самого, чего никогда не случилось бы: он не мог лезть наверх — его нервы не выдерживали.

«Тогда Гарри, — сказал я, — лучше бы ты нико-

гда не рождался. Ты знаешь, что это такое, если ты сюда пришёл? Разве ты не говорил мне, что, несомненно, хорошо покажешь себя в работе с оснасткой? Разве ты не говорил, что ты совершил два путешествия в Бомбей? Гарри, плыть для тебя было безумием. Но ты только вообрази, попробуй ещё раз, и даю слово, что ты очень скоро будешь чувствовать себя среди штанг так же хорошо, как дома или как птица на дереве».

Но он не мог заставить себя попробовать снова: факт состоял в том, что его нервы не могли выдержать этого, в ходе своей изысканной карьеры он выпил слишком много крепкого кофе мокко и зелёного чая и выкуривал за раз слишком много «гаван».

Наконец, как я неоднократно предсказывал, однажды утром помощник капитана отделил его от команды и приказал подняться к главному грузу и разобрать короткие сигнальные фалы.

«Сэр?» — сказал ошеломлённый Гарри.

«Пошёл вперёд!» — сказал помощник, хватая конец кнута.

«Не бейте меня!» — закричал Гарри, вытягиваясь перед ним.

«Получай, и вперёд», — прокричал помощник, разом прикладывая кнут вдоль его спины,

но слегка.

«О Небо!» — вскричал Гарри, вздрагивая — не от удара, а от оскорбления, и затем отстранился от помощника, который, протягивая свою длинную руку, вяло удерживал его в нише и смеялся над ним до тех пор, пока я не испугался, что он свернёт парню голову, и потому был вынужден ради его безопасности оттолкнуть офицера своей мальчишеской массой.

«Капитан Риг!» — закричал Гарри.

«Не зови его, — сказал помощник, — он спит и не проснётся, пока мы снова не разбудим его американскими голосами. Иди!» — добавил он, размахивая концом верёвки.

Гарри огляделся посреди усмехающихся матросов с ужасным негодованием и мукой в глазах и затем, остановив свой взгляд на мне и не увидев там не только никакой надежды, но даже капли неповиновения в качестве своего единственного ресурса, связал узел на оснастке и мигом оказался на верху грот-мачты. Я решил, что ещё несколько шагов уже не приведут его к колесу и немного испугался, что в своём отчаянии он может потом выскочить за борт, я слышал о безумных новичках, проделавших такое в море и навсегда пропавших. Но нет, он резко остано-

вился и посмотрел с вершины вниз. Фатальный взгляд! Дрожали все его жилы, и я видел, как он раскачивался и сжимал паруса, пока помощник не крикнул ему, чтобы не выжимал смолу из верёвок. «Идите наверх, сэр». Но Гарри ничего не ответил.

«Эй, Макс, — крикнул помощник капитана голландскому матросу, — давай за ним и помоги ему, ты понял?»

Макс поднялся по оснастке, перебирая руками, и нанёс своей рыжей головой удар по основанию спины Гарри. Нужда заставила, вот дьявол и пришёл, и всё выше и выше, вместе с Максом, ударяющим его при каждом шаге, мой неудачливый друг пошёл наверх. Наконец он достиг бом-брамрея и тонких сигнальных фалов — едва ли более толстых, чем свитая бечёвка, — летевших по ветру. «Разбери снасти!» — крикнул помощник.

Я видел протянутую руку Гарри — то, что его ноги тряслись в оснастке, было видно даже нам, стоящим внизу на палубе, и наконец — слава Богу! — дело было сделано.

Он спустился бледный, как смерть, с налитыми кровью глазами, дрожа всеми конечностями. С того момента он никогда не вступал в спор, никогда не поднимался выше фальшборта

и до конца путешествия, по крайней мере, стал выглядеть иначе.

Вскоре он подошёл к помощнику капитана — так как он не мог пообщаться с капитаном — и заклинал его походатайствовать перед Ригом, чтобы его имя было исключено из судовой роли, чтобы он мог совершить путешествие как пассажир третьего класса, за привилегию чего он будет готов заплатить сверх обычной платы за проезд, как только сможет избавиться от некоторых своих вещей в Нью-Йорке. Но помощник капитана грубо отказал ему и весьма поразился его наглости. Оказавшись матросом на борту корабля, ты всегда матрос в этом путешествии, так принято, поскольку в пределах столь краткого периода никакой офицер не может перенести такого обстоятельства, как равенство с человеком, которому он отдавал приказы, будучи его начальником.

Гарри тогда серьёзно сказал помощнику капитана, что он мог бы сделать все, что ему захочется, но снова идти наверх он не может и не будет. И ещё он сделает всё, что угодно, кроме этого.

Это происшествие заклеймило судьбу Гарри на борту «Горца», команда сочла, что теперь вполне честно отпускать в его адрес насмешки

и колкости, и действительно превратила его жизнь в жизнь отверженного.

Немногие из сухопутных жителей смогут представить воздействие угнетения и самоунижения, самостоятельно не полебезив с первого же момента перед неграмотными морскими тиранами и не имея возможности показать иные свои способности, но вы не можете не знать всего необходимого, связанного с морской жизнью, которую вы ведёте, и обязанностей, выполнять которые вы будете призваны, когда выйдете в море. В такой атмосфере и при таких обстоятельствах Исаак Ньютон и лорд Бэкон могли бы предстать морскими клоунами и деревенщиной, и Наполеон Бонапарт мог быть отшлёпан и пинаем без раскаяния. Это не раз оказывалось правдой, и Гарри, бедный Гарри, не стал исключением. И при обстоятельствах, которые освободили меня от преодоления самого горького из этих зол, я лишь больше сопереживал тому, кто вследствие странной постоянной нервозности, прежде ему даже незнакомой, стал подобен зайцу, преследуемому беспощадной командой.

Но как случилось, что Гарри Болтон, который досаждал своими проявлениями изнеженности, показал в нашей лондонской поездке столь несо-

мненные вспышки духа и неукротимый нрав, как он сам мог теперь дойти до почти пассивного восприятия оскорблений и презрения? Возможно, его дух с течением времени был сломлен. Но я не берусь это объяснить, мы — любопытные существа, как всем известно, и у всех людей есть свои жизненные зигзаги, идущие вразрез с общим направлением их путей и настолько внешне противоречащие самим себе, что только тот, кто создал нас, способен разъяснить их.

Глава LI
Эмигранты

После первой непогоды, заставшей нас в море, прошли периоды встречного и попутного ветра, главным образом первого, однако внимание к встречному ветру осталось в прошлом, когда однажды после трёх дней туманов и дождей утром радостно взошло солнце, и нам открылся Чистый Мыс. Слава Богу, мы уже были вне непогоды, выразительно прозванной «Погода канала», и в последний раз должны были ясно увидеть восточное полушарие, а всё остальное было широким океаном.

«Земля, хо!» — раздался крик, как только с северной стороны вырос тёмно-фиолетовый мыс. На этот крик прибежали ирландские эмигранты, срочно открыв люк и решив, что сама Америка уже под боком.

«Где она? — кричал один из них, даже взбежав на бушприт. — Это она?»

«Эй, а не очень ли она напоминает старую Ирландию, разве нет?» — сказал Джексон.

«Совсем нет, сладкий мой, и сколько времени

пройдёт, прежде чем мы доберёмся туда? Сегодня вечером?»

Ничто не могло сравниться с разочарованием и горечью эмигрантов, когда им, наконец, сообщили, что земля на севере оказалась их собственным родным островом, который после их отъезда в последние три или четыре недели назад, предшествующих отправлению корабля из Ливерпуля, снова находился поблизости, и случилось это после столь многодневного недавнего путешествия из Мерси, а «Горец» всего лишь подарил им вид на родной дом, откуда они и начали свой путь. Они были самыми простыми людьми, которых я когда-либо видел. Они, казалось, не имели соответствующего представления о расстояниях, и им Америка, должно быть, казалась расположенной на реке. Каждое утро некоторые из них выходили на палубу, чтобы увидеть, насколько мы приблизились, и один старик стоял в течение многих часов подряд, глядя прямо с борта, как будто в любой момент он мог увидеть Нью-Йорк, в то время как мы, возможно, ещё были на удалении в две тысячи миль и шли, кроме того, против встречного ветра.

Единственное, что иногда отвлекало этого бедного старика от его серьёзного поиска земли,

было случайное появление бурых дельфинов возле борта, тогда он выкрикивал во весь голос: «Смотрите, смотрите, вы, дьяволы! Посмотрите на великих морских свиней!»

Наконец эмигранты начали думать, что судно играло с ними в обманку, и оно направлялось в Ост-Индию или в некую другую дальнюю страну. И однажды ночью Джексон пустил слух, разошедшийся среди них, что Риг поставил целью отдать их варварам и продать всех в качестве рабов, но хотя некоторые старухи почти поверили ему и среди детей последовал большой плач, всё же мужчины лучше понимали, можно ли верить такому смешному рассказу.

Из всех эмигрантов мой итальянский мальчик Карло казался наиболее спокойным. Он лежал весь день на баркасе в мечтательном настроении, загорая и смотря на море. Ночью он мог достать орган и играть в течение нескольких часов к восторгу поддерживавших его путешественников, которые благословляли его и его орган снова и снова и платили ему за его музыку, выставляя еду. Иногда, когда ночь была особенно лунная, к Карло приходил стюард с просьбой из кают отправиться на квартердек и развлечь господ и леди.

На борту был скрипач, о котором я ещё расскажу, и иногда по настойчивым просьбам каютных обитателей он был вынужден объединять свою музыку с музыкой Карло, но это было только дважды или трижды, поскольку этот скрипач считал себя стоящим значительно выше других пассажиров третьего класса и не очень представлял себе, как играть для незнакомцев. И он просто стирал свои локти, пока люди, ему абсолютно неизвестные и к чьему благосостоянию он не испытывал ни малейшего интереса, не приходили в хорошее настроение. И это потому, что по большей части господа и леди больше желали танцевать под его музыку, чем под орган моего маленького итальянца.

Это был самый любезный орган в мире, поскольку он мог сыграть любую мелодию, которая требовалась, Карло нажимал и вытягивал кнопки из слоновой кости с одной стороны и таким способом получал желаемые звуки.

Правда, некоторые строгие каютные джентльмены оказывались недовольны тем, что те или иные звуки неточно соответствуют нотам Генделя или Моцарта, и некоторые леди, чей разговор я подслушал, говорили о том, как они бросали свои цветочные букетики Марии Малибран в Ко-

вент-Гардене и уверяли внимательного капитана Рига, что орган Карло совсем ни на что не годен и вызывает ужасный шум.

«Да, леди, — заявил капитан с поклоном. — Я, с вашего позволения, полагаю, что орган Карло, должно быть, потерял свою мать, поскольку он визжит как поросёнок, бегущий за своей свиноматкой».

Гарри сердила такая критика, и всё же все эти люди из кают были готовы танцевать под музыку бедного Карло.

«Карло, — сказал я однажды ночью, когда он шёл с квартердека после одной из этих морских кадрилей, что имела место во время моей вахты на палубе. — Карло, — сказал я, — что господа и леди дают тебе за игру?»

«Гляди!» — И он показал мне три медных британских медали и бляшки — три английских пенса.

Обычно каждый раз, когда мы обнаруживаем в себе неприязнь к какому-либо человеку, то должны иногда с небольшим подозрением отнестись к самим себе. Возможно, поэтому в естественной антипатии, с которой почти все моряки и пассажиры третьего класса относились к каютным обитателям, присутствовала,

по крайней мере, одна причина моего не очень доброжелательного к ним отношения.

Да, так, возможно, и было, но тем не менее на этот раз я позволю природе пойти собственным путём и резко объявить здесь, что, как ни крути, но моё заветное чувство к этим каютным пассажирам было сродни презрению. Не потому, что они оказались каютными пассажирами — отнюдь, — а только потому что они в большинстве своём оказались самыми мелочными, скупыми, злыми мужчинами и женщинами, что когда-либо пересекали Атлантику.

Один из них был стариком в грубом пальто с широкими полями, его нос был похож на бутылку портвейна, он мог стоять целый час на своих широко расставленных ногах, засунув руки в глубокие карманы своих бриджей, как будто у него там было два монетных двора, печатающих гинеи. Внешне это был отвратительный старик, холодный, жирный, с желеобразными глазами, и жадность, бессердечность и чувственность отпечатались на всём его облике. Казалось, что он всё время производил некие вычисления в уме, решая задачи с долларами и центами: его рот, сморщившийся и застывший по углам, был похож на кошелёк. Если ему будет суждено уме-

реть, то его череп стоит превратить в копилку с прорезью между зубов.

Другой обитатель каюты был лондонец средних лет в смешном коротком пальто-кокни с парой полукруглых шлейфов: в нём он выглядел так, как будто приседал из-за качки. Он носил пятнистую косынку, короткий, небольшой пламенно-красный жилет и полосатые штаны, очень тонкие, как ноги телёнка, но очень объёмные в талии. В нём не было ничего выдающегося, кроме его платья, поскольку у него было такое бессмысленное лицо, что я не могу его припомнить, хотя у меня осталось неопределённое впечатление, что оно выглядело в то время так, как будто его владелец сосал свиноматку.

Среди остальных были также два или три щегольски одетых молодых приятеля, они всё время играли в карты на корме с подветренной стороны бизань-мачты, или курили сигары на гакаборте, или сидели, с любопытством разглядывая женщин-эмигранток через театральные бинокли, высунувшись из окна верхней каюты. Эти щёголи часто вызывали стюарда для снабжения их бренди и водой и говорили, что продолжат путь в Вашингтон, чтобы увидеть Ниагарский водопад.

Был также старый джентльмен, который принёс с собой три или четыре тяжёлых пачки лондонской «Таймс» и другие бумаги, и он потратил всё своё время на их чтение, происходившее на теневой стороне палубы, что он делал, скрестив ноги, а не скрестив ноги, он вообще никогда и ничего не читал. Это было обязательно для надлежащего понимания того, что он изучал. Он ужасно ворчал, когда его тревожили матросы, которые время от времени были обязаны подвинуть его, чтобы добраться до снастей.

Что же касается леди, то у меня нет ничего, что можно было бы сказать о них, поскольку леди как религия: если вы не можете сказать ничего хорошего о ней, то ничего и не говорите.

Глава LII
Кухня эмигрантов

Я уже кое-что упомянул о «кухне», или большой печи, для пассажиров третьего класса, которая была установлена над главными люками.

Когда мы плыли на восток, обитателей в третьем классе было так мало, что у них для занятий своей кулинарией в распоряжении оказалось просторное помещение. Но теперь ситуация изменилась, поскольку пассажиров здесь стало четыреста или пятьсот, и всю их стряпню нужно было делать на одном очаге, что и говорить, симпатичном и большом, но тем не менее явно недостаточном, учитывая размеры того, для чего он бы приспособлен, и тот факт, что огонь можно было разжигать только в определённые часы.

Эмигранты на таких судах находятся на своего рода военном положении, а потому все их дела регулируются деспотическими постановлениями капитана. И хотя очевидно, что до некоторой степени так поступать необходимо и даже обязательно, однако стоит учесть, что в море ни одно обращение не уходит выше капитана, и он

слишком часто злоупотребляет своей властью. И люди в конце путешествия могут обратиться в суд с какой-либо жалобой с тем же успехом, с каким можно найти правду, обратившись к русскому царю.

При разведении огня эмигранты сменяются, поскольку это часто очень неприятная работа вследствие качки судна и падающих на открытую «плиту» брызг. Каждый раз, когда у меня была утренняя вахта с четырёх до восьми часов, я, несомненно, видел, как некий бедолага выползал снизу на рассвете и потом бродил по палубе в поисках кусочков верёвочной пряжи или смолистого холста как материала для разведения огня. И как только огонь достаточно разгорался, так поднимались старухи, мужчины и дети, где каждый вооружался железным горшком или кастрюлей, а затем неизменно следовал большой шум относительно того, чья пришла очередь готовить, причём самые склочные из них иногда устраивали потасовку и опрокидывали друг у друга горшки и кастрюли.

Однажды английский подросток принёс маленький кофейник, который он втиснул промеж двух кастрюль. Сделав это, он спустился вниз. Вскоре после этого появился здоровый сильный

ирландец в бриджах по колено, обнажавших икры и делавших его оригиналом. Увидев ряд посудин в огне, он спросил, чей это кофейник тут стоит; получив ответ, он удалил его и поставил свой собственный на освободившееся место, сказав что-то о принадлежащем ему отдельном месте, с чем и отклонялся.

Но намного позже мальчик вернулся и, увидев свой сосуд удалённым, сильно выругался и заменил его, что ирландец осознал не сразу, а затем набросился на него с удвоенными силами. Мальчик схватил варящийся кофейник и выплеснул его содержимое на голые ноги ирландца, который невольно начал выплясывать хорнпайп и фанданго как прелюдию к преследованию мальчика, к этому моменту, однако, отступившему из лагеря.

Подобных сцен каждый день происходило много, и при этом не проходило ни одного дня, когда множество бедных людей вообще не удостаивалось шанса приготовить себе какую-либо еду.

Это было весьма прискорбно, но более чем отвратительно было смотреть на этих бедных эмигрантов, пререкающихся и дерущихся друг с другом из-за отсутствия достаточного количества обычных помещений. Но, таким образом, эти

существа, испытывавшие трудности, которым их подвергали, вместо того чтобы объединиться, стремились только озлобиться и восстать друг против друга, от чего они сами оказывались самым крепким звеном в той цепи, на которой их держали хозяева положения.

Мне было весьма неприятно каждый вечер во втором часу собачьей вахты в команде старшего помощника приходить к огню и, уведомив собравшуюся толпу, что пришло время его гасить, заливать пламя ведром солёной воды как раз тогда, когда многие из тех, кто так долго ждал момента для стряпни, должны были теперь уйти не солоно хлебавши.

Основной едой ирландских эмигрантов были овсянка и вода, проваренные так, что полученное иногда называют месивом, голландцам она известна как супаан, матросам — бурго, жителям Новой Англии быстрым пудингом; в этом быстром пудинге, между прочим, поэт Барлоу нашёл материал для одного из видов своих эпопей.

Некоторым пассажирам третьего класса, однако, предоставляли галеты и другую постоянную еду, которая была съедобна круглый год, будь она холодная или горячая.

Кроме того, некоторые пассажиры, как ока-

залось, в этом мире обустроились лучше, чем остальные: они были хорошо снабжены ветчинами, сыром, болонскими колбасами, голландскими сельдями, потрошёной сельдью-сероспинкой и другими деликатесами, приспособленными к непредвиденным обстоятельствам при путешествии в третьем классе.

На борту был маленький старый англичанин, который на берегу был бакалейщиком, чьи сальные чемоданы казались всем кладовыми, и он постоянно пользовался шкафом, перекладывая содержимое внутри своего собственного отделения. У него была маленькая светлая голова, как я всегда считал. Его особенно тешили длинные связки колбас, которые он иногда вынимал и играл с ними, обёртывая их вокруг себя, как это делает индийский жонглёр с заколдованными змеями. Вот так развлекаясь и поедая свой сыр и подкрепляя себя из неистощимой портерной бутылки, куря свою трубку и размышляя, этот выживший из ума бакалейщик бежал трусцой в ногу со временем в удовлетворительном лёгком темпе.

Но, безусловно, самым значительным человеком в третьем классе, что касается по крайней мере имущественного уровня, был худой, ма-

ленький бледнолицый английский портной, который решил, что заказал для себя и жены путешествие в некоем воображаемом отделе судна, называемом каютой второго класса, которая была устроена для того, чтобы объединить удобства каюты первого класса с дешевизной третьего. Но оказалось, что этот второй класс был дальним отсеком самого третьего класса, не имея никакой особенности, кроме названия. Таким образом, к своей совсем немалой досаде он оказался рядом с основной людской массой, и его жалобы капитану остались незамеченными.

Этот незадачливый портной всё путешествие мучился со своей женой, которая была молодой и красивой, просто-таки красавицей, в какую влюбляются фермерские мальчишки, у неё были сверкающие глаза и красные щёки, и выглядела она пухленькой и счастливой.

Она была ужасной кокеткой и не отворачивалась, как ей следовало, от щегольских взглядов каютных самцов, которые глазели на неё через свои театральные бинокли. Это приводило портного в ярость: он увещевал свою жену, и ругал её, и, как супруг, требовал от неё немедленно убраться с глаз долой. Но леди не терпела тирании — так она ему и заявляла. Тем временем

самцы продолжали разглядывать её через свои обрамлённые линзы, весьма наслаждаясь такой забавой. Последним порывом бедного портного было желание встать и рвануться к негодяям со сжатыми кулаками, но как только он доходил до грот-мачты, помощник капитана обращался к нему из-за верёвки, которая разделяла их, и с сожалением сообщал о том, что он не может пройти далее. Этот несчастный портной был ещё и скрипачом, и когда оказывался сильно затравленным, то в отчаянии мчался за своим инструментом и, пытаясь избавиться от своего гнева, играл самую дикую, безжалостную музыку, которую только мог сочинить.

Пока он этим занимался, бывало, что его жена обращалась к нему: «Билли, дорогой мой», — и клала свою мягкую руку на его плечо.

Но Билли, он только играл ещё что-то более мрачное.

«Билли, любовь моя!»

Смычок ходил быстрее и быстрее.

«Ну-ка, Билли, мой дорогой маленький друг, позволь нам побыть вместе». — И она склонялась к нему на колени, очарованно глядя на него своими бездонными глазами.

Скрипка и смычок откладывались, и пара сиде-

ла вместе в течение часа или двух, весьма мило и нежно.

Но на следующий день появлялись основания полагать, что старая вражда возобновится, что, несомненно, имело место при первом же блеске театрального бинокля в окне каюты.

Глава LIII
Горации и Куриации

Немного изменив 24-й раздел первой книги Ливия, я мог бы начать эту главу следующими словами: «Так получилось, что в каждой семье было по три брата-близнеца, между которыми было много общего, что касается возраста или силы».

Среди пассажиров третьего класса на «Горце» оказались две женщины из Арма в Ирландии, вдовы и сёстры, у каждой из которых было по три близнеца, родившихся, как они говорили, в один и тот же день.

Им было по десять лет. Каждое трио из этих шести кузенов выглядели так же, как и взаимно отражённые фигурки в калейдоскопе, а потому казалось, что частицы, наблюдаемые в калейдоскопе все вместе, а также по отдельности, формировали фигуру целиком. Но помимо того, что все шесть мальчиков имели сильное братское сходство друг с другом, всё же О'Риганы были некой противоположностью О'Брайенам, робкому, тихому трио, которое вращалось вокруг

талии их матери и редко покидало материнскую орбиту, тогда как О'Риганы были «мальчишеским бульоном», исполненным проказ, забав и буйного веселья, подобного хвостам комет.

Каждый день спозаранок госпожа О'Риган появлялась из третьего класса, ведя своих энергичных близнецов перед собою, словно буйное стадо молодняка, и проделывала свой путь к просторной ванне на палубе, наполненной солёной водой, выкачанной из моря с целью помывки судна. Три всплеска, и три этих мальчика вместе начинали нырять в морской воде, мать занималась их помывкой, хотя это был не совсем целенаправленный вид работы: протирать здесь и скрести там, насколько удавалось взять на прицел случайную конечность.

«Пэт, ты, дьявол, стой здесь, пока я не помою тебя. Ах! Но это ты, Тедди, ты — мошенник. Арра! Теперь, Майк, ты, мальчик, не путай свои ноги с ногами Пэта».

Маленькие мошенники, радостно прыгая и карабкаясь, весьма наслаждались этой возней, пока неутомимая, но весёлая матрона управлялась с ними со всеми, как будто это был вопрос совести.

Между тем г-жа О'Брайен вставала на боц-

манский рундук, или верёвочную бухту, или на смоляную бочку на носу корабля — с большой старой Библией размером в четверть листа, почерневшей от времени, укладывала её между фигурными шпангоутами у форштевня и вычитывала из неё вслух трём своим кротким маленьким ягнятам.

Матросам доставляло большое удовольствие представление в палубной ванне в исполнении О'Риганов, и они всегда восхищались ими за лукавство и непоседливость, но отношение к спокойным О'Брайенам было иное. Особенно им не нравилась сама серьёзная матрона, облачённая в старое чёрное платье, и особенно сильно их злила её книга. Ей и заклинаниям, бормотавшимися над ней, они приписывали появление встречных ветров, которые преследовали нас, и Блант, наш ирландский кокни, действительно верил в то, что г-жа О'Брайен намеренно приходила на палубу каждое утро, чтобы навлечь встречный ветер на грядущие двадцать четыре часа.

Наконец однажды утром после её выступления голландец Макс обратился к ней, сказав, что ему будет жаль, но если она со своей книгой снова окажется между фигурными шпангоутами у фор-

штевня, то команда бросит её за борт.

Надо сказать, что, несмотря на разность в характерах, между двумя семьями близнецов существовала большая тёплая привязанность, которая в этом случае проявилась любопытным образом.

Несмотря на упрёк и угрозу матроса вдова тихо заняла своё прежнее место и, собрав вокруг себя детей, начала читать своим низким ворчливым голосом, стоя абсолютно прямо по носу корабля, и немного склонившись, как будто обращаясь к многочисленным волнам с плавучей кафедры проповедника. В это время Макс, шедший позади, выхватил из её рук книгу и бросил за борт. Вдова издала вопль, и её мальчики разразились плачем. Их кузены, в тот момент нырявшие рядом в воде, сразу установили причину крика и, выскочив из ванны, как стая собак, схватили Макса за ноги, вцепившись и сразив его прежде, чем маленькие робкие О'Брайены всё осознали, а потом также бросились на врага, и поражённый моряк обнаружил себя стреноженным, как бык, всеми шестью мальчишками.

И тут я с радостью фиксирую на бумаге один хороший поступок со стороны помощника капитана. Он видел драку и её начало и, стремительно

двинувшись вперёд, сказал Максу, что тот навредил мальчикам на свой собственный страх и риск, одновременно подбодрив их, как будто обрадовавшись устройству такой трёпки своему товарищу. Наконец Макс, сильно поцарапанный, побитый, зажатый и обездвиженный, хотя и без серьёзных ушибов, выкрикнул: «Довольно!» — и нападавшим было приказано оставить его, но, хотя три О'Брайена и повиновались, всё же три О'Ригана держали его, как пиявки, и уволакивали прочь.

«Если ты, мошенник, теперь, — крикнул помощник, — бросишь за борт другую Библию, то я пошлю тебя вслед на ней без привязи».

Это событие принесло близнецам дополнительную известность по всему судну. Тем же утром все шестеро были приглашены на квартердек и рассмотрены каютными пассажирками, проявившими особый интерес к ним, поскольку всегда, когда дело касается близнецов, оказавшихся в общественных парках и садах, леди останавливаются, чтобы посмотреть на них и опросить их матрон.

«И вы все родились в одно время?» — спросила старая леди, позволив своим глазам удивлённо пробежаться вдоль ровного строя белых голов.

«Действительно, так оно и есть, — сказал Тедди, — разве это не так, мама?»

И когда много вопросов было задано и много ответов было получено, тогда коллекция получила награду от великодушных каютных пассажиров, которые в результате отправили всех шестерых мальчиков в мир, снабдив каждого пенсом.

Я никогда не мог смотреть на этих славных малышей без неизъяснимого чувства, проходящего через меня, и хотя в них не было ничего столь уж примечательного или беспрецедентного, кроме исключительного совпадения, что две сестры одновременно преподнесли миру такой щедрый подарок, — всё же простой факт существования близнецов всегда казался любопытным; фактически, для меня по крайней мере, все близнецы — чудо; и тем не менее я едва понимаю, почему это так, ведь все мы нашими собственными личностями предоставляем многочисленные примеры того же самого явления. Разве наши большие пальцы ног не близнецы? Они не настоящие Кастор и Поллукс? И все наши пальцы? И разве наши руки, ноги, стопы, глаза, уши — все они не близнецы, родившиеся одновременно, и не столь же одинаковы, насколько это возможно?

Может быть, греческие грамматики и изобрели свои двойные числа исключительно для удобства близнецов?

Глава LIV
О чудесном старом табачном прутике и свином хвостике

Я уже упоминал, с какой выгодой мои товарищи по плаванию избавились от своего табака в Ливерпуле, но стоит показать, как низменные коммерческие интересы сократили его количество до прискорбного минимума и, наконец, вышли им боком.

Вследствие своей непредусмотрительности и обольстившись высокими ценами за табак в Англии, они распродали там большую часть имеющегося табака, даже побуждая помощника выдать им ту часть, которую он запер под замок по команде таможенников. Поэтому приблизительно через две недели плавания в направлении родины для членов команды стало мрачной очевидностью, что табак оказался в большом почёте. Во время собачьей вахты в море одним из любимых занятий матросов, находящихся внизу, были карты, и хотя матросы не понимают виста, креббиджа и подобных им игр, они все же знатоки в том, что называется «Высокий малень-

кий Джек», или, на морской манер, «Джекиш». Обычно их ставки — множество брикетов табака, которые, как стопки гиней, укладываются на их багаж, пока они играют. Затем, как следствие, появился злой азарт, с которым теперь команда «Горца» перетасовывала и раскладывала колоду, пока обратно пропорционально возраставшему интересу обязательные доли не становились всё меньше и меньше и наконец не превратились в «жвачку».

В конце концов их так поглотило это занятие, что часть из них после тяжёлой работы в ночных вахтах на палубе обделяли сами себя отдыхом внизу, лишь бы поучаствовать в карточной игре. И потому было очень тяжело уснуть в присутствии игроков, особенно если они оказываются матросами, разговоры которых в любом случае могут быть громкими, — эти ребята часто изгоняются с бака теми, кто желает покоя. Им приходится воссоздавать на палубе карточный стол, и неизменно в таких случаях случаются большие споры, множество неджентльменских обвинений в грубости и обмане и время от времени обмен несколькими резкими ударами.

Но это было неудивительно, учитывая, что видимость очень мала в отсутствии света, за ис-

ключением того, что исходит с полуночного неба, а карты из-за длительного износа и грубого использования оказывались чрезвычайно порванными и покрытыми дёгтем, да так, что несколько членов четырёх мастей могли бы обособиться от них и сформировать пятую масть под названием «смоляные пятна».

Каждый день дефицит табака становился всё более и более острым, пока, наконец, не появилась необходимость прибегнуть к самой строгой экономии в его использовании. Капельку, составлявшую обычную «жвачку», пытались растягивать на целый день и ночью с разрешения повара эту же самую «жвачку» помещали в духовую печь и там высушивали, чтобы затем набить ею трубку.

В конце концов пайка исчезала, и команда, лишённая утешения и стимулов, на которые так полагаются матросы, пока находятся в море, стала равнодушной, капризной и сильно измученной от качки. Это как если курильщиков опиума внезапно лишить их зелья. Они сидели на своих койках, несчастные и мрачные, с непреходящей печалью, глядя на баковую лампу, которая освещала их так горячо любимые трубки. С трогательным красноречием они вспоминали более

счастливые вечера — времена дыма и фантазий, когда после целого дня услаждающей «жвачки» они радовали сами себя своими щедрыми и самыми сердечными затяжками.

Однажды ночью, которая казалась более чем обычно безысходной и печальной, в голове у Бланта, ирландского кокни, внезапно родилась идея: «Ребята, давайте искать под койками!» Благослови тебя Боже, Блант! Вот так обнадёжил! Сразу же поклажа была вытащена, тёмные места были исследованы, и два табачных прутика и несколько старых «жвачек», брошенных матросами в каком-то предыдущем путешествии, были встречены аплодисментами. Их беспристрастно разделил Джексон, который в этот раз к всеобщему удовлетворению оправдал свой авторитет.

Любопытный способ деления этого табака обычно удовлетворял матросов максимально возможной степенью желаемой беспристрастности. Я опишу его, серьёзно рекомендуя для дальнейшего использования всем, кто будет после этого делить наследство, ведь если они примут этот морской метод, то универсальный клеветнический афоризм Лаватера станет навсегда бесполезным: «Знатока не поймёшь, пока не разделишь с ним его работу».

Табачные прутики разрезают максимально равномерно на количество частей, равное количеству матросов, и эта операция выполняется в присутствии всех. Джексон, уложив табак перед собой, стоя лицом к стене и спиной к компании, указывал на одну из частей табака своим ножом, выкрикивая: «Это чья?» — после чего с противоположного угла бака смело отвечали: «Бланта!» — и доля уходила Бланту; и так далее, тем же путём, пока всё не раздавалось.

Я выкладываю его перед вами, юристами — тенями великого Блэкстоуна, я спрашиваю вас: могла ли быть предположена более беспристрастная процедура, чем эта?

Но табачные прутики и последние путешествующие «жвачки» скоро закончились, и затем, после короткого периода относительной весёлости, матросы снова сникли и помрачнели.

Скоро появился способ, однако не совсем новый среди моряков, чтобы смягчить серьёзность депрессии, которая их томила. Прежде чем переплетать верёвки, пряжу, по-особому выбранную, обрезали на маленькие биты, использовавшиеся вместо табака. Старым верёвкам отдавалось предпочтение, особенно тем, что долго лежали свёрнутыми и потеряли эпикурейскую сырость,

сделав ещё более насыщенным их древний, подобный сыру, аромат.

В сердцевине самых толстых канатов есть прямая, центральная часть, вокруг которой накручиваются внешние волокна. В разные моменты в процессе выбора пакли я оказывался среди старого хлама и, вытаскивая на свет фрагмент этого вида верёвки, испытывал какое-то странное, безумное восхищение от медленного раскручивания и постепенного извлечения этого искусно скрытого ароматического «сердца», как называлась эта центральная часть.

Она обычно имеет насыщенный желтовато-коричневый, индийский оттенок, немного блестит, чрезвычайно приятна на ощупь, распространяет острый аромат, подобный запаху из старой пыльной бутылки портвейна, недавно вырытой из земли, и в целом является объектом, в отношении которого человек удерживается от ласк, наслаждаясь своим ужином.

Но этот притягательный кусочек старого хлама манил намёками на много чего интересного, скорбного и трагичного. Кто может сказать, в каких бурях он побывал, в каких далёких морях он мог плавать? Сколько крепких мачт семидесятичетырёхпушечных кораблей и фрегатов он

удерживал в бурю? Насколько глубоко он лежал, будучи тросом, на дне иностранных гаваней? Что за диковинная рыба могла ощипывать его в воде, и что за неописанная морская птица клевала его в тот момент, когда он удерживал высокую опору или парус?

Теперь именно эти части верёвки, эти милые маленькие

«отрезки» стали среди матросов предметами наиболее нетерпеливых поисков. И, получив фут или два из старого каната, они любовно разрезали его, чтобы посмотреть, была ли у него какая-нибудь «вырезка».

По своей собственной части я тем не менее не могу сказать, что этот лакомый кусочек всем был приятен во рту, однако с виду древность была притягательная, а для носа морского эпикурейца имела приятный запах. Действительно, я, возможно, ошибался, думая, что он имел скорее вяжущий, резкий вкус, вероятно, из-за смолы, которая более или менее искажает аромат всех верёвок. Но матросам он, как оказалось, понравился, во всяком случае, они жевали его с большим удовольствием. Они превращали один из карманов своих штанов в лавку старьёвщика и, когда товарищ по плаванию спрашивал

«жвачку», извлекали маленькую катушку.

Другой мерой, предпринятой для того, чтобы облегчить их тяготы, стало использование высушенных чайных листов вместо табака для заполнения трубок. В море никто никогда не ужинал на баке без того, чтобы не набить потрясающими остатками чайных листов или стеблями капусты свой чайный оловянный горшочек. И потому не существовало никакого дефицита в этом материале для набивки наших трубок.

Я едва не забыл упомянуть о самом примечательном моменте в этом вопросе, а именно что, несмотря на общий дефицит подлинного табака, у самого Джексона имелся его запас, и при этом он не делился им почти до нашего прибытия в порт.

В моменты самых низких глубин отчаяния из-за потери своего драгоценного утешителя, когда матросы сидели безутешные, как вавилонские пленники, Джексон сидел со скрещёнными ногами на своей койке, которая была единственной верхней койкой, и, окутанный облаком табачного дыма, с сардонической усмешкой смотрел вниз на скорбящих в своём горе.

Он вспоминал, что возражал против безумной продажи табака за презренный металл, против

истощения табачного запаса, он обрисовывал их глупость, он распространялся о страданиях, которые они навлекли на себя, он преувеличивал их муки и высмеивал каждого, упрекая, возбуждаясь и крича. Никто не смел противоречить его грубым порицаниям, не пытаясь даже попросить об удовлетворении своей потребности за счёт его обильного запаса. Наоборот, в этой ситуации они делили с ним найденные табачные прутики.

Невероятная власть этого отверженного Джексона над более чем двенадцатью или четырнадцатью крепкими, здоровыми моряками — это загадка, разрешение которой нужно оставить философам.

Глава LV
Зарисовка к едва ли не последнему эпизоду в карьере Джексона

Заключительный намёк на Джексона в предыдущей главе, напоминает мне о том обстоятельстве — о котором, возможно, стоило упомянуть прежде, — что после того, как мы пробыли в море приблизительно десять дней, он объявил, что не столь здоров, чтобы исполнять свои обязанности, и, в соответствии с этим, улёгся в свою койку. И здесь, за исключением нескольких кратких периодов принятия им солнечных ванн при ясной погоде, он оставался лежать на спине или застывал со скрещёнными ногами всё оставшееся время обратного путешествия.

Погрузившись там в свой адский сумрак, словно только что потерпевший кораблекрушение матрос в холщовых штанах, этот человек всё ещё изображал картину, достойную быть написанной тёмной, капризной рукой Сальватора Розы. В любом из хмурых морских пейзажей этого мастера, изображающем пустынные скалы Калабрии с кораблекрушением в полуночной дали,

Джексон послужил бы моделью для написания лица номинального главы обречённого судна, разрубленного и взорванного молнией.

Хотя наиболее подлые и трусливые из моих товарищей по плаванию шептались друг с другом, что Джексон, уверенный в своей власти, как на вахте, так и вне её, только симулировал недомогание, тем не менее оно случилось просто-напросто из-за его излишеств в Ливерпуле, и болезнь, которая долго сжимала свои клыки на его плоти, теперь уже грызла наиболее важные части его тела.

Его щёки стали впалыми и пожелтели, а кости проступали так же, как и из черепа. Его змеевидные глаза оказались усыпанными красными гнёздами, он не мог поднять свою руку без сильной дрожи, в то время как его мучительный кашель долгое время не давал нам спать. И всё же своей дрожащей хваткой он раскачивал свой скипетр и как тиран управлял всеми нами до последнего.

Чем слабее и слабее он становился, тем возмутительней становилось обращение к нему со стороны команды. Перспектива быстрой и неизбежной смерти, теперь стоявшая перед ним, казалось, раздражала его человеконена-

вистническую душу до безумия, как будто он действительно продал её сатане, исполнившись решимости умереть с проклятием на зубах.

Я никогда, даже сейчас, не смогу не думать о нём, раскинувшемся на своей койке, часто дышащем, выпаливающем свои проклятия; но мне этот мизантроп на троне мира напоминал дьявольского Тиберия на Капри, который даже в своём добровольном изгнании, озлобленный физическими муками и отвратительным психическим террором, известном на земле только людям проклятым, всё же не предавался богохульству, хотя и пытался присовокупить к своей собственной погибели всех, кто был с ним в период его злобной власти. И пусть Тиберий пришёл как наследник Цезаря, и пусть бесподобный Тацит забальзамировал его труп, я всё же считаю этого янки Джексона достойным персонажем, а также заслуживающим своей высокой виселицы в истории, даже при том что он был безызвестным бродягой без эпитафии, и никто, кроме меня, не рассказал о нём. Поскольку во зле нет никакого различия, в пурпуре оно или в рубище, то в аду царит дьявольская демократия, где все уравнены. Нерон там стонет бок о бок со своими собственными подручными. Если

Наполеон действительно был военным-убийцей, то я не воздам ему большего уважения, чем уголовнику. И если мильтоновский Сатана разбавляет наше отвращение восхищением, то это только потому, что тут не подлинное существо, а видоизменённый оригинал. Если не только из одних четырёх евангелий мы сделали вывод, что любые высокопарные мечты касаются этого Сатаны, то осознали ли мы его из этих источников как сущую персонификацию зла, которой не восхищается никто, кроме карманников и грабителей? Но зло исходит не из нашего заслуженного поэтического первосвященника: того лишь возвеличивает то, что из абсолютного зла в своём материале он смог создать свою весьма привлекательную структуру. Поскольку на земле в исторической канонизации осуждение принижает личность, то, поднимая и превознося всем известного проклятого, мы стремимся не преподать примеры зла и не призвать к стремлению сделать некую бóльшую несправедливость, ради того чтобы добыть себе славу.

Глава LVI
Возле баркаса Редберн и Гарри ведут доверительную беседу

Сладкая вещь — песня, и хотя иудейские пленные повесили свои арфы на ивы из-за того, что не могли исполнить палестинские напевы перед надменными бородами вавилонян, всё же сами по себе эти мелодии других времён и далёких земель были так же сладки, как июньская роса на горе Хермон.

И бедный Гарри оказался в той же ситуации, что и древние евреи. Он так же был уведён в плен, хотя его главным похитителем и врагом оказался он сам, и так же на много ночей был призван петь для тех, кто целыми днями оскорблял его и высмеивал.

Его голос был как раз таким голосом, который мог исходить от маленького, нежного человека, каким он и был, он был нежным и переливчатым и изливался и звенел в словах песни, как музыкальный ручей, чьи края окаймляют разноцветьем ветры и непостоянства.

«Я не могу петь сегодня вечером, — печаль-

но сказал Гарри голландцу, который со своим начальником вахты просил его скоротать полночные часы своими мелодиями. — Я не могу петь сегодня вечером. Но, Веллингборо, — прошептал он, и я наклонил своё ухо, — приходи ко мне к подветренной стороне баркаса, и там я напою тебе голосом».

Это были «Берега синего Мозеля».

Бедный, бедный Гарри! И тысячу раз одинокий и несчастный! Петь песни, которым было предназначено струиться исключительно фонтанами в садах или в изящных альковах гостиных, петь их здесь — здесь, в жизни под покрытыми дёгтем бортами нашего баркаса.

Но он пел и пел, пока я наблюдал за волнами, и населял их всех эльфами, и кричал «Лови! Скрестить руки!» массовой

кадрили, которую все танцевали на залитом лунным светом музыкальном полу.

Но хотя моему другу было очень тяжело петь свои песни этой хулиганской команде, которую он ненавидел — даже в своих мечтах, до пены, слетавшей с его губ даже во время сна, всё же я, наконец, одержал победу над его чувствами и подчинил их его интересам. Из-за сильного восхищения матросов даже самым грубым ис-

кусством менестрелей Гарри, как я хорошо знал, был способен обаять их с течением времени — по крайней мере, они не смогли бы сопротивляться, что могло бы побудить их относиться с большим уважением к тому, кто заслуживал такого восхищения. Орган Карло не нравился им так, как голос моего Бьюри, звучащий аккордеоном в их ушах.

Итак, однажды ночью он сидел на брашпиле и пел, и грубые шутки, столь характерные для матросов, проскальзывали в тишину при каждом стихе. Всё молчаливей и молчаливей становились они, пока, наконец, Гарри не уселся среди них, как Орфей среди зачарованных леопардов и тигров. Безопасные теперь когти, которыми они имели привычку разрывать мою зебру, спрятались в бархатных лапах, и их свирепые глаза одновременно застыли в очарованном и захватывающем блеске. Затем, всё ещё шипя какое-то время, они оставили свою добычу.

Теперь, во время путешествия, общение с командой всё больше и больше отбрасывало Гарри ко мне в поисках товарищеских отношений, и поскольку немногие могут держать постоянную компанию с кем-либо, не открывая, по крайней мере, некоторых своих тайн, то из-за этого все

мы тоскуем по сочувствию, даже если причиной тайны стала любовь. А пребывание в душевном одиночестве вытерпит только гений, чей хранитель и вдохновитель — уединение.

Но хотя мой друг стал более чем когда-либо открытым относительно своей прежней карьеры, всё же к настоящему времени он не разъяснил многих вещей, даже частично не обнародовав историю, которую мне очень любопытно было узнать, и совсем никогда даже отдалённо не намекал на что-либо, связанное с нашей поездкой в Лондон, поскольку из-за клятвы, которой он повязал меня, считал моё любопытство по этому вопросу невозможным. Однако так или иначе Гарри сообщил много очень интересных сведений, и если он и не удовлетворил меня в этом отношении, то восполнил его в той мере, что остановился на будущем и тех перспективах, что уже открылись перед ним, и тех, которые могли открыться в будущем.

Он признался в том, что у него нет денег, кроме нескольких шиллингов, из-за расходов при нашем возвращении из Лондона (то единственное, что могло быть выручено от продажи ещё остававшейся части его одежды, ушло бы в оплату его проживания в Нью-Йорке в первую неделю),

и в том, что у него в целом не было какой-либо определённой профессии или занятия, на применение которых он мог бы вполне положиться. И всё же он сказал мне, что никогда не был полон решимости вернуться в Англию, и что где-нибудь в Америке он должен обрести своё нынешнее счастье.

«Я забыл Англию, — сказал он, — и никогда не захочу думать о ней, поэтому скажи мне, Веллингборо, чем мне стоит заниматься в Америке?»

Это был вопрос, сбивающий с толку и исполненный для меня горечи, вопрос, который для меня, хоть и молодого, был хорошо протёрт, приправлен карри и размолот до мелкого порошка дьявольски удачно, а потому мог вызвать сочувствие при подобных обстоятельствах. Мы можем выглядеть серьёзными и вести себя любезно и быть внимательными другу к другу в бедствии, но если мы никогда фактически не получали такого опыта, как горе, которое сгибает, то не сможем с большим изяществом предложить своё сочувствие. И возможно, что не существует истинного сочувствия, кроме как между собратьями по несчастью, и, возможно, не стоит доверять искренности того человека, который склоняется,

чтобы посочувствовать нам.

Таким образом, мы с Гарри, два одиноких странника, провели много долгих часов за обсуждением наших общих дел. Однако без выгоды для благодетеля, которым я, конечно же, оказался: поскольку я был американцем и возвращался в свой дом, а он был иностранцем и убегал из своего, то потому я отнёсся к нему как к возможному почитателю моей страны. Я считал его иностранным гостем. Следовательно, я считал более подходящим, что мне скорее нужно говорить с ним, чем ему со мной, а потому наше внимание должны больше затрагивать его перспективы и планы, нежели мои собственные.

Теперь, видя, что Гарри был настолько голосистым певцом и мог спеть таким очаровательным голосом, я предположил, что его музыкальные таланты могут быть использованы к его собственной выгоде. Эта мысль пронзила его весьма вовремя: «Поразительно, мой мальчик, ты поразителен, воистину», — и затем он начал припоминать, что в некоторых местах в Англии было обычным делом для двух или трёх молодых людей из высоко почтенных семей, весьма старинных, но, к сожалению, разорившихся и в потёртой одежде, — так вот, это было обычно

для двух или трёх молодых господ в такой ситуации зарабатывать средства к существованию своими голосами, перечеканивая свои серебряные песни в серебряные шиллинги.

Они ходят от двери к двери и звонят в звонок: «Здесь есть леди и господа?» Видя их по меньшей мере благородный облик, хоть и не слишком роскошный, слуга обычно сразу же пускает их, и когда люди входят, чтобы их поприветствовать, то их представитель поднимается с нежным поклоном и улыбкой и говорит, что мы пришли, дамы и господа, чтобы спеть вам песню: мы — певцы к вашим услугам. И далее, не дожидаясь ответа, они затягивают песню, и при наличии более чем сладкозвучных голосов, очаровывающих и передаваемых всем аудиториям, в заключение представления очень редко остаются без достойной оплаты и отбывают с приглашением вернуться снова и ещё раз восхитить обитателей этого жилища и сделать их счастливыми.

«Нельзя ли что-то вроде этого устроить теперь в Нью-Йорке? — сказал Гарри. — Или там совсем нет комнат с леди?» — с тревогой добавил он.

Я снова уверил его, как часто делал прежде, что Нью-Йорк — это цивилизованный и просвещённый город с большим населением, прекрасными

улицами, прекрасными зданиями, более того, с множеством омнибусов, и что, почти что по большей части, он в Англии и сам знал, насколько подобна Англии в основе своей была эта диковинная Америка, которая привлекла его.

Я не мог не поразиться — поскольку сам с рождения был космополитом, — я был поражён его скептицизмом относительно цивилизации у меня на родине. Патриот больший, чем я, мог бы вознегодовать от его инсинуаций. Он, как оказалось, думал, что мы, янки, жили в вигвамах и носили медвежьи шкуры. В конце концов, Гарри был настоящим кокни, и его христианский мир ограничивался Лондоном.

Тогда я уверил его, что не вижу причины, почему он не должен играть как трубадур в Нью-Йорке, а также в другом месте, он же внезапно огорошил меня вопросом, не присоединюсь ли я к его предприятию, поскольку довольно тяжело участвовать в таком деле в одиночку.

Я сказал: «Мой дорогой Бьюри, у меня не больше голоса для частушек, чем у немого для торжественной речи. Петь? При моих щебёночных лёгких я счастлив, что вообще могу говорить, уж какое там пение соловьём!»

Поэтому этот план был аннулирован, и вскоре

Гарри начал отходить от идеи пения, как средства к своему существованию.

«Нет, я не буду петь ради своей баранины, — сказал он, — что скажет леди Джорджиана?»

«Если бы я хоть однажды увидел её светлость, то мог бы сказать тебе, Гарри», — ответил я, точно не сомневаясь относительно её слов, но почувствовав себя неловко из-за своей дружеской совести, когда он сослался на разных своих дворян, истинно благородных друзей и на свои отношения с ними.

«Ну, конечно, Бьюри, друг мой, ты, помимо других своих достижений, умеешь писать хорошим почерком, и это, несомненно, окажет тебе помощь».

«У меня действительно хороший почерк, — с удовольствием возразил он — вот, посмотри на орудие! Не думаешь ли ты, что такая рука, как эта, не сможет поставить точку над „и“ или поставить перекладину в букве „т“ с трогательным изяществом и нежностью?»

Действительно, это был самый превосходный писец. Он был маленьким, и пальцы были длинными и тонкими, с суставами с мягкой округлостью, с ногтями с полусферической основой и с гладкими ладонями, когда-то представивших

египетской гадалке для прочтения несколько иероглифических линий. Тут была не крепкая рука фермера из Цинциннати, который следовал за плугом и руководил штатом, а как будто благоуханная рука Петрония Арбитра, изящного молодого римского щёголя, который когда-то на форуме абсолютно игнорировал великого Сенеку.

Одна только его рука дала бы право моему Бьюри на одобрение со стороны того восточного властелина, похвалившего лорда Байрона за его кошачьи пальцы и объявившего, что они предоставляют несомненное доказательство его благородного происхождения. А так оно и было: ведь лорд Байрон был тем же, кто и все остальные, — сыном человеческим. Так же и с нищими метисами с крошечными ногами с изящными руками в Лиме, если говорить об их руках и ногах, учитывая это соображение, то они представляют олигархию всего Перу.

Безумие и глупость думать, что джентльмен определяется по его ногтям, как Навуходоносор, когда тот вырос на пастбище, или считать, что дворянская отметина должна характеризоваться малостью ноги, когда у рыб вообще нет ног!

Денди! Ампутируйте себе ноги, если хотите,

но знайте и будьте уверены в том, что великий человек, как пирамида, стоит на широкой опоре. Это только хрупкая фарфоровая пагода покоится на пальцах ног.

Но хотя руки Гарри смотрелись, как руки леди, и когда-то были белыми, как батистовый носовой платок королевы, и незапятнанными, как репутация Дианы, всё же его последние натяжения тросов, перевозки фалов и катушек с линями, случайные забавы с горшками со смолой и слякоть на обуви несколько выделяли их из его оригинальной утончённости.

Он часто с сожалением следил за ними.

Ох, руки, думал Гарри, ах, руки! во что вы попали? Прилично ли, что вы испачканы смолой, вы, которые когда-то препоручали графинь их кучерам? Действительно ли это та рука, которой я приподнимал для поцелуя руку божественной Джорджианы, которой я клялся леди Блессингтон и скреплял свою связь с возлюбленным Господом? Эту ли руку Джорджиана прижимала к груди, когда клялась быть моей? С глаз долой, трусиха и отступница! Поглубже вниз — исчезни в этом грязном кармане короткой куртки, куда я тебя затолкал!

После многих долгих разговоров, наконец, бы-

ло принято неплохое решение, заключающееся в том, что по нашему прибытии в Нью-Йорк необходимо будет провести кое-какие поиски среди моих тамошних немногочисленных друзей, чтобы получить для Гарри место в коммерческом доме, где могло бы расцвести его перо и где он мог бы, рассекая некий тонкий лист писчей бумаги, спокойно выводить свои тонкие фигурки, подобные худым, бледным леди, мягко передвигающимся по парку на прогулке.

Глава LVII
Почти голод

«Мамочка! Мамочка! Подойди, посмотри на матросов, что едят из маленьких корыт, как свиньи у нас дома». Так воскликнул кто-то из детей в третьем классе, во время обеда поглядев вниз на бак, где собиралась команда, черпавшая себе еду из «люльки», действительно немного напоминавшей свиное корыто.

«Свиньи, значит? — прокашлял Джексон со своей койки, где он сидел, председательствуя на банкете, но не участвуя в нём, как дьявол, потерявший свой аппетит после прожёванной серы. — Свиньи, значит? Так недалёк тот день, когда вы, бездельники, ещё попросите сделать глоток из нашего корыта!»

Это злобное пророчество сбылось.

Поскольку день следовал за днём без проблеска берега или рифа, и встречные ветры гнали судно назад, как гончие оленя, то непредусмотрительность и недальновидность пассажиров третьего класса, касающиеся их подготовки к путешествию, начали сказываться в виде неизбежных

последствий.

Многие из пассажиров, наконец, пошли в кормовую часть к помощнику капитана, сказав, что им ничего есть, что их запасы израсходованы и что им нужно выдать судовую провизию, иначе они умрут с голоду.

Слова были переданы капитану, который вынужден был издать распоряжение по каютам, что каждому пассажиру третьего класса, нищета которого была доказуема, должно выдавать по одной галете и по две картофелины в день или в виде замены маффин с жареным яйцом.

Но этой скудной порции было совсем недостаточно, для того чтобы утолить их голод: её едва хватало удовлетворить потребности здорового взрослого. Последствием было то, что весь день и всю ночь множество эмигрантов ходило по палубам в поисках съестного. Они разграбили курятник и, попрятав птиц, приготовили их на общественной кухне. Они совершили нашествие на свинарник в лодке и утащили перспективного молодого молочного поросёнка: они съели его сырым, не рискуя приготовить его в статусе «инкогнито» прямо на палубе; они бродили вокруг камбуза, пока кок не пригрозил ошпарить их кипятком из ковша, они подстере-

гали стюарда во время его регулярных экскурсий от повара до каюты, они кругом осаждали бак в надежде обчистить хлебницу, они окружали матросов, как нищие на улицах, умоляя накормить их во имя Господа.

Впоследствии из-за таких вот эксцессов великий русский капитан Риг издал другой указ и с этой же целью: любой эмигрант, признанный виновным в краже будет привязан к оснастке и выпорот.

В ответ на эту меру началось скрытое брожение в третьем классе, которое едва не встревожило нас, беспокоившихся о безопасности судна, но ничего серьёзного, в конце концов, не случилось, и они даже согласились и не выступали против того исключительного наказания, которое капитан назначил преступнику из их клана взамен телесного. Несомненно, он решил, что такая строгая мера не сможет побудить пятьсот эмигрантов к бунту.

Голова наказанного закреплялась на одной из больших палубных лоханей — бочки, распиленной пополам вдоль, и под эту голову было вырезано отверстие в одном торце лохани, а также по два отверстия поменьше в другом. Голова просовывалась в середину торцевого сегмента

через круглое отверстие, и сам он немедленно прикреплялся обручами к обшивке бочки, которая опиралась на его плечи, в то время как его ноги просовывались через отверстия в другом торце.

Эту конструкцию было тяжело носить, но человек мог ходить с ней, и так смешна была его внешность, так велика была его злость от неуважения, что он и сам вместе с остальными смеялся над своим скованным телом.

«Теперь, Пэт, мой мальчик, — сказал старший помощник, — заполни эту большую прекрасную деревяшку своим животом, если получится».

Сочувствуя его положению, наш старый «доктор» выдавал ему милостыню едой, размещая её на бочке перед его ртом, пока, наконец, не наступило время для избавления, и сам Пэт не выступил против милосердия и не перестал играть Диогена в ванне в оставшиеся дни этого голодного путешествия.

Глава LVIII
Пассажиры покидают «Горца», не дождавшись его захода в гавань

Хотя быстроходные парусные суда благодаря попутным бризам часто пробегают через Атлантику за восемнадцать дней, всё же для других судов весьма характерно проделывать этот самый переход за сорок или пятьдесят и даже шестьдесят, семьдесят, восемьдесят и девяносто дней. Впрочем, в последнем случае такая большая задержка свидетельствует о бедствии или недееспособности команды. Также верно, что обычно переход из Америки оказывается быстрее, чем при возвращении из Европы, что приписывается распространённости западных ветров.

Прошло уже двадцать дней с тех пор, как мы отошли от Чистого мыса, всё ещё встречаясь со встречными ветрами, хотя в целом и с благоприятной погодой, когда нас посетила череда штормов с дождём, продлившаяся большую часть недели.

В это время эмигранты были обязаны оставать-

ся внизу, но это было обычным для некоторых из них, в первую очередь для тех, кто не восстановился после первого же приступа морской болезни, сделавшего их появление на палубе крайне редким во время всего перехода.

В течение недели, о которой я упоминаю, огонь в общем очаге был разведён только однажды. Это стало причиной выполнения множества домашних дел в третьем классе, которые иначе были бы сделаны под открытым небом. Когда ливни затихали, некоторые необычайно чистоплотные эмигранты поднимались на палубу с ведром помоев, чтобы сбросить их в море. Никто из опытных обитателей судна не счёл необходимым сообщить некоторым из этих неосведомлённых людей о самых простых и по большей части элементарных принципах океанской жизни. Злясь на все лекции по этому предмету, некоторые пассажиры со своими помоями не избегали подветренной стороны судна. Однажды утром, когда дул очень свежий ветер, один простак выплеснул более чем галлон или два чего-то навстречу ветру. Немедленно все влетело обратно ему в лицо, а также в лицо старшего помощника, который, как оказалось, стоял в этот момент в стороне. Преступника схватили и потрясли за грудки

на месте с иронической командой никогда в будущем, находясь в море, не бросать что-либо навстречу ветру, кроме густого пепла и обжигающе горячей воды. Во время частых тяжёлых шквалов, что обрушивались на нас, люки третьего класса всё время были герметично закрыты, запечатав внизу, в своём зловонном логове, множество людей. Было бы удивительно, если бы шокирующая судьба, не так давно заставшая бедных пассажиров на ливерпульском пароходе в Канале во время подобной бурной погоды и при подобном обращении, не настигла бы некоторых эмигрантов и на «Горце».

Тем не менее, вне всякого сомнения, от этого вредного заключения при такой скученности в непроветриваемом и переполненном логове вкупе с недостатком питания пострадали многие, что вместе с их личной нечистоплотностью навлекло опасную для жизни лихорадку.

Первой новостью стало то, что заболели два человека. Как только об этом стало известно, старший помощник быстро отправился в каюту за домашней аптечкой и появился со средствами, которые он считал подходящими для происшедшего в третьем классе. Но лекарства не принесли никакой пользы, больным скоро стало хуже, и за-

разилось ещё двое эмигрантов. Тогда сам капитан пошёл посмотреть на них и по возвращении разыскал среди каютных пассажиров человека, предположительно, похожего на врача, попросив его оказать помощь страдальцам, намекнув, что таким образом он мог бы предотвратить распространение болезни в самих каютах. Но этот человек отрицал, что был врачом, и от страха перед инфекцией — хотя он не признавал этого, чтобы не было повода, — отказался даже входить в третий класс. Количество больных росло: болезнь распространилась по всем углам судна, и последовали сцены, с которых по большей части стоит сорвать завесу: ведь некоторые читатели оказались столь утончёнными, что много раз упустили множество поразительных эпизодов в таком рассказе, как мой.

Многие охваченные паникой эмигранты теперь постоянно и охотно пребывали на палубе, но скверная погода — влажная, холодная и ветреная — при их скудной одежде загоняла большую часть из них обратно. Всё же любой другой человек, возможно, решил бы столкнуться с более резким штормом, чем продолжающийся, нежели вдохнул бы ядовитый воздух в третьем классе. Но часть из этих бедных людей, должно быть,

настолько привыкла к столь великим и унизительным бедствиям, что атмосфера нищенского дома казалась ей почти естественным воздухом.

Первые четыре случая, как оказалось, появились на соседних койках, и эмигранты, которые спали в более дальней части третьего класса, построили баррикаду перед этими койками, чтобы прервать какое-либо сообщение с ними. Но едва об этом сообщили капитану, как он приказал, чтобы её разобрали, так как она не смогла бы принести никакой пользы, а лишь усугубила бы то, что и так было весьма ужасно.

И только после долгих угроз вперемежку с уговорами старшему помощнику удалось отправить матросов вниз исполнять приказ капитана.

Представший перед нами, вошедшими, вид действительно был пугающим. Он напоминал вход в переполненную тюрьму. С рядов грубых коек на нас глядели сотни худых, закопчённых лиц, в то время как, усевшись на поклажу, множество небритых мужчин курили чайные листы и выдыхали удушающий дым. Но этот дым был лучше, чем родной воздух этого места, который по почти невероятной причине, был зловонным до невозможности. В каждом углу сидели съёжившиеся в объятиях женщины, плачущие

и стенающие, дети просили хлеб у своих матерей, которым нечего было им дать, а старики сидели на полу, прислоняясь головами к бочкам с водой, закрыв глаза и тяжело дыша.

В одном конце была выстроена баррикада, скрывающая заражённых, в то время как — несмотря на тесноту — перед ней находился участок, который оставался свободным от людей из-за страха перед инфекцией.

«Эту переборку нужно разобрать, — крикнул помощник голосом, который взлетел выше шума. — Хватайтесь, ребята». Но едва мы коснулись поклажи, составляющей баррикаду, как примчалась толпа бледных, пришедших в бешенство мужчин, которые с ужасными воплями клялись убить нас, если мы не остановимся.

«Разберите её!» — проревел помощник капитана.

Но матросы отступили, бормоча что-то о торговых моряках, не получающих пенсий в случае травм и об их отказе драться при пятидесятикратном перевесе противника. Старший помощник приложил последние усилия внять его приказу, но это не помогло, и нам пришлось отойти, не достигнув своей цели.

Около четырёх часов тем же утром умерли

первые четверо. Все они были мужчинами, и последовавшие за тем сцены были невероятно ужасны. Конечно же, бездонное море, по которому мы проплывали, скрывало ещё нечто более страшное.

Сразу же был передан приказ похоронить мёртвых. Но в нём нужды не было. Своими собственными соотечественниками они были вырваны из объятий своих жён, уложены в своё же собственное постельное белье с камнями для балласта и с поспешным отпеванием брошены в океан.

В это время ещё десять мужчин подхватили болезнь, и с преданностью, достойной всех похвал, старший помощник посетил их со своими лекарствами, но капитан снова не спустился к ним.

Было очень важно очистить третий класс, и это не делалось из-за дождей и шквала, которые сделали бы безумием выгонять такое количество женщин и детей на мокрые и открытые палубы, приказывать пассажирам третьего класса подняться наверх и подвергать их логово полной чистке. Это пока не рассматривалось. Матросы наотрез отказались идти посреди грязи, чтобы выгнать пассажиров, а поскольку большая часть последних была сильно пьяна, то в случае при-

менения силы они бы не тронулись с места, дабы помочь в том деле, что являлось их собственным спасением.

Паника в каютах была теперь очень сильной, и из-за боязни заразиться самим каютные пассажиры охотно посадили бы под замок самого капитана, чтобы воспрепятствовать его проходу за грот-мачту. Их шум, наконец, побудил его сказать своим двум помощникам, что пока они должны спать и принимать свою пищу в другом месте, а не в своих прежних отсеках, которые сообщались с каютами.

На суше мор довольно опасен, но там многие могут сбежать из заражённого города, тогда как на судне вы заперты, а сама больница заперта совсем. И при этом не существует никакой возможности побега оттуда: в столь небольшом и переполненном месте ни одна предосторожность не может целенаправленно уберечь от инфекции.

Столь же ужасными, сколь, возможно, и исполненными отчаяния, как и третий класс, представали теперь каюты. Многие из тех, кто прежде молился редко, теперь просил милосердные небеса ночью и днём о попутных ветрах и прекрасной погоде. Для извлечения Библий

были вскрыты сундуки, и, наконец, даже молитвенные собрания были проведены за тем же самым столом, над которыми прежде так часто пролетали громкие шутки.

Удивительно, но когда вечная азиатская холера навсегда прореживала наши ряды, когда почти перед всеми представала близкая перспектива той смерти, которой в любое время может умереть любой человек и которая должна будет, в конце концов, забрать всех нас, — перед лицом её проявилась спазматическая преданность вере.

Во второй день умерли семеро, одним из которых был маленький портной, на третий — четверо, на четвёртый — шестеро, среди них матрос-гренландец, а другой — женщина из каюты, смерть которой, как, однако, позже полагали, просто была вызвана её страхами. Эти последние смертельные случаи довели панику до высшей точки: и матросы, и офицеры, каютные пассажиры и эмигранты — все смотрели друг на друга как прокажённые. Все, кроме единственного истинного прокажённого среди нас — моряка Джексона, который, казалось, ликовал от мысли, что он — уже в смертельных тисках другой болезни — не видит никакой опасности в лихорадке,

которая сметает только сравнительно здоровых. Таким образом, отчаяние не трогало этого неизлечимого инвалида, находящегося среди здоровых, в большей степени по тем же самым соображениям, которые ужасали остальных.

И всё это время под серым, мрачным небом судно обречённо стояло под ударами волн, то с одной стороны, то с другой, борясь с враждебными порывами ветра, пропитанное дождём и брызгами, ни на дюйм не продвигаясь к своему порту.

На шестое утро ветра слились в бурю, в которой мы раздели наше судно до «штормового стакселя». За десять часов волны превратились в горы, и «Горец» поднимался и падал, словно большой бакен. Вопли и жалобы привели к попутному направлению ветра и утонули в рёве ветра среди такелажа, в то время как мы отдали буре почерневшие тела ещё пятерых мертвецов.

Но поскольку смерть отбыла, места двоих из них были заполнены человеческой волной, состоявшей из двух родившихся младенцев, которых чума, паника и буря преждевременно поторопили войти в мир. Крик первого из этих младенцев прозвучал почти одновременно со всплеском упавшего в море тела его отца. Так мы приходим, и так мы уходим. Но, окружённые

смертью, и матери, и малыши выжили.

В полночь ветер стих, оставив широкое, катящееся море и — впервые за неделю — ясное, звёздное небо.

В первых утренних часах я сидел с Гарри на брашпиле, глядя на волны, которые в ночи казались реальными холмами, где, возможно, были построены крепости, и реальными долинами, в которых, возможно, обосновались бы деревни, рощи и сады. Всё походило на швейцарский пейзаж из-за лежащих внизу тёмных фиолетовых речных долин с часто ниспадавшей, словно лавина с гребней волн, белой пеной, кипящей и бурлящей, и в результате, как оказалось, заглатывающей людей.

К полудню следующего дня тяжесть на море спала, и мы понеслись по волнам на всех наших поставленных холстах — с оглушающими хлопками понизу и поверху — и с нашим лучшим рулевым у руля, с самим капитаном у него под рукой, прогнувшимся вперёд, наряженным, приветствующим бриз на гакаборте.

Палубы очищались и вымывались насухо, а затем все эмигранты, которые не были больными, вывалились на палубы, вдохнув восхитительный воздух, разложив свои влажные постельные при-

надлежности на солнце и угощая себя щедрой едой от капитана, который, наконец-то, счёл целесообразным увеличить их продуктовый паёк. Отдельные пассажиры теперь уже присоединились к группе членов команды, которая, пройдя в третий класс с вёдрами и мётлами, устроила кораблю полную чистку, вынеся на палубу неведомое количество доверху наполненных вёдер с грязью. Это больше походило на очистку конюшни, чем на жильё для мужчин и женщин. В этот день мы похоронили троих, на следующий день одного, и затем мор оставил нас с семью выздоравливающими, которых разместили возле открытого люка, наскоро разобранного, с квалифицированным лечением и даже под нежной заботой со стороны старшего помощника.

Но даже при столь благоприятном повороте дел оставалось ещё много беспокойных предчувствий, что при пересечении Большой Ньюфаундлендской банки туманы, с которыми там обычно сталкиваются, могли бы навлечь возвращение лихорадки. Но, к всеобщей радости, пока продолжал дуть попутный ветер, и мы быстро прошли эти страшные мелководья и повернули на юг в сторону Нью-Йорка.

Наши дни теперь стали ясными и спокойны-

ми, и, хотя ветер уменьшился, мы всё ещё шли своим курсом по прекрасному морю. Пассажиры третьего класса — в подавляющем большинстве — выглядели пока подавленными, хотя и немного повеселевшими из-за сердечной атмосферы и надежды скоро достичь своего порта. Но тем, кто потерял отцов, мужей, жён или детей, уже не нужно было никакого крепа, чтобы показать другим, что с ними стало. Воистину трудна и горька была их судьба, поскольку у бедных и опустошённых горе не снисходит до простого чувства, пусть даже искреннего, а оставляет терзающую действительность, что разъедает их жизненную сущность; для них нет разнообразных соболезнований, ласковых целителей и полчищ симпатизирующих друзей, и они должны тяжко трудиться, несмотря на то что завтра будут похороненными, и тот, кто должен будет держать их гроб на похоронной процессии, прежде должен будет отбросить свой молоток.

Как тогда быть с этими эмигрантами, которые в трёх тысячах миль от дома внезапно осознали себя лишённым братьев и мужей, без нескольких фунтов или, возможно даже, без нескольких шиллингов для покупки еды в чужой земле?

Что касается пассажиров в каюте, то кто те-

перь был столь же весел, как не они, спешащие со своими длинными кошельками и славными портмоне к обетованной земле без страха перед судьбой? Все до одного они были щедры и веселы, а старый джентльмен с желеобразными глазами, прежде чем заговорить, выдал стюарду шиллинг.

Леди, которая умерла, была пожилой женщиной, американкой, возвращавшейся после посещения единственного брата в Лондоне. У неё не было друга или родственника на борту, следовательно, поскольку траур по незнакомцу, умершему среди незнакомцев, невелик, то память о ней была похоронена вместе с её телом.

Но самым достойным упоминания среди этих, теперь уже беззаботных, людей в перьях было веселье, во время которого некоторые из них подтрунивали над другими и над паникой, которой поддались почти все.

И отсюда следует, что если сам чрезвычайный страх паникующей в момент опасности толпы основан на достаточном количестве причин, предопределяющих движение людей к своей гибели, то в такое время эти люди должны решить, умереть им или же выжить, чтобы потом насмехаться над своими ближними и над их

страхами. Ведь кроме особых разоблачительных случаев найдётся немного живых людей, которые в основной своей массе не замедлят признаться в том, что любые другие живущие были когда-то намного ближе к смерти, чем они сами. А потому фраза, слишком часто относимая к любому из тех, кто был серьёзно потрясён перспективой внезапной смерти и всё же выжил, избежав её, — фраза человека малодушного. Если человек должен погибнуть в соответствии со своими страхами, то вы не услышите от него голос труса. Это — язык того, кто несколько раз был свидетелем событий, откуда эти принципы были выведены. Этот предмет рассматривает множество тонких предположений: поскольку в каждой перспективе смерти и в поведении человека, когда она внезапно угрожает ему, лучше проявляется показатель его жизни и его веры. Пусть во времена Сократа христианская эра ещё не началась, но он умер смертью христианина, и хотя Хьюм не был христианином в теории, он всё же умер смертью христианина — скромно, спокойно, без бравады, и даже самый скептический из философских скептиков всё же наполнен той крепкой, безграничной верой, которая охватывает небесный свод. Сенека умер, продиктовав

послание потомству, Петроний легко рассуждал о сущности и любовных песнях, а Аддисон призывал христианский мир увидеть, как спокойно может умереть христианин, но всё же последний из этих троих, возможно, умер наилучшей для христианина смертью.

Каютный пассажир, который теперь читал молитвы, в своё время, как и остальные, пристраивался на коленях напротив фрамуг и диванов и был одним из компании тех весёлых молодых повес, кто причинил такие муки ревности бедному портному, теперь уже не существующему. В своём небрежно надетом жилете с висящей цепочкой для часов этот самый молодчик, осознав ужас ситуации, стал серьёзно увещевать своих компаньонов, умоляя о милосердии, когда как прежде он никогда не требовал ни малейшей его доли. Несколько раз я замечал его занимавшимся наблюдением за рулевым, стоящим у руля, которого он рассматривал через маленькое стёклышко в каютной переборке.

Но этот молодой человек был апрельским человеком — шторм закончился, и теперь он сиял на солнце, и не было никого отважнее его.

Один из его весёлых компаньонов иронически посоветовал ему вступить в Святой орден по при-

бытии в Нью-Йорк.

«Как же так? — сказал другой. — Разве у меня такой звучный голос?»

«Нет, — по-светски возразил его друг. — Но ты робок — тебе, как человеку, проще стать пастором и молиться».

Однако обстоятельства этого рассказа о лихорадке, посетившей эмигрантов на «Горце» могут повториться снова, и хотя они произошли давно, подобные события тем не менее, возможно, имеют место и сегодня. Но единственный отчёт, который вы получаете после таких событий, обычно содержится в газетном параграфе под судоходной главой. Существует некролог на умерших в море бедняков. Они умирают, как волны, которые разбиваются на берегу, и никто больше не слышит их и не замечает. Но параграфы с событиями, таким образом отражённые в каталоге происшествий и не просмотренные читателями новостей, наиболее наполнены ароматом. Ведь здесь Мой мир и Моя смерть, как и человеческий мир и его горе, представлены в трёх кратко сформулированных предложениях!

Вы не видите ни одного чумного судна, пересекающего бурное море, вы не слышите стонов отчаяния, вы не видите трупов, брошенных

за борт, вы не замечаете сжатых рук и порванных волос вдов и сирот — всё это бумажный бланк. И один из этих бланков есть у меня, заполненный детальным перечнем бедствий на «Горце».

Помимо этого естественного стремления торопливо предать забвению последнее горе бедняков, подробности обстоятельств таких бедствий пытаются замять и по совокупности других причин. Такие вещи, если становятся широко известными, весьма неприятны для судна и создают ему дурную славу, и чтобы избежать задержания в карантине капитан изложит свои доводы, по большей части смягчая обстоятельства и стремясь скрыть их, как только возможно.

Возможно, не найдётся лучше места, чем это, где можно будет сказать несколько слов относительно эмигрантских судов в целом.

Давайте отложим эту волнующую национальную тему, в любом ли случае такое множество бедных иностранцев стоит высаживать на наши американские берега; давайте откажемся от неё, исходя из одной единственной предпосылки: если они могут добраться сюда, то имеют на это Божье право, даже если привезут с собой всю Ирландию и все её бедствия. Поскольку весь мир — наследник всего мира, то никто не скажет,

кто владеет камнем в Великой Китайской стене. Но мы отложим эту мысль и только рассмотрим, каким наилучшим способом эмигрантам приезжать сюда, как они должны это делать и как это будет происходить в дальнейшем.

В последнее время в Конгрессе был принят закон, ограничивающий, согласно определённому уровню, число эмигрантов на судах. Если этот закон будет проведён в жизнь, то сделает много хорошего, а также много пользы мог бы принести английский закон, аналогично проведённый в жизнь, относительно гарантированной выдачи еды для каждого эмигранта, взошедшего на борт в Ливерпуле. Но с трудом верится, что какой-либо из этих законов соблюдается.

Но во всех отношениях ни одно законодательство, даже номинально, чётко не дотягивается до самого эмигранта. Какое постановление обязывает капитана судна обеспечить пассажиров третьего класса достойным жильём и дать им свет и воздух в том грязном логове, где они заточены во время долгого путешествия через Атлантику? Какое постановление требует от него разместить очаг или печь пассажиров третьего класса в сухом закрытом месте, где эмигранты могут заняться своей кулинарией во время

шторма или пасмурной погоды? Какое постановление обязывает его давать им большие комнаты на палубе и позволяет им время от времени пробежаться от носа до кормы? Нет на это такого закона. И если бы был, то кто, кроме некоего Говарда, исполняющего служебные обязанности, видит, как он проводится в жизнь? И как часто Говард исполняет эти обязанности?

Мы говорим о турках и ненавидим каннибалов, но разве некоторые из них не могут попасть на небеса, отодвинув некоторых из нас? У нас могут быть цивилизованные тела и одновременно варварские души. Мы слепы к реальным достоинствам этого мира, глухи к его голосу и равнодушны к его смертям. И только когда мы осознаем, что одно горе перевешивает десять тысяч радостей, то только тогда мы станем такими, какими христианство стремится нас сделать.

Глава LIX
Конец Джексона

«Прошли Кейп-Код!» — сказал стюард, сходя с квартердека, где капитан, словно денди в амфитеатре, осматривающий бельэтаж через свой лорнет, производил при помощи своего квадранта свои дневные наблюдения, широким взглядом окидывая горизонт.

«Прошли Кейп-Код!»

И в береговом цветке, который долетел до нас — даже с пустынных песчаных холмов — я, как мне показалось, почти различил аромат розового куста, который мои сёстры и я посадили в нашем далёком внутреннем домашнем саду. Восхитительные ароматы — это наша мать-земля, которая, как цветочный горшок с тысячей кустов, издалека приветствует нетерпеливого путешественника.

Бриз был жестоким и с такой силой тянул нас вперёд, что мы оставляли две широкие, синие борозды вдоль наших бортов, как будто вспахивали водную прерию. Ночью дул риф-топсельный бриз, но капитану настолько не терпелось по-

дойти к своему порту, прежде чем нас настигнет перемена ветра, что мы даже вынесли грот-брамсель, хотя лёгкая мачта уже гнулась как хлыст.

Во втором часу собачьей вахты бриз, однако, стал таким, что, наконец, был отдан приказ окунуть брамсель и зарифить все три топселя.

Матросы укладывали фалы вдоль по палубе и, прежде чем они начали уводить рифовые тали, к удивлению, некоторых из них, с бака выбрался Джексон и впервые за четыре недели или больше схватился за верёвку.

Как большинство моряков, во время большей части путешествия освобождённых по болезни от своих обязанностей, он, возможно, жаждал ещё до входа в порт напомнить капитану о своём существовании, а также о том, что он ждёт своего жалования, но увы! — его жалование ушло на оплату грехов.

Он никогда не мог лучше сообщить о своём желании работать, чем устроить представление, которое обычно привлекает каждую душу на палубе, от капитана до ребёнка в третьем классе.

Он выглядел как мокрый мертвец — синие пустоты его глаз смотрелись как пещеры, полные змей, — столь неожиданно появившись из могильной темноты бака, он был похож на че-

ловека, восставшего из мёртвых.

Прежде чем матросы наскоро зарифили тали, Джексон, дрожа, передвинулся по оснастке, таким образом, достигнув её начала и заняв своё место у наветренной части топсельной площадки, которая при рифовании считается почётным местом. Согласно одной из черт своего характера на вахте во время штиля он уклонился бы от простой унылой работы, однако во время бури он всегда хотел быть впереди, и ничего другого, и это, возможно, было одной из причин его неограниченной власти над матросами.

Скоро все мы выстроились вдоль главной площадки топселя, судно поднималось и уходило из-под наших ног, как бегущий конь, каждый из нас схватил свой риф-сезень и, наклонившись на бок, тащил парус к Джексону, чьим делом было прикрепить угол рифа к площадке.

Он не надел ни шляпы, ни обуви и, усевшись на конце нокреи, наклонившись назад к ветру, тянул канатную серьгу, как уздечку. Во всех случаях этого безумного напряжения дух матросов, как кажется, трепещет вместе с элементами снастей, висящими во время бури между землёй и небесами, а также верно, что в тот момент они становятся невероятными богохульниками.

«Тяну навстречу ветру!» — прокашлял Джексон с богохульным криком и откинулся назад, с силой удерживая уздечку в своей руке. Но едва шальные слова вылетели у него изо рта, руки отпустили узду и поток крови из лёгких забрызгал надувшийся парус.

Прежде чем находящийся рядом матрос подал ему руку для поддержки, Джексон упал с площадки вниз головой и с долгим бурлением, как водолаз, погрузился в море.

Именно потому что судно шло по ветру, сильный боковой наклон мачты с площадкой стал причиной того, что он упал далеко от судна. Его падение заметила вся внимательно смотрящая вверх толпа на палубе, кое-кто из которой был обрызган кровью, капавшей с паруса, одновременно с этим толпа подняла крик, столь пронзительный и дикий, что и слепой человек, возможно, понял бы, что произошло что-то трагическое.

Сжимая наши риф-сезни, мы повисли на рее и пристально вгляделись в сплошное белое, пузырящееся пятно, которое за крыло с головой нашего товарища по плаванию, но в следующую минуту оно уже смешалось с общей пеной волн, и Джексон больше не появлялся. Мы ждали

несколько минут, ожидая приказа спуститься, отодвинуть назад переднюю площадку и спустить шлюпку, но вместо этого от помощника пришло следующее указание: «Перебирайте руками и рифуйте дальше, ребята!»

Действительно, если поразмыслить, то спасти Джексона уже было невозможно, поскольку, скорее всего, он был мёртв прежде, чем упал в море, и если он не был мёртв тогда, то первое погружение должно было вытеснить его душу из его разодранных лёгких — наш четырёхвесельный ял потратил бы целых пятнадцать минут, чтобы встать на волнах.

И здесь стоит сказать, что пренебрежение к правилам безопасности, в котором также не отказывает себе множество морских капитанов в случае некоего внезапного бедствия, как тогда с «Горцем», позволило бы нам всем запрыгнуть в могилы. Как и на большинстве торговых судов у нас имелись только две лодки: баркас и четырёхвесельный ял. Баркас — безусловно, самый большой и самый крепкий из этих двух, — по обеим сторонам был постоянно прикреплён внизу к палубе железными полосами. Крепление было почти такое же, как на судовом киле. Он был занят свиньями, домашними птицами, дровами

и углём. На него был уложен перевёрнутый четырёхвесельный ял без уключин в планширах, днище которого побелело и рассохлось на солнце.

Дайте тогда оценку обещанию спасти нас в случае кораблекрушения, если для такой ситуации лишь одно торговое судно из трёх держит у себя шлюпки. Будьте уверены, что никакое судно, полное эмигрантов, при любых возможных мерах предосторожности в случае фатального бедствия в море, не может и надеяться спасти хотя бы десятую часть душ с борта, по сути, конечно, запас средств спасения, создаётся ради горстки оставшихся в живых, чтобы те принесли домой вести об утрате: ведь даже в момент страшнейшего из бедствий, случившегося с терпеливым Иовом, кто-то из его слуг прибежал с сообщением об этом событии.

В дальнейшем, чего я никогда не мог полностью объяснить — по крайней мере, насколько мне удавалось услышать, — матросы и Гарри никогда не позволяли себе ни малейшего намёка на покойного Джексона. Все до одного они, казалось, молчаливо объединились в том, чтобы замолчать память о нём среди нас. Было ли дело в том, что серьёзные тиски, в которых этот

человек держал каждого из них, действительно тайно разъедали их сердца, и потому они решили подавить неприятные воспоминания — я не могу определить, но бесспорным было то, что его смерть стала для них избавлением, которое они отпраздновали неведомым доселе возвышением духа. Несомненно, что это было частное мнение, уже, однако, по приближению к своему порту.

Глава LX
И вот, наконец, мы вернулись

Следующим днём было воскресенье, и полуденное солнце воссияло над зеркалом моря.

После шумного бриза и бури это глубокое, проникающее спокойствие, казалось, скорее, подходило для безмятежного душевного дня, который в благочестивом городе делает тихими большинство шумных улиц.

Судно медленно шло по мягкой, покорной океанской сфере, повсюду окружённое тусклыми белыми пятнами, а при приближении к берегу — широкими, молочными полями, означавшими близость множества судов, связанных одним общим портом и всеобщим единым покоем. Здесь длинные, окольные следы Европы, Африки, Индии и Перу сходились в линию, воедино сплетавшую их всех.

Все зелёные высоты Нью-Джерси, что лежали перед нами, в полуденной жаре и воздухе дрожали и танцевали, и из-за оптической иллюзии синее море, казалось, текло под ними.

Матросы свистели и подзывали ветер, нетер-

пеливые каютные пассажиры облачились во всё лучшее, а эмигранты столпились у борта со взглядами, полными решимости освоить давно искомую землю.

На противоположном борту мой Карло в мечтательности внимательно смотрел вниз на спокойное фиолетовое море, как будто оно было глазом, в котором отражался он сам, и, повернувшись к Гарри, сказал: «Небеса этой Америки должны опускаться в море, поэтому, глядя вниз на эту воду, я вижу то же, что увидел бы в Италии над своей головой. Ах! в конце концов, я нахожу свою Италию где угодно, везде, где я готов её искать. Я нашёл её даже в дождливом Ливерпуле».

И вот подул мягкий бриз, принеся нам белое крыло с берега — катер! Вскоре «обезьяний жакет» поднялся на борт и был окружён капитаном и каютными жителями, жаждущими новостей. И из бездонного кармана появились связки газет, которые были нетерпеливо расхватаны толпой.

Затем капитан передал полномочия лоцману, который оказался задирой, заняв нас тяжёлой работой по переноске и выборке скоб и приспособлению судна к ловле малейшего ветра даже кошачьей лапой.

Когда среди носимых морем людей внезапно

появляется странный человек с берега с запахом земли в своей бороде, то это говорит о такой близости зелёной травы, что её реальность оказывается сильнее даже вида сам́ ого удалённого берега.

Третий класс уже представлял собой бедлам: чемоданы и поклажа закрывались и перевязывались верёвками, наблюдалась всеобщая стирка и мытьё лиц и рук. В этот момент пришёл приказ с квартердека: все кровати, одеяла, подушки и связки соломы из третьего класса утопить. Команда была выслушана эмигрантами с тревогой, а затем с гневом. Но их уверили в том, что это обязательно нужно сделать ради избавления от долгой задержки на несколько недель в карантине. Поэтому они неохотно подчинились, и за борт пошли поддоны и подушки. Следом за ними выбросили старые горшки и кастрюли, бутылки и корзины. В итоге всё море вокруг оказалось усыпанным наполненными и изгибавшимися на волнах наперниками — ложами для совсем непритязательных русалок. Бесчисленные вещи подобного рода, сброшенные за борт с эмигрантских судов, приближающихся к гавани Нью-Йорка, дрейфуют в сторону Устья и остаются на берегах Стейтен-Айленда вдоль

восточного пляжа, по которому я часто ходил и недоумевал, глядя на сломанные кувшины, порванные подушки и ветхие корзины у моих ног.

Эмигрантам был передан второй приказ: собраться с силами и провести третью, полную и заключительную, чистку песком и водой. И к этому их принуждали теми же самыми аргументами, благодаря которым они отдали Нептуну свои постельные принадлежности. Затем место было окурено и высушено жаровнями с очага так, чтобы вечером ни один встречный не заподозрил бы «Горца», исходя из его вида, в совершении чего-либо ещё, кроме как приятного путешествия в абсолютной чистоте. Так, некоторые морские капитаны принимают во внимание, что добропорядочные граждане не должны получить и намёка на истинные условия в третьем классе во время пребывания в море.

Той же ночью снова установился штиль, но на следующее утро, хотя ветер был не совсем попутный, мы направились к Устью и срезали наш путь, проскочив напоследок у одного из фортов, почти пронеся над ним бум нашего кливера.

Ранний душ освежил леса и поля, великолепная зелень запылала, и к нашим просоленным лёгким береговой бриз принёс пряный аромат.

Пассажиры третьего класса от восхищения едва не ржали, как лошади, возвращённые на весенние пастбища, и каждый глаз и каждое ухо на «Горце» наполнились яркими видами и звуками с берега.

Ничто больше не заставит нас думать о буре и чуме, не обратит наши взоры наверх, к следам крови, всё ещё видимой на топселе, откуда упал Джексон, но мы остановим наш пристальный взгляд на садах и лугах и, как томимые жаждой, впитаем все их росы.

Со стороны Стейтен-Айленда показался служебный бледно-жёлтый флаг, обозначающий жильё карантинного чиновника, как будто символизирующий то, что сама по себе жёлтая лихорадка, конец паники и предотвращение чёрной рвоты у каждого наблюдателя, все карантины во всём мире и порча воздуха связаны с его колебанием.

Но хотя длинные ряды побеленных госпиталей со стороны холма оказались теперь на виду, и, хотя множество судов стояло здесь на якоре, всё же ни одна лодка не вышла к нам, и, к нашему удивлению и восхищению, мы проплыли мимо мели, которой все боялись. Как получилось, что мы сумели пройти, не сев на неё, для нас так и осталось неизвестным.

Уже вырастал город у залива и, один за другим, его шпили пронзали синеву, в то время как суда, бриги, шхуны и парусные лодки всё гуще и гуще заполняли окружающее пространство. Мы видели лес мачт, похожий на лес в Гарце, и чёрные снасти, раскинутые вдоль Ист-Ривер, а на севере, выше по течению величественного старого Гудзона, словно стаями лебедей покрытого белыми парусами шлюпов, мы мельком разглядели фиолетовые Палисады.

О! Тот, кто никогда далеко не уезжал и позволил себе однажды уйти из дома, тот знает, что такое дом. Поэтому когда вы снова доберётесь до вашей родной старой реки, то вам покажется, что она переливается через вас всем своим потоком, и, воодушевившись, вы поклянётесь выстроить на каждой её миле по алтарю, словно верстовые столбы вдоль обоих её священных берегов.

Словно Единый Царь всея Руси и Сибири, капитан Риг, стоя на корме с подзорной трубой, указывал пассажирам на Губернаторский остров, садовый замок и батарею.

«А это, — говорил он, указав на широкий чёрный корпус, который, как акула, показывал нарисованные челюсти, — это, дамы, линкор

„Северная Каролина“».

«Бог ты мой!» и «О мой Боже!» — исторгли леди, и «Господи, спаси нас», — отозвался старый джентльмен, который был членом Пацифистского общества.

Ура! Ура! И десять тысяч раз ура! Наш старый якорь сажень за саженью уходит вниз, в свободную и независимую тину Америки, одна горстка которой стоит теперь больше обширного поместья в Англии.

Белодонные лодки окружили нас, и скоро наши каютные пассажиры вышли прочь, треща как сверчки, и направились на прощальный ужин в «Астор-Хаус», где, несомненно, в честь своего собственного прибытия они извели на салют пробки от шампанского. Только очень немногие пассажиры третьего класса, однако, могли позволить себе заплатить лодочникам за свой перевоз на берег, поэтому большинство из них осталось с нами до утра. Но ничто не могло удержать нашего итальянского мальчика Карло, который пообещал лодочникам заплатить им своей музыкой и был торжественно доставлен на берег, усевшись на корме лодки, держа перед собой свой орган и выводя на нём что-то вроде «Привет, Колумбия!». Мы послали ему три вос-

торженных салюта и с тех пор никогда больше не видели Карло.

Гарри и я провели большую часть ночи, сидя на палубе и глядя на тысячи городских огней.

С восходом солнца мы переместились к началу Уолл-стрит и у пирса пришвартовали наше старое судно за форштевень и корму. Но эта швартовка развязала узы матросов, в среде которых существует принцип, гласящий, что если судно уже пришвартовалось к причалу, то они становятся свободны. Поэтому в спешке и с криками они помчались на берег, сопровождаемые шумной толпой из эмигрантов, друзья которых, подёнщики и горничные, уже готовы были заключить их в объятия.

А в тихой благодарности за конец путешествия, почти одинаково чуждого по духу нам обоим и горького для одного из нас, Гарри и я сидели на поклаже на баке. И теперь судно, которое мы ненавидели, в наших глазах, медленно разглядывающих каждую старую знакомую дощечку, стало прекрасным, и всё из-за того, что сцена страдания стала сценой радости, поскольку само страдание прошло, а тихие воспоминания о трудностях, которые закончились, более сладки, чем сладость от настоящего.

Глава LXI
Редберн и Гарри, плечом к плечу, в гавани

Там мы и сидели в том покрытом дёгтем старом логове, единственные обитатели пустого старого судна, если не считать помощника капитана и крыс.

Наконец Гарри подошёл к багажу и достал оттуда несколько шиллингов, предложив сойти на берег и вернуться с ужином, чтобы съесть его затем на баке. Из тех немногочисленных продуктов, что продавались в мелких лавках вдоль причалов, чтобы нам стало веселей, мы купили несколько пирогов, несколько пончиков и бутылку имбирного пива. Что касается нас, то для наших ртов, ставших совсем солёными и сморщенными от постоянного аромата солёной говядины, пироги и пончики показались весьма восхитительными. А что касается имбирного пива, то — почему нет? — это пиво было божественным! С тех пор я почитаю имбирное пиво.

Мы отстояли последнюю вахту той ночью и пребывали в восхитительной уверенности,

отбрасывающей всякие сомнения, что, как королевские подданные, мы были хозяевами ночных часов, и даже крик «Мёртвых на палубу!» больше не потревожит нас.

«Всю ночь здесь! Подумай об этом, Гарри, друг мой!»

«Да, Веллингборо, ты теперь можешь постоянно не давать мне спать, считая, что я уже могу спать, сколько захочется».

Мы проснулись весёлыми и свежими и затем, прежде почистившись, подготовились к высадке на берег.

«Я никогда не сведу эти проклятые остатки смолы с пальцев, — вскричал Гарри, с трудом протирая их небольшим клочком пакли, смоченной в густой пене. — Нет! Они не сойдут, и жизнь моя пропала. Посмотри на мою руку ещё раз, Веллингборо!»

Вид действительно был печальный. Каждый его ноготь, как и мой, был густо окрашен в красновато-коричневый цвет, выглядя, как частица прекрасного черепахового панциря.

«Неважно, Гарри, — сказал я, — ты знаешь, что восточные леди погружают кончики своих пальцев в некую золотую краску».

«И во имя Плутона, — вскричал Гарри, — я

погружу их до подмышек в золото, как ты советуешь. Но неважно, мой мальчик, я поклянусь, что только что вернулся из Персии».

Мы уже оделись в наши лучшие платья и сошли на берег, и я сразу привёл Гарри к вывеске «Индюк» на Фултон-стрит, содержавшемся неким Суини, месту, известному дешёвым чаем «сучон» и солидными гречневыми пирогами.

«Ну, господа, что будете кушать?» — сказал официант, когда мы сами уселись за стол.

«Господа! — зашептал мне Гарри. — Господа! — слышишь его?! Я скажу теперь, Редберн, что к нам так не обращались на борту старого „Горца“. Слава Богу, я снова начинаю чувствовать свою планку. — Кофе и горячие роллы, — добавил он вслух, скрестив ноги как лорд, — и, приятель, как вернётесь — принесите нам стейк из оленины».

«Не держим, господа».

«Ветчина и яйца», — предложил я, рот которого орошало воспоминание о том конкретном блюде, которое я вкушал прежде под вывеской «Индюка». Поэтому появились ветчина и яйца, и королевский кофе, и имперский тост.

А масло, масло!

«Гарри, ты когда-нибудь прежде пробовал такое масло?»

«Ни слова больше, — сказал Гарри, намазывая десятый тост. — Я пытаюсь вернуть молочника и остаться внутри благословенного вкуса этого масла настолько же долго, насколько смогу прожить».

У нас был такой завтрак, который нам никогда не забыть, мы пышно оплатили наш счёт и выплыли на улицу, как два прекрасных галеона с золотом, связывавших Акапулько со старой Испанией.

«Теперь, — сказал Гарри, — веди, и давай посмотрим чтонибудь в ваших Соединённых Штатах. Я готов шагать от Мэна до Флориды, перейти вброд Великие озёра и перескочить реку Огайо, если она окажется на пути. Вот, возьми меня за руку — веди».

Таково было удивительное изменение, которое теперь произошло с ним. Оно напомнило мне то его поведение, когда мы отправились в Лондон из-под вывески «Золотого Якоря» в Ливерпуле.

Он был, действительно, в самом прекрасном расположении духа, которому я не мог не поразиться, рассматривая впадины в его карманах, и ещё потому, что он был иностранцем на этой земле.

К полудню он выбрал себе пансион, частное

предприятие, где не взимали много за проживание и где счета от хозяйки мясной лавки не были очень большими.

Здесь, наконец, я оставил его, для того чтобы он забрал свой багаж с судна, а сам вернулся в город, чтобы повидать моего старого друга г-на Джонса и узнать, что произошло за время моего отсутствия.

Одной рукой г-н Джонс весьма сердечно тряс мою руку, а другой подал мне несколько писем, которые я нетерпеливо проглотил. Их содержание вынуждало меня отправиться домой, и я сразу же начал искать Гарри, чтобы сообщить ему об этом.

Странно, но моё отсутствие в течение всего лишь нескольких часов, во время которых Гарри, предоставленный самому себе, разглядывал иностранные улицы и иностранные лица, заметно повлияло на его самообладание. Он был существом внезапных импульсов. Чужие улицы, ему теперь, казалось, напомнили о его одиночестве, и я заметил его весьма печальный взгляд и его правую руку, что-то ищущую в кармане.

«Куда мне пойти пообедать в этот день недели? — медленно произнёс он. — Что скажешь, Веллингборо?»

И когда я сказал ему, что на следующий день должен буду его оставить, то он посмотрел довольно уныло. Но я подбодрил его настолько, насколько у меня это вышло, хоть и сам я нуждался в небольшой поддержке, даже учитывая, что я возвращался домой. Но хватит об этом.

В то время у меня в городе был знакомый молодой человек, старше меня по возрасту, по фамилии Гудвелл, добродушный малый, который в последнее время работал клерком в большом экспедиторском доме на Южной улице, и мне пришло в голову, что ему будет несложно оказать поддержку Гарри и найти ему место. Поэтому я упомянул про него моему товарищу, и мы нашли Гудвелла.

Я видел, что он был впечатлён солидной внешностью моего друга, и, пользуясь случаем, конфиденциально и искренне пообещал приложить ради него все усилия, хотя времена, как он сказал, были довольно унылые.

Тем же вечером Гудвелл, Гарри и я гуляли по улицам, по трое в ряд: Гудвелл, свободно тратящий свои деньги в устричных салонах, Гарри, полный намёков на лондонские клубы, и я, вносящий свой вклад в общее веселье.

Следующим утром мы продолжили заниматься

делами.

Сейчас я не ожидал получить большое жалование от судна, чтобы удалиться для жизни на доходы от моего первого путешествия, но тем не менее полагал, что доллар или два могли бы появиться. Ведь доллары — это ценность, и не стоит их упускать, когда их должны выдать. Поэтому на второе утро после нашего прибытия, которое было выделено для расчётов с командой, Гарри и я вместе с остальными появились на борту судна. Нам сказали пройти в каюту, и я снова, более чем четыре месяца спустя, оказался в окружении красного дерева и клёна. В роскошном кресле, за блестящим инкрустированным столом сидел капитан Риг, вырядившийся в свою одежду из отеля «Сити» и выглядящий повелителем, словно английский адмирал лорд Хей. Матросы почтительно и подобострастно полукругом стояли перед ним, в то время как сам капитан держал в своей руке судовые бумаги, одно за другим называя имена, и жирными банкнотами — красивыми с виду! — выплачивал им жалование.

У большинства оно было меньше десяти долларов, у нескольких — двадцать, и по два, и по тридцать долларов уходило к ним, в то время как у старого повара, благочестие которого

оказалось прибыльным вследствие воздержания от дорогих излишеств большинства мореходов, и от того, что он не брал аванса, в результате оказалась приятная круглая сумма в семьдесят долларов.

Семь десятидолларовых банкнот, каждая из которых, как я вычислил в тот момент, равнялась сотне десятицентовиков, которая была равна одной тысяче центов, которые можно было снова как-то сгруппировать! Ведь он теперь владел состоянием в семьдесят тысяч американских «бейсбольных рукавиц». Всего лишь семьдесят долларов, в конце концов, но тогда и всегда мне казалось, что объявление количества в высокопарно сгруппированных мерках передаёт намного более полное понимание их величины, нежели маскировка их грандиозности в таком скоплении величин, как дублоны, соверены и доллары. Кому-то предпочтительнее состояние в 125 000 франков в Париже вместо всего лишь 5000 фунтов в Лондоне, хотя действительная величина обеих сумм в круглых числах одинаково симпатична.

Шаркая ногами и кланяясь так, как может кланяться только негр, старый повар вышел со своим состоянием, и я не сомневаюсь, что он

сразу же инвестировал его в большой подземный устричный погреб.

Другие матросы после подсчёта своих наличных, очень тщательного, проверили подлинность банкнот и отсутствие у них загнутых уголков: в этом случае они потребовали бы замены, «поскольку их нельзя принимать, и нельзя обманывать ваших матросов, ведь они также знают свои права, по крайней мере, когда они становятся свободными после окончания путешествия». Матросы также попрощались и ушли, оставив Гарри и меня лицом к лицу с Генеральным казначеем военно-морских сил.

Мы стояли некоторое время, представляясь максимально вежливыми и с минуты на минуту ожидая услышать наши имена, но не услышали ни слова, в то время как капитан, отбросив в сторону свои счета, зажёг очень ароматную сигару, поднял утреннюю газету — я думаю, что это был «Геральд», — забросил свою ногу на подлокотник и погрузился в последние новости со всех частей земного шара.

Я посмотрел на Гарри, а он посмотрел на меня, и затем мы оба посмотрели на этого непостижимого капитана.

Наконец Гарри запнулся, и я шаркнул ногой,

чтобы привлечь внимание.

Генеральный казначей поднял глаза.

«Ну, откуда вы? Кто вы, умоляю, скажите? И чего вы хотите? Стюард, покажите этим молодым господам выход».

«Я хочу свои деньги», — сказал Гарри.

«Моё жалование подлежит выплате», — сказал я.

Капитан рассмеялся. О! Он был чрезвычайно весел и, сделав длинную затяжку, отставил свою сигару и сидел, косо глядя на нас, разрешая дыму из его рта медленно извиваться и закручиваться.

«Забери, Господь, мою душу, молодые господа, вы удивляете меня. Ваши имена есть в Городском справочнике? У вас есть какие-либо рекомендательные письма, молодые господа?»

«Капитан Риг! — вскричал Гарри, разгневанный его наглостью. — Я говорю вам, в чём дело, капитан Риг, так не поступают — где деньги?»

«Капитан Риг, — добавил я, — вы разве не помните, что приблизительно четыре месяца назад мой друг г-н Джонс и я беседовали с вами как раз в этой каюте, тогда было оговорено, что я должен буду выйти на вашем судне и получать три доллара в месяц за свою службу? Ну, капитан Риг, я вышел с вами и вернулся, и теперь, сэр, я

поблагодарю вас за моё жалование».

«Ах, да, я помню, — заявил капитан. — Г-н Джонс! Ха-ха! Я помню г-на Джонса: очень благородный джентльмен, и — постойте — вы ещё являетесь сыном богатого французского импортёра, и — позвольте мне вспомнить — не был ли ваш двоюродный дед парикмахером?»

«Нет!» — грохнул я.

«Ну, хорошо, молодой джентльмен, действительно, я прошу вашего прощения. Стюард, стулья для молодых господ — прошу садиться, молодые господа. И теперь, позвольте мне взглянуть, — переворачивая свои счета. — Гм, гм! Да, это здесь: Веллингборо Редберн, на ставке три доллара в месяц. Допустим, четыре месяца, получаем двенадцать долларов, минус три доллара в аванс в Ливерпуле — остаётся девять долларов, минус три молотка и два скребка, выброшенных за борт, — что приводит к четырём долларам с четвертью. Я должен вам четыре с четвертью доллара, не так ли, молодой джентльмен?»

«Вроде так, сэр», — пристально глядя, сказал я.

«И теперь позвольте мне взглянуть на то, что вы должны мне, и затем хорошо бы суметь соотнести величины, господин Редберн».

«Должен ему! — подумал я. — Что я должен

ему, кроме недовольства?» — но я скрыл своё негодование, и тут он сказал: «Сбежав с судна в Ливерпуле, вы потеряли свою заработную плату, которая составляет двенадцать долларов, и так как там вам был выдан аванс деньгами, то вкупе с молотками и скребками получаем семь долларов и семьдесят пять центов, и поэтому вы обязаны мне как раз эту сумму. Теперь, молодой джентльмен, я поблагодарю вас за деньги», — и он протянул через стол открытую ладонь.

«Мне ему подать?» — прошептал Гарри.

Я был ошеломлён большей частью этого непредвиденного заявления о состоянии моих расчётов с капитаном Ригом и начал понимать, почему он до настоящего времени игнорировал моё отсутствие на судне, когда Гарри и я были в Лондоне. Но одноминутное размышление показало, что я не мог помочь самому себе, таким образом, я сказал ему, что он имеет право возбуждать свой иск, поскольку я банкрот и не могу заплатить ему, и развернулся, чтобы выйти.

Здесь и сейчас этот человек, по сути, отправлял бедного парня по течению без медяка в кармане после того, как тот отработал как раб на борту его судна более четырёх ужасных месяцев. Но капитан Риг был бакалавром дорогих привычек

и задолжал по большим винным счетам в отеле «Сити». Он не мог позволить себе быть щедрым. Благослови, Господь, его ужины.

«Г-н Болтон, насколько мне верится, — заявил капитан, теперь уже вежливо раскланиваясь перед Гарри. — Г-н Болтон, вы так же отправились за три доллара в месяц: и у вас был аванс за один месяц в Ливерпуле, и от дока до дока мы имеем приблизительно полтора месяца, таким образом, я должен вам всего полтора доллара, г-н Болтон, и вот они», — вручил ему шесть двухшиллинговых монет.

«И это, — сказал Гарри с отчаянием, — это вознаграждение за мою долгую и верную службу!»

Затем, презрительно бросив серебро на стол, он воскликнул: «Здесь, капитан Риг, вы можете держать свое олово! Оно было в вашем кошельке, и потому я жажду сохранить его там же. Доброго утра, сэр».

«Доброго утра, молодые господа, умоляю, обращайтесь снова», — заявил капитан, холодно укладывая монеты в мешочки. Его вежливость, пока он был в порту, была непоколебима.

Оставляя каюту, я выразил протест Гарри за его безрассудство и презрение к его жалованию, пусть даже и маленькому, я попросил его пом-

нить о его положении и намекнул, что каждый недополученный им пенс мог бы оказаться для него драгоценным. Но он только фыркал и больше ничего.

Затем мы нашли матросов, собравшихся на палубе бака и занятых каким-то серьёзным обсуждением, в то время как несколько тележек на причале, нагруженных их поклажей, находились в тот момент в процессе отправки в направлении пансионов в жилой части города. По взглядам наших товарищей по плаванию я весьма явно видел, что их, должно быть, занимала некая проказа и способ, которым её можно будет осуществить.

Теперь, хотя капитан Риг конкретно не был виновен перед матросами ни в каком нарушении закона, всё же тысячи маленьких подлостей — такие, как косвенное уменьшение их порций хлеба и говядины и предание забвению и замалчиванию этот предмет, — такими и подобными действиями, как я уже говорил, он приблизил сердечную неприязнь со стороны всей судовой компании, и она давно с презрением присовокупила к его имени неприличный довесок.

Путешествие уже было завершено, и оказалось, что предмет, обсуждаемый собранием

на баке, состоял в том, как лучше всего выразить чувство единения и прощания в отношении своего последнего господина и хозяина. Некий решительный символ этих чувств был желателен: некий безошибочный символ, который должен будет произвести сильное впечатление на капитана Рига ради единственно возможного понимания их чувств.

Это походило на встречу сотрудников некой коммерческой компании в тревожный канун её распада, когда подчинённые, исходя из чувства самой чистой благодарности к своему президенту или руководителю, продолжают признавать его серебряным кубком, символизирующим их уважение. Тут было что-то похожее, я повторяю, — но на иной основе, как будет видно позже.

Наконец, согласовав порядок действий, Бланту, «ирландскому кокни», было поручено вызвать капитана. Он постучал в дверь каюты и вежливо попросил стюарда сообщить капитану Ригу, что некие господа подошли к головной части плавучего пирса, всерьёз разыскивая его, после чего он присоединился к своим товарищам.

Через несколько мгновений капитан вышел из каюты и обнаружил господ, в напряжении

собравшихся вдоль фальшборта со стороны причала. При его появлении эта шеренга внезапно развернулась к нему задом и, троекратно совершив действие, которое оказалось вежливым приветствием каждому, оказавшемуся перед ней, но отвратительным оскорблением всем, кому случилось оказаться сзади, единой связкой очистила судно.

Верный своей невозмутимой вежливости во время нахождения в порту, капитан Риг всего лишь снял свою шляпу, очень вежливо улыбнулся и медленно вернулся в свою каюту.

Желая увидеть последние движения этой замечательной команды, которая оказалась так умна на берегу и столь же малодушна на плаву, Гарри и я последовали за ними к причалу, пока все не остановились в матросском доме с поэтическим названием «Вспышки». И все они прибыли сюда, чтобы бросить якорь в этом баре, и его владелец, обладатель впалых щёк, энергично встряхнулся, стоя перед ними посреди своих старых злодейских бутылок и графинов. Он хорошо знал по их взглядам, что его клиенты испытывают «внезапный прилив» и свободно потратят свои деньги, как, в действительности, и происходит с большинством моряков, недавно

получивших заработанное.

Это была трогательная сцена.

«Ну, сельди молодые, — сказал, наконец, один из них, — я допускаю, что мы больше не увидим друг друга, — подходите, и давайте замкнём основную скобу и выпьем за последнее путешествие!»

При этих словах хозяин бара заставил станцевать свои стаканы на барной стойке, откупорил графины и почтительно передал их матросам, как бы говоря: «Благородные господа, примите этот ликёр не ради моего заработка — это ради вас самих, ради ваших благородных душ».

И так они и поступили: каждый стакан наполнили доверху и поставили их в ряд, осушили их залпом, обменялись рукопожатиями со всеми вокруг трижды по три раза и затем исчезли в дымке нескольких дверных проёмов, поскольку «Вспышки» находились на углу здания.

Если для всех жизнь составлена из прощаний и поздравлений, из «До свидания, благослови вас Господь» и из слышимых каждым «Как дела, добро пожаловать, мой мальчик», то после них все мужчины и матросы, в большинстве своём, пожимают руки и машут шляпами. Они то здесь, то там, постоянно меняясь сами, они движутся

в подвижной среде, и их, как беспочвенную морскую водоросль, то здесь, то там и выбрасывает на поверхность.

Когда после рукопожатий наши товарищи по плаванию отбыли, Гарри и я некоторое время постояли на углу, пока не увидели, как последний из них скрылся из виду.

«Они ушли», — сказал я.

«Слава Богу!» — сказал Гарри.

Глава LX II
Последнее, что я узнал о Гарри Болтоне

В тот же самый день я повёл своего товарища на Батарею, и мы посидели на одной из скамей под летней тенью деревьев. Это было тихое, красивое место, полное гуляющих леди и джентльменов, и через листву, столь свежую и яркую, мы смотрели на залив, меняющийся в зависимости от плывущих по нему судов, а затем смотрели на наши ботинки и думали о том, как был бы прекрасен мир, если б у нас было немножко денег для наслаждений. Но что переливать из пустого в порожнее — о, кто может вылечить пустой карман?

«Я не сомневаюсь, Гудвелл позаботится о тебе, Гарри, — сказал я, — он прекрасный, добросердечный человек, и я знаю, что ради тебя он приложит все силы».

«Не сомневаюсь, что это так», — сказал Гарри, выглядя безнадёжным.

«И я мне не стоит говорить тебе, Гарри, до чего же мне жаль, что я должен буду так скоро тебя

оставить».

«Мне самому очень жаль», — сказал Гарри, выглядя очень искренним.

«Но я не сомневаюсь, что скоро снова вернусь», — сказал я.

«Возможно, что так, — сказал Гарри, качая головой. — Насколько это далеко отсюда?»

«Всего лишь сто восемьдесят миль», — сказал я.

«Сто и восемьдесят миль! — сказал Гарри, растягивая слова как бесконечную ленту. — Да ведь я и за месяц не смогу пройти их».

«Теперь, мой дорогой друг, — сказал я, — послушайся моих советов, поскольку я ухожу: крепись сердцем, никогда не отчаивайся, и всё будет хорошо».

Но, несмотря на всё, что я мог сказать в его поддержку, Гарри чувствовал себя так плохо, что нам ничего не оставалась, кроме как рвануться к соседнему бару и опрокинуть там по стакану имбирного пива, после которого мы почувствовали себя лучше. Он сопровождал меня до парохода, который должен был отвезти меня домой, он держался поближе ко мне, пока судно не собралось отчаливать, затем, зайдя на причал, он сжимал мою руку до тех пор, пока мы едва ли не стали

мешать игре весел, и, наконец, после взаимных толчков по подмышкам мы расстались. Больше я никогда не видел Гарри.

Я опускаю приём, который мне устроили дома: как я погрузился в объятия, долгие и любовные, — я опускаю это и завершаю своё первое путешествие, связав всё, что знаю о судьбе Гарри Болтона.

Но обстоятельства, от меня не зависящие, задержали меня дома на несколько недель, во время которых я писал своему другу, но не получил ответа.

Тогда я написал молодому Гудвеллу, который ответил мне следующим письмом, сейчас лежащим передо мной.

«Уважаемый Редберн, Вашего бедного друга Гарри я нигде не могу найти. После того как Вы уехали, он несколько раз навещал меня, и мы выходили вместе, и мой интерес к нему увеличивался с каждым днём. Но Вы не знаете, какой спад наблюдается здесь сейчас, и что множество молодых людей с хорошей квалификацией ищет работу в конторах. Я приложил все усилия, но не смог получить для Гарри места. Однако я подбадривал его. Но им всё больше овладевала меланхолия, и, наконец, он сказал мне, что про-

дал всю свою одежду, кроме той, что осталась на его спине, чтобы заплатить за свой пансион. Я предложил ему взаймы несколько долларов, но он не взял их. Я приходил к нему ещё два или три раза после, но его не было на месте, наконец, его хозяйка сказала мне, что днём ранее он навсегда оставил её дом. После моих подробных расспросов, куда он пошёл, она ответила, что не знает, но по определённым намёкам, исходившим от нашего бедного друга, она подозревает, что он пустился в большое путешествие.

Я сразу пошёл в конторы на Южной улице, откуда мужчины отправляются на китобойные суда в Нантакете, и расспросил там, но без успеха. Говорю с горечью в сердце, но это всё, что я знаю о нашем друге. Я не могу предположить, что его меланхолия могла довести его до невменяемости и до желания уйти на китобойном судне, и я все ещё думаю, что он пока находится где-то в городе. Вы должны приехать и помочь мне его найти».

Да! Письмо вызвало у меня ужасный шок. Вспоминая наши приключения в Лондоне и его поведение там, вспоминая, как покорно он уступал самым внезапным, безумным и противоречивым импульсам, и, учитывая, что у одинокого, безденежного иностранца в Нью-Йорке, должно

быть, было множество ужасных мотиваций для совершения насилия над собой, меня трясло от мысли, что вот сейчас, пока я думаю о нём, его больше не существует. Эти размышления в то время оказались столь сильными, что я поскорей просмотрел газеты, чтобы узнать, появлялись ли какие-либо отчёты о самоубийствах или утопленниках, найденных в акватории нью-йоркской гавани.

Я сейчас же со всей возможной поспешностью отправился в морской порт, но, несмотря на его поиски во всех возможных местах, не узнал ничего вообще.

Чтобы уменьшить моё беспокойство, Гудвелл пытался уверить меня, что Гарри действительно должен был отбыть в большое путешествие. Но, вспоминая его горький опыт на борту «Горца» и — более чем всё остальное — его нервозность в отношении смерти, это казалось почти невозможным.

Наконец, я вынужден был оставить его поиски.

* * *

Годы спустя я оказался матросом в Тихом океане на борту китобойного судна. Однажды в море

мы повстречались с другим китобойным судном, и экипаж этого судна перебрался на наше, чтобы по-морскому обычаю немного пообщаться, как это происходит в таких случаях. Среди членов другого экипажа был англичанин, который отправился из Кальяо в плавание на этом судне. В ходе переговоров он намекнул, что ходит по Тихому океану уже несколько лет, и что изначально славное судно «Охотница» из Нантакета имело честь перевезти его на эту сторону земного шара. Я спросил его, почему он оставил его, он ответил, что оно оказалось самым несчастным из судов.

«Мы отсутствовали почти три месяца, — рассказал он, — тогда, преследуя кита после заката, на Бразильской банке мы потеряли экипаж судна, а на следующий день потеряли несчастного молодого товарища, моего соотечественника, который никогда ранее не ходил на кораблях. Он упал за борт и был зажат между судном и китом, пока мы разделывали эту рыбину. Бедняга, ему приходилось тяжело с самого начала, он был сыном джентльмена, а если его удавалось уговорить, то он мог спеть как птица».

«Как его звали? — спросил я, дрожа от ожидания. — Какие у него были глаза? Какого цвета были его волосы?»

«Гарри Болтон был твоим братом?» — вставая, вскричал англичанин.

Гарри Болтон! Это точно был он!

Но мне, Веллингборо Редберну, посчастливилось уцелеть в намного более опасных передрягах, помимо случившихся в Моем Первом Путешествии, рассказ о котором я здесь и завершаю.

Послесловие переводчика

Эту книгу можно причислить к книгам о путешествиях. Её можно отнести к книгам о морской романтике. Но больше всего эта книга посвящена людям. Люди в ней — главная тема, главный объект, главная боль и главная радость. Это не только те люди, что связали себя с морем, но и те, кто стремился и стремится через эмиграцию изменить свою жизнь и получить свободу. Свободу от сословных различий, свободу жить, где хочется, свободу выбирать себе занятие по душе. Книга просто дышит тягой к свободе, несмотря на то что кого-то из персонажей это стремление приводит к печальному концу.

Книга биографична только наполовину. Герман Мелвилл как прототип романа попал на пакетбот «Святой Лаврентий», идущий в Ливерпуль, в 1839 году, в возрасте почти двадцати лет, меж тем как его персонажу по книге где-то года на три-четыре меньше. Автор совместил свои наивные юношеские мечты с той реальностью, с которой он столкнулся несколько лет спустя. Эта более серьёзная реальность ещё встретит са-

мого будущего писателя и на китобойном судне, и в плену у каннибалов, и на военном фрегате. О ней он напишет в «Тайпи», «Ому» и «Белом бушлате». «Марди» и «Моби Дик», впитавшие эту реальность, будут впереди.

Эта же реальность заставляет его расставаться с иллюзиями, присутствующими у него в отношении окружающих людей. Маленькие стеклянные матросы с макета корабля перевоплощаются в суровых, жестоких, но во многом невежественных, смешных и несчастных людей. Галантный капитан снимает маску любезности и предстаёт перед юношей расчётливым и высокомерным дельцом. Тело ужасающего всех властолюбивого матроса оказывается сгнившим изнутри.

Окружающая реальность также обнажает один страшный порок — враждебное равнодушие. Оно выгоняет Редберна на палубу под дождь ещё на пароходе, плывущем по американской реке, заставляет искать ложку и чашку для еды, делает обывателей безучастными к медленной смерти целой семьи нищих в подвале, оно гонит его из присутственных мест и оставляет в конце концов без гроша в кармане. Капитан судна, не испытывая каких-либо эмоций, не останавливается возле «корабля мертвецов», чтобы,

согласно морскому закону, что-то разузнать о погибших собратьях.

У главного героя мало что остаётся от морской романтики после шторма, голода и эпидемии, заставших экипаж и пассажиров на обратном пути. В трансатлантическое плаванье уходит подросток Веллингборо по прозвищу Пуговка, а воз вращается молодой, но уже много повидавший мужчина по фамилии Редберн.

Тем не менее Веллингборо не теряет романтического духа. Он готов к новым испытаниям. Но дух этот уже идёт рука об руку с осторожностью и отзывчивостью, будь это многочисленные предупреждения его новому товарищу о грядущих опасностях или участие в поиске работы для него. Здесь Веллингборо не одинок. Везде находятся добрые люди, готовые как накормить ближнего и дальнего, так и предложить им кров. Они близки по характеру главному герою, и он с любовью рассказывает о них.

В заключение о главном герое и самой книге можно сказать и так: юноша ушёл в море, а вышел в люди.

К 200-летию со дня рождения Германа Мелвилла Галерея «Кампа-Арт» опубликовала его романы, впервые переведенные на русский

язык:

«Марди и путешествие туда» (1849 г.)

Это первый крупный роман Германа Мелвилла, («Моби Дик», «Маскарад», «Редберн»), впервые с момента выхода в 1849 году представленный русскому читателю.

Эту книгу всегда считали странной, как русские, так и англосаксонские критики, однако, в Российской Империи и СССР читатель мог судить о ней только заочно, поскольку идеи книги для любой деспотии всегда опасны.

Известный критик Ф. Шаль писал в 1849 году: «Марди, и путешествие туда» — самая странная книга, которая когда-либо появлялась на Земном шаре. Это странное творение начинается как сказка, переходит к волшебству, вдается в аллегорию, достигает сатиры через элегию, драму и шуточный роман»

Это соединение памфлета и мелодрамы, этники и эзотерики, психологии и мемуаров, детектива и путевых заметок, философии и поэзии, вплетенных в историческую канву середины 19 века.

Главный герой попадает в метафорический мир, отражающий облик стран Старого и Нового Света в зеркале социумов условной Океании, где каждый остров имеет свой прототип или общественную модель.

Для широкого круга читателей.

Этот роман в электронном виде вы можете приобрести в магазинах:

Ridero:
https://ridero.ru/books/per/

ЛитРес:
https://www.litres.ru/german-melvill-24154388/p-er/chitat-onlayn/

Amazon:
https://www.amazon.com/dp/B08CZQMMZQ

На ridero.ru вы можете заказать печать книги в любом количестве экземпляров.

«Пьер, или Двусмысленность» (1852 г.)

Новая Англия. Первая половина 19-го века. Молодой, богатый, красивый и успешный американский аристократ готовится к свадьбе. За несколько дней до этого события он получает письмо от таинственной незнакомки, которое

делает его заложником понятий о чести и достоинстве, заставляя серьёзно пересмотреть свои планы.

Многие события взяты из жизни самого автора, неудовлетворённого как материальной, так и личной стороной своей жизни. В чём-то книга оказалась пророческой для самого писателя и повлияла на всю его дальнейшую судьбу.

Этот роман в электронном виде вы можете приобрести в магазинах:

Ridero:
https://ridero.ru/books/per/

ЛитРес:
https://www.litres.ru/german-melvill-24154388/p-er/chitat-onlayn/

Amazon:
https://www.amazon.com/dp/B08CZQMMZQ

На ridero.ru вы можете заказать печать книги в любом количестве экземпляров.

«Маскарад, или Искуситель» (1857 г.)

Это последний крупный роман писателя, в котором он выступил с антирелигиозных и антиклерикальных позиций. Сюжет романа

таков: Сатана ради забавы выступает под личинами мошенников и философов, в свою очередь выдающих себя за альтруистов и энтузиастов. По мнению литературоведов, прочитанный Михаилом Булгаковым «Искуситель. Его маскарад» (дословный перевод названия) определённо повлиял на создание романа «Мастер и Маргарита».

Этот роман в электронном виде вы можете приобрести в магазинах:

Ridero:
https://ridero.ru/books/maskarad_ili_iskusitel/

ЛитРес:
https://www.litres.ru/german-melvill-24154388/maskarad-ili-iskusitel/

Amazon:
https://www.amazon.com/Маскарад-Искуситель-Russian-Мелвилл-Герман-ebook/dp/B08L6HPNX6

OZON:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/204455322/

А ТАКЖЕ сборник из трёх повестей Феликса Ван Клейна **«Мой последний сон»,** включающий в себя:

Повесть двух времён **«Мой последний сон, вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах»**

В повести делается попытка создать окончание произведений Э. Т. А. Гофмана «Крейслериана» и «Житейские воззрения кота Мурра»

Повесть «Партеногенез»

Один день из жизни современной молодой женщины. От рассвета до заката. В повести предстают её взаимоотношения с родственниками, друзьями, коллегами, бывшими и потенциальными ухажёрами.

Время действия — конец 1980-х годов.

Тема — поиск своего места и своего счастья в жизни.

Мистическая повесть **«Будучи там. Исповедь самоубийцы»** Отчаянная попытка молодого мужчины выбраться из сложившейся вокруг него цепи замкнутости, безысходности и постоянных неудач, приводящая к решению добровольно уйти из жизни и заглянуть в мир, где, по его мнению, есть ответы на все вопросы.

Этот сборник вы можете купить уже в отпечатанном виде у Администрации Галереи.

По вопросам публикации, приобретения и распространения указанных книг просим обращаться по адресу:

art@kampa.ru или kampa-art@mail.ru